

ДЕНЬ

НОВЫЙ

1983

День поэзии 1983

МОСКВА
СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
1983

Главный редактор — Юрий Кузнецов.

Редколлегия: Владимир Бояринов (составитель), Лариса Васильева, Владимир Костров, Виктор Кочетков, Петр Кошель (составитель), Станислав Куняев, Инна Ростовцева (составитель), Юрий Селезнев, Михаил Числов, Олег Чухонцев.

Художник
Маргарита ЛОХМАНОВА

От редколлегии

«Что день грядущий мне готовит?» — вправе спросить читатель, раскрывая «День поэзии». Благоклонный читатель! Этот «День» проходит под знаком В. Маяковского: воспоминания, статьи, заметки и стихи о советском поэте пронизывают его насквозь.

Начинается сборник со стихов, обращенных в историческую глубину России. Это его память. Есть в нем раздел «Новые имена» — как бы грядущее нашей поэзии. В основном поэтическом потоке читатель встретит много разнообразного, может быть, неожиданного. Заключают «День» стихи иронические, юмористические, саркастические, игровые.

Не сужая «поэтическое море» современного стихотворчества и отдавая посильную дань его пестроте, мы попытались выявить в нем основные глубинные течения, широко представляя целый ряд интересных поэтов как старейших, так и молодых.

Память

Николай Тряпкин

ВСТРЕЧА

Это было в таком далеком
И в таком золотом году!..
Дед мой Филя парит, как сокол,
И притоптывает на ходу.

А вокруг меня скачет бабка
И все эдак поет, поет:
«Вот теперя увидишь папку.
Поднимайся, гляди: идет!»

И маманя все выше, выше
Поднимает меня на руках,—
Целый клан за деревню вышел
Да при всех родовых гвоздях:

И дядя, и зятя, и тетки,
И все внуки, и все дедки,
Все старухи и все молодки,
Все собаки и все щенки!

А маманя все выше, выше
Поднимает меня на взлет.
Поднимаюсь — и вижу — слышу —
И вот снова гляжу: идет!

И поныне так четко вижу:
Он взошел на зеленый скат,—
Вот он, вот он, все ближе, ближе,
Мерным шагом идет солдат:

В конармейской длинной шинели,
Богатырский шлем со звездой,

И золотые ремни скрипели,
И геройский эфес под рукой.

Ах, не свет исторгает глина,
И не с громом сходится гром,—
То отец повстречался с сыном,
То расплакались сын с отцом.

И наверно — вот эта глина,
И наверно — вот этот гром
И рождают в веках былинку,
Замесившись людским огнем.

Не припомню, что дальше было,
Только чую в своей крови:
Вся земля ходуном ходила
От своей великой любви.

И сквозь тысячи Млечных светов
Пронёсился вселенский бал,
И гремело «За власть Советов!»
У истоков моих начал.

И как самый лучший избраннык
Восседал я в красной парче,
И сосал я отцовский пряник
У отца на красном плече.

И кружился над миром сокол
У вселенной всей на виду...
Это было в таком далеком
И в таком золотом году!

Владимир Костров

ТЕМА

Как солнца яростное тело
в ночном окне,
явилась Ленинская Тема
опять ко мне.
От потребительской кошелки
и круглых фраз
вновь потянуло к мудрой щелке
усталых глаз.
Не к мавзолейному надгробью
в конце судьбы,
а к планетарному надбровью
его борьбы.

Клевещет творческая малость,
вещает злость:
«Не удалось! Не состоялось!
И не сбылось».
Не все, конечно, устоялось,
не все сбылось.
Но, говорю я, состоялось
и удалось!
На трассах, в городах, в селеньях,
на авеню
вы говорите сами «Ленин»
сто раз на дню.

И сколько б накип ни полчилась,
не справит пир.
Иным уже, что б ни случилось,
пребудет мир.
В глухом, утробном притязанье
пустых невежд
в металолическом сознание
пробита брешь.
В системе, вечно считавшей
себя вчера,
в той денежной системе страшной
сквозит дыра.

В морали подлой и стервозной
который год
его учение грозный воздух
со свистом рвет.
И перевернута страница
былой главы.
Нам в «до» уже не возвратиться:
мы будем «в».
В нем, в нем. В подвижном постоянстве
Его судьбы.
И несжимаемом пространстве
Его борьбы.

Владимир Гордейчев

В СЕМЬЕ ЕДИНОЙ

В туристский век, в поездках непрерывных,
будь ты казах, эстонец или якут,
по всей земле, во всех на свете странах
людей советских «русскими» зовут.

И мы горды, когда опознаются
в нас над тиснением паспортной строки
наследники трех русских революций
и Ленина прямые земляки.

Сыны Кавказа, дети Приднепровья,
мы — «русские». И весь на этом суд.
Но в этом смысле русичи по крови
немалую ответственность несут.

Простые люди смысла непростого,
обязаны мы сердцем и умом
возвыситься до уровня такого,
что светит в нашем имени самом,

коль в эту статью — ни много и ни мало —
как самые высокие пай

фамильные влагают капиталы
союзные сограждане мои.

Я, например, в моих путях-распутях
как бы всегда стою перед лицом
друзей моих из родственных республик
в содружестве творцов и мудрецов.

И жизнь моя глубинней раз от раза
вбирает с блеском пушкинской зари
лучистость Янки, пламенность Тараса,
блистательность Шота и Низами.

Велениям всей жизни нашей вровень
под общую эпохи гудовень
таким родством да будет полнокровен
державы нашей час любой и день.

Мы — русские: тверяне, угличане...
Но имя древних оттичей храня,
я за Союз сегодня отвечаю,
как весь Союз в ответе за меня.

Лев Смирнов

КОПЕЙНАЯ ЗВЕЗДА

Явился звезда велика на западе копей-
ным образом...

«Повесть временных лет»

Копейная звезда, загадочен твой смысл!
Когда явилась ты в небесных водах полых,
Качнулось на Руси сто тысяч коромысл,
Сверкнуло таинство на дне бадеек полных.
Волхвы и ведуны следили твой полет,
Пророчески-ночной, торжественный и дивный.
Копейная звезда, а может, смерду в рот
Взалкала ты влететь серебряною гривной?
Колодцы не могли вместить таких чудес,
Желна молилась им, и горлица, и анст,
А для людей, скажи, избранница небес,
Была предвестьем ты каких свобод и равенств?
Твой лик таинственный, как древний камень, нем.
Столетиями летят лучи твои без цели...
Тогда скажи, звезда копейная, зачем
Не умертвила ты Батыя в колыбели?

Тебе отдали мощь земные валуны,
Болота мшистые тебя в ночи поили,
А киевских князей незрелые сыны
Тобой увенчать свой стольный град забыли.
Каким же символом отмечено твое
Алмазное, как смерть, стремительное тело?
Копейная звезда, ужель твое копье
Над Русью страждущей впустую пролетело?
Тогда скажи, зачем среди днепровских лоз
Глядели на тебя кровавых птиц опалы
И киевский монах как тайный знак занес
Твое явление в летописные анналы?
Давно ты сгинула во мрак, в небытие.
Поверьям отжило по весям и поветьям...
А может, тайное значение свое
Ты нашим дням несла и будущим столетиям?

ПОЕДИНОК

Противу Москвы и славянских кровей
На полную грудь рокотал Челубей,
Носясь среди мрака,
И так заливался: — Мне равного нет!
— Прости меня, боже, — сказал Пересвет, —
Он брешет, собака!

Взошел на коня и ударил коня,
Стремнину копы на зарю накреля,
Как вылитый витязь!
Молитесь, родные, по белым церквам.
Все навье проснулось и бьет по глазам.
Он скачет. Молитесь!

Все навье проснулось — и пылью и мглой
Повыело очи. Он скачет слепой!
Но бог не оставил.

В руке Пересвета прозрело копьё —
Всевидающий Глаз озарил острие
И волю направил.

Глядели две рати, леса и холмы,
Как мчались навстречу две пыли и тьмы,
Две молнии света —
И сшиблись... Удар достигнул до луны!
И вышло, блистая, из вражьей спины
Копье Пересвета.

Задумались кони... Забыт Челубей.
Немало покрыто великих скорбей
Морщинистой сетью.
Над русскою славой кружит воронье.
Но память мою направляет копьё
И зрит сквозь столетья.

Александр Васильев

КОНДРАТИЙ РЫЛЕЕВ

Все, кроме правды, истины не новы.
Но за нее нередко бьют под дых.
И все ж правдивого мы жаждем слова,
Как ждет земля побегов молодых.

Из сонма златоустов, грамотеев
Встает сквозь тьму веков, как исполин,
Отнюдь не краснобай — поэт Рылеев,
Поборник правды, честный гражданин.

Когда, на муках на людских жирея,
Лютела знать, он гневно восклицал:
«Я ль буду в роковое время
Позорить гражданина сан?!»

Когда тиран, от самовластья пьяный,
Послал его на смерть, на эшафот,

Чертил он на тарелке оловянной:
«Пусть я умру, но не убить народ».

И вроде слог его тяжеловесен,
И речь проста, и рифма не ярка,
Но много ли таких глубинных песен,
Как песнь про атамана Ермака?

Такой размах в ней и такие дали,
Закованная мощь богатыря
И вспыхивающие молнии, что в ночи блистали,
Предвестники рассветов Октября.

...Вся красота рылеевского облика —
Глаза святого и бровей разлет,
Как сказочно загадочное облако,
Которое нас в высоту зовет.

Виктор Лапшин

ЛЕРМОНТОВ

Шли вечно мы равниной снежной.
Нет ни былинки на безбрежной.
Сиял железный звучный наст.
И, целью некою влекомы,
шли отрешенно и легко мы;
был мир безлюден, кроме нас.

Я пересек овраг пологий
и обернулся: странно строгий,
моляще-гневный встретил взгляд!..

Опешил я, но, страх отринув,
я понял, что ему Мартынов
во мне почудился... О, брат,
прости меня, мой брат любимый!..
Наст подо мной несокрушимый
распался, поднимая прах,
и трещины щемяще-звонко
вмиг достигнули горизонта,
и... пробудился я в слезах.

Анатолий Третьяков

* * *

Река, послушная ветрам,
Волною вздыбится сурово...
Россия началась с Петра,
Я прочитал у Соловьева.

Россия началась с Петра,
Неколебимая держава.
Какая грозная пора!
Какая царственная слава!

Туман развеется к утру,
Прозрачному и ветровому.
Очнусь. Подумаю — а вдруг
Все это было по-другому?

Но вот покатится звезда
Над пробужденным Петроградом.
Рванет у Зимнего снарядом...
Конечно, все-таки — тогда!

Феликс Чуев

В КВАРТИРЕ НА ПЛОЩАДИ ВОССТАНИЯ

Это тот невысказанный Громов,
что еще задолго до войны
прогремел, как зов аэродромов,
в мощной биографии страны.

Эхом по небесным коридорам
прозвучал облетанный металл.
Это тот пилот, перед которым
Чкалов понимающе молчал.

Это тот, подтянутый и бравый,
что ни разу не был побежден
ни стихией, ни всемирной славой, —
равных нету. Это Громов. Он!

Под стеклом увижу я, казалось,
обрамленной славы естество,

да не любит он, чтоб отзывалась
жизнь бывлой профессией его.

В старом кресле, в свитере домашнем,
на коленях полинялый плед...
— Если б небо не было вчерашним,
стали б снова летчиком вы?
— Нет!

Занялся бы творчеством, искусством,
в небе я себя не исчерпал.
Нереальным кажется и грустным
то, что я прицельно испытал.

Даже и не верю, что сначала
были эти летные года.
Как одна знакомая сказала:
«Этого со мною — никогда».

Виктор Кочетков

* * *

«Поэзия — весть», — утверждает Овидий.
Судьбою приказано мне
Быть вестником тех корпусов и дивизий,
Что в Вечном сгорели огне.

Я — воин, которого шлют Фермопилы,
Чтоб знали во все времена,
Какою жестокой ценою купила
Победу родная страна.

Грядущему весть я несу из былого,
От тех, кто не может прийти.
Мне надо сказать их заветное слово,
Чтоб право на смерть обрести.

ВОСПОМИНАНИЕ О ДОРОГЕ

Во время учений танковые части шли
мимо нашего дома по дороге, восста-
новленной пленными «сверхчело-
веками».

Мимо окон — во тьму — раскаленно
по тревоге учебной гоня,
рассыпает стальная колонна
треугольные брызги огня.

Ржавым дымом подфарников ближних
расстилается второпях
анархический черный булыжник
в педантичных немецких рядах.

И ножом не нащупать зазора!
Этим пленным гранитом укрыт
шлях печали, сиротства, разора.
путь родной нашей славы навзрыд.

«Дранг нах Остен!» — текли полубоги,
ухватясь за железную нить,

чтобы после, в плену, по булыге
русла русских дорог возродить.

Эта память — не месть, не обуза,
эта боль не прошла стороной:
камни стонут от страшного груза
справедливости нашей стальной.

Что отцу этой ночью приснится,
что увидит сквозь грохот и вой?
Лейтенантов счастливые лица,
дошагавших до передовой?..

Тьма стоит, как вдова молодая.
И ко мне, пацану, горячи,
искры тянутся, не долетая,
обрываются, тают в ночи.

КОММУНИСТЫ

Мы — коммунисты, века сыновья,
Добры ладони наши и могучи.
В ладонях этих вся Земля — моя —
Ее долины, океаны, кручи.
Нам сталь варить. Нам ставить города.
Нам это делать смело и упрямо.
Как равные мы смотрим солнцу прямо
Глаза в глаза. И это так всегда.
Сердца стучат — мир слышит этот стук,
Сердца горят — и в этом наша сила.
И если бы погасло солнце вдруг,
То сердце коммуниста бы светило.
К нам вся земля обращена лицом.
Лицо земли — какое диво это!
Цветение акаций над крыльцом.
Торжественная синева рассвета.
Мы — коммунисты. И у нас в руках
Земля. И города ее, как гнезда.
И над землей, как маки, светят звезды,
И мы шагаем в пыльных сапогах,
За все в ответе мы на этом свете.
А если есть еще миры, в ответе
Мы и за то, что там, в иных мирах.

ТОЧКА ОПОРЫ

Недавно в одной статье прочитал: русская поэзия — Пушкин, Лермонтов, Блок. Возражений особых не имею. Вместе с тем хочу спросить: а где Некрасов, где Маяковский? Лично я считаю: у нас их три, самых великих величины в поэзии, — Пушкин, Некрасов, Маяковский. За каждым из них — целая социально-историческая эпоха. Пушкин — это декабризм, Некрасов — разночинство, народо-вольчество, Маяковский — эпоха социалистической революции, Владимир Ильич Ленин, большевики, строительство нового общества.

Мы где-то слишком завосклищали Маяковского и в этих своих завосклищаниях в чем-то и заупростили его. А ведь он наивнейший поэт в основе, мало подходящий и для риторики и для сладкопения.

Маяковский — поэт не только слова, но и своего особого жеста, своего шага в слове, своего характера, темперамента, мысли. Маяковский — поэт кустового таланта, многоотраслевого, а не сугубо однолинейного. Он — историк и драматург, эпик и лирик, мастер гротеска, великий выдумщик, фантаст и вместе с тем реалист предельный, реалист до каждой клетки мозга, до каждого нервного корешка. Он — и любящий, Маяковский, он и гневный, он — и улыбающийся, нежный, даже неуклюжий, застенчивый в этой своей нежности, он — и открыто, во всю мощь своего таланта негодующий, размашистый от своего высокого плеча, резкий от своего доверчивого сердца, определенно неколебимый от своего коммунистического убеждения. Он не переносит лести и великочия в людях, особенно должностных, противостоит всему мерзкому, всему буржуазному в человеке. И во всем этом он — и бескомпромиссный юноша и мудрец одновременно.

Но есть попытки и притишить, так сказать, Маяковского. А это почти то же самое, что и перегромчить. Ни то, ни другое к нему не подходит. Он работал во весь голос. Слову его до сих пор не лежит в страницах его книг — оно рвется на сцену, на площадь... В диспут и разговор... Но Маяковский мог и на полутонах, шепотом, если хотите, мог и взрывно, грозиво. И уж если он ради сурового реализма революции мог стать на горло собственной песни — песни истинно лирической, правдивой, — то представляю, с какой бы яростной решительностью, будь он жив, наступил бы на горло тех современных песен, которые не столько о любви, а под любовь, под некий такой эрзац — аристократический, томный, прокуренный интим, под задушевность с похмельной хрипотцой и под грубый, полублатный жаргон с претензией на народность... Он бы на горло их памятником своим стал.

Маяковский — революционер и в слове и в поступке. Всякая излукавленность, хитрость, двоедушие — антиподы его жизненного стиля, его образа. Он даже в ошибках своих, в своих формальных пережидках, в излишней категоричности своей — Маяковский. Он человек действия, всегда честен и прям. Потому мне не совсем понятно то, что его, такого беспокойного, не остывшего еще, так поспешно отводят в гавань литературно-исторического покоя, в академический холодок назидательных хрестоматий. Это все не для Маяковского. Для него — жизнь, жизнь и еще раз жизнь. Поэзия это не только листочки-цветочки в оранжерейном ряду, на подоконниках, это — и стволы и корни, плоды и колосья — в полях и садах. Это не просто букетик на час-два или даже на день — это целые стога душистого сена в лугах на целую зиму, это — разнотравье в лугах. Словом, все то, что не отвергает чрезмерно пользы и чрезмерно не отвлекается, не перевозвышается в красоте.

Разве можно говорить «профессия» применительно к литературе? Думаю, что нет. Работа словом — это не профессия, а любовь. Сумма навыков и приемов тут только усугубляет имитацию. Тут как ни складывай, ни сомножай и в какой корень ни возводи — таланта нет, значит, нет. И нет такого высшего учебного заведения, которое научило бы любви. Знать, только знать — это все-таки химия, органическая, на подступах к тайнам белка, но химия. А любить — это уже сама биология. Большая литература, как самый необходимый, самый широкий элемент общения между людьми и народами, предполагает и то и другое: и знать и любить, но вся завязь смысла ее все-таки в любви, в продлении жизни словом. Рожденная жизнью, литература сама — как самая долгая жизнь из всех жизней.

Не надо думать, а тем более вслух настаивать на том, что ты поэт. Надо больше думать о том, что ты хочешь сказать, кому хочешь сказать, как хочешь сказать. И какая польза будет от этого. Вот — главное. А поэт ли ты — не поэт, пусть скажет твое дело. Твардовский, насколько я знаю, вообще в обиходе

избегал этого слова, поскольку невероятно ценил его смысл, тайно благоговел перед ним, старался в деле соответствовать ему. А если уж ты слишком самохвальски и многожды означился как поэт, значит, ты остановился. Имени слишком захотел, а не смысла, о глаголе и говорить уже нечего.

Скажут: а как быть с «Памятником» Пушкина? Во-первых, это дань многовековой поэтической традиции, идущей со времен Эллады и древнего Рима, а во-вторых, пушкинский «Памятник» не столько мемориально-мраморный, отвлеченно-величественный, как его предыдущие образцы, сколько живой, теплый, истинно человеческий памятник. Не из мрамора, а по дереву, я бы сказал, памятник. А уж Маяковскому—тому вообще, как известно, было «наплевать на бронзы многопудье». Он за общий памятник—«построенный в боях социализм». И у Есенина, помните: «Нет, не ставьте памятник в Рязани!» И это отнюдь не от игры в скромность, не от самовозвышения в скромности и якобы в самоотрицании, нет. Какая тут может быть игра, когда, собственно говоря, и без того, уже все переиграно, осталось одно естество. И нет уже больше ни сил, ни времени играть в поэта—надо им быть. И этому «быть» отдать всего себя.

Не слишком ли легко и просторно идут теперь в поэзию, как в некий книжный храм красивого равнодушия? Да, в дни моей молодости было много риторического. Это факт. Да—было много газетного. Да—было много плакатного, однодневного. Но сколько осталось истинного, долговременного! С тревогой наблюдаю: уходит политическая поэзия, поэзия прямого гнева, резкой незамедлительной реакции, открытого протеста и неотложной помощи. Публицистика—это ведь тоже вид лирики, на первых порах, может быть, и не столь уж художественной, но зато очевидно полезной, дельной. Чураясь штампов повышенной громкости, молодая поэзия зачастую впадает в другой не менее шаблонный штамп, чем первый,—в штамп прокуренной тишины и нарочитой задушевности, в подхрипыватый, послепохмельный интим, в модную, взятую напрокат, в стиле «ретро» атрибутику—свечи, лики, персты...

Я, слава богу, еще не дед. Да и характером в общем-то не такой, чтобы ворчать. Да и назидать, то и дело подчеркивая превосходство опыта над буйством разных чувств,—должность, прямо скажем, не по мне. И все-таки, все-таки... Откуда эти молодые старички, в домашних теплых тапочках? Откуда эта мода на показной, с напуском на лицо, интеллектуализм? Почему-то стало престижным интеллектуально нагонять этакую хмурь на лицо и многозначительно молчать при этом...

Чего я хочу от молодежи? Да молодости прежде всего хочу! Хочу, чтобы она была непосредственной, озорной, простодушной. Простодушие не исключает ума—наоборот, подчеркивает. Ломоносов, Ленин, Суворов, Эйнштейн... Какие еще нужны примеры? Хочу, чтобы молодежь была коллективной, не слишком заиндивидуализированной, обособленной. И конечно же интеллигентной. А высшей степенью подлинной интеллигентности, как свидетельствуют биографии лучших из лучших, является народность. Служить не себе, а людям,—это и есть первопризнак интеллигентности. И быть самим собой—это прежде всего быть в людях, а не лелеять свое исключительное одиночество в чрезмерной любви к себе.

Сначала было слово, да. Но оно было востребовано к жизни необходимостью поступка, действием. Отсюда у Пушкина: «глаголом жечь сердца людей». Не именем предмета, даже не его смыслом, а действием—глаголом! В этом они в основном и сходственны—Пушкин, Некрасов, Маяковский... Сходственны в языке, в постоянном приближении к его живой речевой стихии—к его речным или же океанским берегам, к его постоянно волнующейся волне.

Меня беспокоит чрезмерная заштампованность, чрезмерная грамотность, заредактированность языка, каким говорим, каким пишем. Это ведет не только к обеднению речи—к обеднению мысли, к обезличию характеров, к монотонности действия. Чистый интеллектуализм—это бильярдный шар в галстук. Тут правило исключило любые исключения. А надо доверять языку. Не просто пользоваться им, а жить в нем, как в доме, в поле, в лесу. Язык—он не только с нами, он вокруг нас, как атмосфера. Он—первопоэт, первопрозаик, наш язык. Хочу, чтобы он всегда был живым, как небо с облаками и птицами, а не только с крылатой и ракетной техникой.

Первый шаг приближения к нему, повторяю,—Пушкин, второй—Некрасов, третий—Маяковский.

Лев Смирнов

ЖУРАВЛЬ В НОЧНОЙ СТЕПИ

Скрип раздается во мгле —
Звук, устремленный к зарницам.
Ходит журавль по земле,
Будто бы по половицам.

Степь под луною полна
Мыслей о белых метелях.
Прячет тот скрип тишина
В древних людских колыбелях.

Люди ушли навсегда,
Сталью в ночи не бряцают.
Смутно в степи. Ни следа.
Вещи людские мерцают.

Степь под луною полна
Таинств великих и малых.

Прячет тот скрип тишина
В древних крестьянских оралах.

Странный мелькнул человек
Огненным чертополохом.
Скрипом остался навек,
Шепотом, ропотом, вздохом.

Степь под луною полна
Запаха смертной полыни.
Прячет тот скрип тишина
В древней степной домовине.

Ходит журавль по земле,
Будто бы по половицам.
Древние вещи во мгле
Светят подобно зарницам.

КОНЬ

Плач на реках пошехонских
В черном воздухе стоит.
Искры свищут из-под конских,
Смертью пахнувших копыт.

Человек как свечка тает.
Вянет книжная строка.
Дикий конь не забывает
Пролетевшие века.

Горе вечное, сквозное,
Вдруг прикинувшись сверчком,
Веко конское глазное
Рвет невидимым крючком.

От всех гиков молодецких
Остаются пыль и прах...
Скрип повозок половецких
У коня живет в ноздрах.

СВАДЕБНАЯ ПЕСНЯ

Мельник сватался к бабке моей:
Приходил и вздыхал у дверей.
Что-то губы его лепетали.
А на бедной обшивке дверной
Крылья мельницы ветряной,
Словно тени небес, трепетали.

Мать, в глазах у невесты ни зги!
Бей опару, пеки пироги
И на дочь по старинке не шикай!
Ей теперь не в углу токовать,
А булавкой убрис притыкать
И венчаться молвою великой.

Среди звезд, берегущих людей,
Не бывало от века светлей
И лучистей звезды мукомола.
Отступив от виденья на шаг,
Он стоял, теребя свой кушак,
Улыбаясь улыбкой монгола.

Вам вовеки нигде не прочесть,
Как в те дни эта грозная весть
Сотрясала все наши основы,
Как из темных глубин сундуков
Извергались фонтаны обнов —
Шушуны, сарафаны, покровы.

Из Сибири пришел мукомол...
Блюда прыгали сами на стол
И урчали надсадно и глухо,
И плясал дивный камень драгой,
Самоедской вцепившись серьгой
В женихово мохнатое ухо.

Ах, девичеству скоро конец!
Поднял первую чару отец,
Жениха недоверьем пронзая,
И компания хмурая вся,
На пришельца гляделки скося,
Зубы скалила, словно борзая.

Мать, следя за питьем и едой,
Знак поймать норовила худой
В каждом жесте и взгляде пришельца:
Как он пил после водки рассол,
Как зубами корежил мосол
И как рвал он куриные тельца.

А невеста, у всех на виду,
От стыда, словно вишня в цвету,
Умирала и вновь воскресала,
И не ведала в звездный свой час,
Как спастись ей от собственных глаз,
И фату от волненья кусала.

Мельник, мельник, невестой такой
Каждый житель пленился б тверской
И зажил бы на лад мусикийский.
Соколиной удаче твоей
Позавидовать мог бы, ей-ей,
Даже сам император российский.

Эх, от ран не погиб ножевых —
От любви ты погибнешь, жених,

От услад белым лебедем станешь,
В небо вскинешься, крылья сожмешь,
И о землю себя разобьешь,
И о твердь свою душу изранишь.

А куда ты жив, мукомол,
Грянь дубовой десницей о стол,
Подымись над людской переглядкой,
И цыганскою гривой тряхни,
И запой про бывалые дни,
В перелад с инвалидской трехрядкой.

Ах, как пел он, пришелец чужой
Со своей камчадальской душой,
Без конца вел напев, без начала,—
И в той песне, что сердцем он пел,
Океан Ледовитый гудел
И Сибирь свои сосны качала.

А еще Самарканд, Бухара
По пескам, раскаленным с утра,
Синеву куполов проносили,
А за ними, за их чередой,
Брезжил в Индию путь золотой —
Затаенная греза России.

И покудова наш мукомол
Свою песню безбрежную вел,
Ради славы застольной старался,—
Каждый гость, не касаясь вина,
Пробуждался как будто от сна
И с тоскою вокруг озирался.

А когда оборвалась песнь,
Встал с недопитой чарою тесть,
Сдвинул брови хмельные сурово,
Слезы шелковым платом утер,
Чуть помедлил, хитер и матер,
И сказал свое главное слово:

— В песне ты — словно конь без удил...
Вот теперь ты нам, зять, угодил,—
В том клянусь перед всею деревней.
Ты провел нас по диким местам,
По забытым могильным крестам,
По кочевьям души нашей древней...

И сказала вся свадьба: — Ты прав!
Это — песнь тех таинственных трав,
Что шумели при нашем начале...
Потому-то она хороша,
Что осталась в ней наша душа,
Наши радости, наши печали.

А невеста, объята огнем,
Ни душою своей, ни умом
Этой песни постичь не умела,
И лишь плотью, лишь ею одной,
От касаний той песни родной
Трепетала, пылала, хмелела...

И не видел никто, как она,
Без застольного зелья хмельна,
Белой лебедью ввысь уплывала
И, сложив два усталых крыла,
Опереться о твердь не могла,
И о землю себя разбивала.

* * *

Гремят железные слова.
Шумит листва железно-строго.
Шуршит железная трава.
...Гудит железная дорога.

Тесня холодным ветром грудь,
Сквозь колыханье гама, дыма,
Летит, летит — летит — мой путь.
...Как свет. Как гром. Неотвратимо!

* * *

Ты слова «нет» не говорил.
И «да» — не говорил.
Ты зла на свете не творил.
И счастья — не творил.

И малыша не унижал.
И не гневил отца.
И деревца не обижал.
И не губил птенца.

И мук суровых —
Избежал.

Но не достиг —
Венца.

* * *

Промчались метели, дожди, непогоды.
И льды. И снега.
И сжались все длинные, длинные годы
В мгновенный — один.

И светит в сознание случайная точка —
Мерцает. Горит.
Горелая — стылая — голая кочка!
В белоте.
Во тьме.

* * *

Прославь в веках свою свободу —
Уйми и гром — и свет — и снег!
Смири реку — сломи природу!
Себя убей — себе в угоду!
Ты, всемогущий человек...

* * *

Все глуше, все тусклее
В потемках голоса.
И воздух тяжелее.
И все крупней роса.

И воды — холоднее.
И все плотней — леса.

* * *

— Ты должен по этой низине идти.
Ты должен до края низину пройти.
Ты должен найти вековую вершину.
— А если не встречу ее на пути?
— Ты должен создать вековую вершину.

...Ты должен
На эту
Вершину
Взойти!

* * *

В этих темных владениях сна,
Где дорожная гарь не слышна,
В этот ключ, неприметный, ложбинный,
Он глядит — и не чувствует дна.
...Будто веры старинной-старинной
Колыхнулась пред ним глубина.

И безмолвная зыблется гладь.
И не хочет его отпускать.
И счастливо в нее он глядится.
Отстранится — глядится опять.
...И поверить, как прежде, стыдится —
И боится навек потерять.

...И чем леса — плотнее,
И чем крупней — роса,

И чем роса крупнее,
И чем плотней леса,
Тем ближе, ближе, ближе
Сияющая весть!

* * *

День между днями отыскать
В Тбилиси или в Ереване
И тень и зной его снискать
Такими давними словами.

Сказать: побудь, помедли, день,
Оставь на белизне бумаги
Хотя бы луч, хотя бы тень,
Хотя бы всплеск нагорной влаги.

Чтобы с тобою не исчез
Булыжник уличного склона

ЕВРОПЕЙСКИЙ МОТИВ

На маленькой дачной станции
Сошла с электрички ты.
В России, Германии, Франции
Сегодня цветут цветы.

А много ли надо художнице,
Собравшейся на пленэр?
Под стрелками рельсы-ножницы
Не надобны, например.

Цветут цветы и в Румынии,
И в Польше, и на лугу.
Беспечно-белые, синие,
Как бабочки в их кругу.

По небу, меняясь обликом,
Куда-то облако шло.

* * *

С деревьев галки осыпают иней.
Здесь на скамейке сживал порой
С моей лирической героиней
Не менее лирический герой.

Я им дарил плоды воображенья,
Они хрустели ими. А потом
Куда-то уходили в окруженье
Моих надежд. Я был седым кустом.

* * *

Это очень старая песня
Про летящие поезда,
Про слова «отзовись, воскресни!»,
Про ответное «никогда».

Про открытку и чей-то адрес,
Про записку (пропал и след...),

И легкий в воздухе навес
Витиеватого балкона.

Чтоб затопорщилась с листа
Листва бульвара или сада,
Чтоб тень роняла красота
И пахла розами ограда.

Мтацминду или Арагат
Увидеть в предрассветной рани,
Сказать глазами слово брат
В Тбилиси или в Ереване.

Ты любовалась облаком
Рассеяннo и светло.

Художница беспечальная,
Живущая цвет любя,
Жиличка континентальная,
Что облако без тебя?

В окрестностях не обидела
Вниманием ничего.
И маленький храм увидела,
Сирени вокруг него.

Ты храм в стороне оставила.
Сирень занесла в альбом...
А облако все не таяло,
Огромным клубясь грибом.

Песком аллеи. Холодом ограды...
Ветвями, им глядевшими вослед,
Безгрешные нездешние отрады
Я им дарил тогда. Их больше нет.

Над Чистыми прудами воздух синий.
Пятнистый сад сырой листвой пропах.
С деревьев галки осыпают иней.
Увозят лодки на грузовиках.

Про разорванную крест-накрест.
Это песня про «да» и «нет».

Это песня о странных играх
Судеб, случаев, телеграмм...
Это стон проводов...— эпитаф
К разведенным твоим рукам.

СКАЗ О БЕЗРУКОМ ПЛОТНИКЕ

Забьль это или небыль —
Не найти концов:
На земле ищи, на небе ль,
В слове ли отцов,
В падах долгих или высях,
В сердце ночи — дня.
Темень-тьма, когда не высек
Искру из кремня.
Где науку обретали —
Куст дорог пылит.
Где разлуку погребали —
Камень-крест горит.
Неизбывными руками
Се претворено.
Залегло молчанье в камень,
И о том оно:
Объявился в мире плотник —
Свет-аргун-избач.
С ним топор да клин-угодник,
Долото и драч.
Где ни ухнет, где ни стукнет —
Тут и терем-двор.
Кто-никто видали, рук нет —
Дело знал топор.

Возводил — творил молебен.
И сочла молва:
Семь небес построил в небе,
Свет седьмой — Москва.
Тем воздал поклон земному
Плотник имярек,
Что по образу седьмому
На смеженье рек
Грудь отбойную воздвигнул —
Да не взыщет враг, —
На семи холмах раскинул
Град в двенадцать врат.
Вытер пот и вышел в поле,
Ветер вдохновил,
Возмутил до суха море,
Китеж подновил.
Да и вся на том потрава,
Вся трава как есть.
На возу уселась слава —
Некуда отвезть.
А пора пришла притину.
И у камня дней
Сладил плотник домовину
Да и зажил в ней.

* * *

Эх, будем жить да не тужить,
Плясать и петь «Калинку»,
Покамест не упрячет выть
Под шапку-невидимку.

И нет как нет! Чур, не спеши:
Мы тут как тут — из нета.
А ну-ка нашу, от души!
Гармонь на оба света!

* * *

Твержу назначенную роль.
С пути схожу в путину.
И снова на меня юдоль
Напялила личину.

И наделила неким «я».
Предел дала и сроки.
Вновь на подмостках бытия —
Соблазны и уроки.

Чур-чур меня, табак-кабак!
Уже не хам, не мот я.
Мой дух сечет телесный мрак,
Сверкая сквозь лохмотья.

* * *

Где я? Что я? Позабыла.
Есть — была и нету.
Позабыла. Стала ива.
Загляделась в Лету.
Дни-огни дотла сгорели.
Ночи очи проглядели.
Весны-звезды отцвели.
Годы — воды на мели.
А по Лете ходят дети,
Яко по суху идут.
— Где бывали?
— На том свете.
— Что видали?
— Что и тут.

* * *

Куда? Ты что, с ума сошел?
Все прочь бежит, а он пришел!

Счастливый всклень. Идет, поет.
Улыбка до ушей: вперед!
Глаза!—себя в себе он зрит.
И сам с собою говорит.
И головой кивает, мол,
Во мне сегодня дождик шел.

Все прочь бегут. Земля горит.
Собой и всеми позабыт,
Огонь он переходит вброд.
Улыбка до ушей: вперед!..

Сгорело все в пределе том,
Где время занялось огнем.
Кто прочь бежал—спаслись в былом.
А он сжег собственную тень.
И был ему грядущий день.

Геннадий Русаков

Геннадий Русаков—поэт страстного, чистого голоса. Он много лет провел в Нью-Йорке, где работал переводчиком при ООН. Но стихи его начисто лишены реалий и примет иностранного быта, они захлестнуты тоской по Родине, памятью о военном детстве.

Редколлегия

* * *

Упали воды рек, судьба моя, упали.
Упали воды рек, подмыты берега.
Где молодость моя? Куда грачи пропали?
Мне нынче жизнь моя совсем не дорога.

Кто пепел мой придет развеять над полями?
Все было и прошло, не надо, не прошу.
О, молодость моя, твоими голосами
Я больше не зову—я в голос голошу!

И зачерпнуть бы слез, да все грачи пропали...
Прости меня, прости!..
Что делать, жизнь долга.
Упали воды рек, любимая, упали.
Упали воды рек, подмыты берега.

* * *

Время жалости бьется в окно—
это бабочка крылья ломает.
На дворе широко и темно.
Малый Ковш родники поднимает.

Дорогие, любимые,—нет!
Вы забудьте, а мне не по силам.
Время жалости вышло на свет
и напиться в горсти попросило.

Не стыдиться ни слез, ни любви,
ни друзей, обойденных в дележке,
и, под шепот железа в крови,
жить—всерьез, умирать—понарошке...

Хорошо, так и будет, пора...
Время слышит и верности просит.
И высокое слово «сестра»
на своем языке произносит.

* * *

Где соль моя для пресного обеда?
Где гости на негданном пиру?
Обыщешься—ни друга, ни соседа...
Застольников и тех не соберу.

Кому я тут сегодня однокашник,
ровесник по немьслимым годам?

Я нынче скуп—я их кладу в загашник
и ничего оттуда не отдам.

Что суд людской, когда ты судишь строже,
хоть я тебе случайная родня.

Я не ропщу, я знаю. Но за что же
ты мертвым хлебом потчуеть меня?

Нью-Йорк

* * *

За три века от отчего слога,
за три моря до первой родни,
я просил карантинного бога
сохранить мои смертные дни.

То кружило меня, то качало
по земле не моих языков,
где почти святотатством звучало
даже имя мое—Русаков.

Но не мог я уйти без ответа
на последний проклятый вопрос,

умирал, а цеплялся за это,
чуя ветер на щетке волос.

Я услышал—и силой забвенья
встал, пошел и оставил жилье.
Чем я лучше судьбы поколенья,
безотказное время мое?

Все в ней было и все еще будет—
славно век на горбу поднимать!
...А нелюбого сына забудет
молодая разгульная мать.

* * *

Время любит своих бесноватых
и своих простаков бережет, '
хоть порой, без вины виноватых,
слишком коротко, в общем, стрижет.

Что им, божьим непуганым птицам?
Все равно где клевать кожуру,
в мясоед по бесхлебью поститься
и кликушествовать на миру.

Ни стыда и ни страха не зная,
в урожай предрекать недород,
будто некая сила блажная
распирает им яростный рот...

Эй, гунявый, не бьют тебя боем?
Крепко ж, время, ты ценишь свой сор.
Вот уж я покажу вам обоим!
Вот я вас прокачу без рессор!

Что такое вы знаете оба,
как вы так научились глядеть,
что ни зависть моя и ни злоба
вас уже не посмеют задеть?

Где мне взять это зренье с изъязном,
эту страсть, этот яростный рот?
...Им везет, словно детям и пьяным.
Им, юродивым, вечно везет.

РОД

1

Я всю любовь к ушедшим растерял.
Зачем меня оставили на свете?
А я-то вами хвастал-козырял!
Чей я теперь и кто такие эти —

семь фотографий, горстка, жалкий сор,
отонок сна, горчичная крупца?
Года мои! Чума на вас и мор —
чтоб не глядели больше в эти лица!

Кто здесь? Кого я должен узнавать?
В ком находить фамильную ухватку?
Вот эта в белом называлась «мать»...
А тот — «отец»? Нет, третий по порядку.

Я всех забыл и не запомнил дня.
Мое наследство мыши источили.
Зачем же вы покинули меня?
Зачем такому плачу научили?

2

Я знаю, что нет меня в этом роду
и сын мой меня не окличет,
когда я назад через память иду,
года выбирая навычет.

О, время мое! Прошуми над плечом!
Я тоже чего-нибудь стою.
Не зря же я мечен твоим сургучом
и травлен твоей кислотой.

А как я по птичьему следу иду
и горблю костистую спину!
И знаю, что нет меня в этом роду,
не давшем пристанища сыну.

3

...А я, иван, не помнящий родства,
по родословной в четверть поколенья,
опять ищу, чем жизнь моя жива,
и ворошу разрозненные звенья.

Родства, родства! Мы роемся в золе,
мы кровь зовем, у слова просим силы.
И сорок лет блуждаем по земле,
опознавая отчие могилы.

Теперь нам больше некого искать:
кто мог — нашел, а прочие забыли.
И надо снова к миру привыкать,
любя живых, как мертвых полюбили.

Виктор Афанасьев

СОСНЫ

Памяти моей матери

Малая лира, широкая лира —
В глине увязли и выглядят сиром,
Кажется выдумкой звучное имя —
Лира! Но я их увидел такими.
Сыплется хвоя, гниет у корней...
Сосны кривые — так будет верней.
Я постою в этой роще печальной, —
Мама! О где ты, мой свет изначальный,
Здесь ли — под лирами — в глине сырой,
С сердцем, разбитым их мертвой игрой?
Сосны другие — облитые зноем,
Сосны в снегу и в осеннем огне —
Радостью были твоей и покоем,
Так они нынче припомнились мне.
Вот и сошлись они — те и другие,
Грозною волею здесь сведены...
Где вы, о где вы, глаза дорогие,
Легкое — где серебро седины?
Что там поют — за пределами мира —
Малая лира, широкая лира?

* * *

Похожие на жалобу разлуки,
На стон, что ветром в небо унесен,
Глубокие, двоящиеся звуки —
Как два рожка, поющих в унисон.
Деревья молча смотрят друг на друга,
Стоят толпой среди высоких трав,
В сырой земле сплетая корни туго,
Вершины на ветру перемешав.
Как будто осенила их догадка,
Что кончен их невозмутимый сон,
Что эти звуки горестно и сладко
Поют с последним ветром в унисон.

Нет-нет да, корни вывернув наружу,
Падут в траву осина или ель,
А ведь они выстаивали в стужу,
Скрипели, но не падали в метель.
И у меня для них нет утешенья,
И я глядеть на звезды не люблю,
И я, как эти старые растенья,
Вцепился в нашу землю и скриплю.
Пока летают птицы по вершинам,
Поют кукушки, свищут соловьи,—
Мне кажется холодным и пустынным
Путь, что пролег почти в небытии.

ВРАЖДА КОРНЕЙ

Весна. Земля очнулась — в ней
вновь вспыхнула вражда корней:
витые, цепкие коренья,
соединясь в большой клубок,
напружившись до одуренья,
пьют друг из друга сладкий сок.
Там бледных мускулов бугры,

там тверды пальцы, как багры,
там, в этой черной преисподней,
бессильный сохнуть обречен,
да и когда засохнет он,
ему нисколько не свободней —
его опять сосут и трут...
Вражда корней! Иль просто труд?

Петр Кошель

* * *

Все связано веревочкой одной:
и Днепрогэс, и Китеж под водой.

Брусиловский прорыв и Сталинград
о неизбывном прошлом говорят.

Как хочешь, но в истории страны
все лица и события важны
и связаны навечно меж собой
когда единством, а когда борьбой.

Над прошлым мы не властны. Оттого
трудней и проще осознать его.

Но как отрадно Родиной дышать,
наследственной верой понимать
сокрытый смысл полей, лесов и рек,
и плач дитяти, и декабрьский снег,
и на каких дрожжах могло взойти
простое чувство верного пути.

* * *

На родине Якуба Коласа
прошли полночные дожди.
Напой мне, милая, вполголоса
о том, что будет впереди.

Дымя махрой над чутким Неманом,
не соблюдая должных мер,
процеживает воду неводом
с похмелья жуткий браконьер.

* * *

Этой ночью последние слезы
в травы скатятся и прорастут,
и не слезы, а первые росы
заиграют уже на свету.
Открывается день. Одиноко,
прилекая к опушке бочком,
начинается к небу дорога,
по которой уйдешь босиком.

Ты не грусти, что жизнь не сбудется,
не стой над черною водой.
За нас
сама Земля заступится
перед вселенской чернотой.

Что впереди... дорога дальняя,
след поцелуя на груди
да песня длинная, печальная
о том, что будет впереди...

Анатолий Третьяков

* * *

На краях несмыкаемо-гулкой,
беспредельной почти пустоты
Ленинграда и Петербурга
разведенные стынут мосты.

Но взглядишь — и сквозь дождь морсящий
кто-то встанет на той стороне,
перед будущим и настоящим
прислонясь к потемневшей стене.

Зябко трогая узкое горло,
не смыкая назойливых глаз,
он глядит нескончаемо долго,
он глядит неотрывно на нас.

Слепо хмурится серое небо
над свинцово-рябящей Невой...
Нам-то что до прошедшего века!
Я не помню того человека,
знать не знаю я, кто он такой.

* * *

Сидим в конторе с председателем
колхоза «Новая Заря»,
как ни крути — лишь силы тратили
да загубили жито зря.

Оно, конечно, дело ясное,
да если б вывезли навоз...
Он агроному с государственных
позиций делает разнос.

Вдруг захрипит из репродуктора
про день, что «порохом пропах»,
про День Победы, и как будто бы
слеза покажется в глазах.

Зубами скрипнет: — Эх, покойнички!
Друзья-приятели мои!.. —
И вдруг рванет с плеча полковничьи
погоны вечные свои.

* * *

...Едет мужик на разбитой телеге,
думая думу о позднем ночлеге —
прямо беда!
Еду и я непонятно откуда
и неизвестно куда.

И не чахоточный этот румянец,
поздних лесов поредевший багрянец,
скрасит безрадостный путь —
хлюпает грязь или чавкает глина,
так и плетемся все мимо и мимо,
боком, трусцой, как-нибудь.

Поздняя осень снежком посыпает,
грач над картофельным полем летает
и никуда не летит.
И на земле и на небе дорога
есть лишь одна, никакого другого
и не бывает пути.

Так и лететь над пустым косогором,
не опускаясь к промерзшим озерам,
над придорожным кустом,
над дорогим беспредельным простором
крылья раскинув крестом.

Юрий Кабанков

КРИК ДО РОЖДЕНИЯ

Невозможно понять, невозможно поверить,
чтобы это далекое гиблое лето
к нам во двор заходило гимнастерку примерить,
а детишки в «орлянку» делили галеты.

Колосилась вода в ожиданье парома...
Замусолив устав до последних абзацев,
подходили мальчишки к столу военкома,
поднимались на цыпочки,
чтобы казаться.

На пароме весь день не смолкала гармошка,
матерился паромщик, насилиу причалив;

собирая с коленок хлебные крошки,
постаревшие беженцы хмуро молчали.

Старики из заречья (почему — не понятно) —
угощали больных, разостлав полотенца,
черемшой и махоркою с привкусом мятным.
И никто не решался спросить про немца.

...Эта память — моя! От добра или худа!
Мы германских детишек кормили обедом.
Я кричал. Но меня не слышали,
покуда
девять лет не прошло после нашей победы.

* * *

Ночью ливень захлебнулся в терриконах.
У проснувшихся бойцов болят глаза.
До сих пор в потемках заоконных —
глина да разбухшая кирза.

Глина здесь особого замеса:
черт месил и денег не просил;
мертвая земля лежит за лесом,
там, где я когда-то луг косил.

Высмотрело поле вороненка:
где упал — не ведомо ему;
ночью осыпается воронка,
подбираясь к дому моему,

и дымитесь край земли и неба,
край страны... И карий конский глаз,
покосившись на краюху хлеба,
равнодушно отражает нас.

В ПОЕЗДЕ

У колеса хороша смазка...
Ночь по вагонам бродит на ощупь.
Дремлет железнодорожная сказка;
спят россияне в вагоне общем.

А над котомкой старуха стынет,
на остановках к окошку тянется...
«Сыне! Что ж ты не пишешь, сыне?»
Никто не встретит ее на станции.

Сирий комочек, судьбой захватанный,
чай вагонный и снедь домашняя...
— Яблоньку он посадил за хатой,
выросла яблонька...

Пусть ей приснится: сын на перроне,
тихо приснится, как скрипнет ставница...

А проводница тихонько тронет:
— Ваша станция...

* * *

Подойду в темноте к занавеске из ситца—
и ребенку зеленая роща приснится.

В растворённом окошке безмолвствует осень.
Мы за тридевять зим свое счастье уносим.

Сберегаем обиды от детского взгляда.
Хорошо, что мы живы, бессмертья не надо.

А бессмертье толчется у нас за спиною
и молчит по ночам надоевшей виною.

И летит снегопад, по ночам невесомый,
твоей детской рукой на стекле нарисованный.

Владислав Артемов

НОЧНЫЕ ПТИЦЫ

Ничего со мною не случится,
Ночью в дверь никто не постучится,
В армию меня не призовут.
Но не знаю, что со мной творится,
Даже если мертвым притвориться,—
Господи!—поют, поют, поют...

Ничего со мною не стрясется,
Почва подо мною не трясется,
Но часы тринадцать раз пробьют—
И опять они—мороз по коже!—
Каждый раз все про одно и то же—
Слышите!—поют, поют, поют...

Я не знаю, что со мной творится,
Не поется мне и не молчится,
Ночь пройдет—останусь в дураках.
А душа живет, и нет с ней сладу,
Самому бы спеть—не вспомню ладу,
Память надрываю, но—никак!..

Отпусти меня, возьми другого,
Спасу нет! Но снова ночь, и снова—
Бьют часы, и птицы тут как тут.
И стою, как лист перед травой.
Я руками голову закрою,
Чтоб не слышать, как они поют...

Опущу беспомощные руки,
Жизнь моя висит на тонком звуке
В темноте... А ну как оборвут!
В немоту душа навеки канет,
Ночь пройдет, а утро не настанет...
Что за черт!—поют, поют, поют...

Ничего со мною не стрясется,
Я почую, что восходит солнце,
И очнусь в глубокой тишине...
И жена вздохнет и осторожно
Снова скажет:—Жить с тобой тревожно:
Плачешь, плачешь, плачешь ты во сне.

ВОЛЯ

Надо мной наклонялся ветер:
— Что лежишь тут, лицом к земле?
Оглянись — за горою светит
Уголек, зарытый в золе...

Я шагнул за порог когда-то,
Обернулся тот шаг верстой,
Уходил по дороге покатою,
Возвращаться пришлось — по крутой.

И никто меня в доме не встретил,
И вошел я в него, оглушен

Вольным ветром, поскольку ветер
Вслед за мною, свистя, вошел.

Засквозило в доме опустелом,
И со скрежетом — кровь леденя —
Разомкнулись родные стены,
И дорога настигла меня.

И стоял я на той дороге,
На покатою и на крутой,
И кричали птицы в тревоге
Над оглохшей моей головой.

БАЛЛАДА О ПЫЛЬНОЙ ДОРОГЕ

Дорога серая в пыли
Лежала, задыхалась.
По той дороге люди шли,
А пыль не поднималась!
Никто из вас не знал, куда
Вела она, кривая,
Но шли без звука и следа,
Как будто проплывая...
Ты потом эту пыль кропил,
Дорога извивалась,
Ты поднимал ногами пыль,
А пыль не поднималась!
Ты не сдавался, ты устал,
Ты думал — вот немного!..
Но солнце умирало там,

Куда вела дорога,
И падала оттуда тень...
Ты шел и верил в чудо —
Там спрятан день! Но этот день
Уже ушел оттуда...
Потом, когда вся жизнь прошла
И никуда не вышла,
Дороги пыльная зола
Лежала неподвижно.
И тот, кто поздно послан был
С приказом: возвращаться, —
Он вышел, он едва ступил —
И стала подниматься пыль,
И стала подниматься...

Александр Чернов

АРМЕНИЯ

Оставь у подножия дрожь и усталость,
пускай запинаясь грамотный чтец —
сквозь страх слово «страсть»
произносится «старость»,
но мы меняем коней на овец.
Простор разряжен, будто выстрел ружья,
но возраст людей измеряют веками,
и, словно шаля, допотопные камни
легко поднимает мизинец ручья.
Из тьмы непроглядной подземного лаза
взойдя по корявым извивам лозы,
сияет в зрачке виноградного глаза
одухотворенное пламя слезы.
Как будто средь ясного полудня кто-то
нездешний, по внечному облику — гость,
свечные огарки выносит из грота
и лепит руками нелепую гроздь.
Не каждому мастеру это под силу —
перстом безымянным на Млечном Пути

над каждым младенцем зажечь по светилу:
— Свети! —
Стоит человек между зверем и птицей,
ошуйцу Евксинский раскинулся Поит,
Кавказ — это тело, а Каспий — десница,
простертая запросто за горизонт.
За облаком облако пиками чтется,
читая на ошупь на четках узор, —
крылатая фраза Месропа Маштоца
витают в сиреневых контурах гор.
Рождается мысль, и слагаются буквы —
как с давних времен повелось на земле...
Плывут аргонавты в небесные бухты...
Неведомый мастер сидит на скале,
вернее, в скале, и «Мыслитель» Родена,
веками сокрытый в глухом валуне,
с чуть слышным акцентом поет вдохновенно:
«Кавказ подо мною. Один в вышине...»

* * *

В столице Лапландии Раваниими
рыбак узкой финкой царапает имя
на вяленой рыбине. Тусклый фонарь
видать на просвет через тулово сельди,
как если на солнце глядеть сквозь янтарь,
как если на месяц смотреть через сети.

Рыбацкая финка царапает имя—
прочесть невозможно глазами сухими,
неясное имя хочу угадать.

Табачные искры. Кристаллики соли.
Пенковая трубка. Ножа рукоять...
И мертвая рыба рыдает от боли.

Рождаются буквы безмолвно и твердо,
как будто ледник нарезает фиорды;
язык прикусив и смахнув чешую,
усилием воли, проворностью стали
рыбак продолжает работу свою...
и радость нельзя отличить от печали.

* * *

Как слушали столетия назад
кувшин, свечу, сверчка, часы с кукушкой,
иль шум прибоя в розовых ракушках,—
я слушал снег. Я слушал снегопад.

Я слушал снег и домики на снос,
безмолвных птиц, живых и замороженных.
Я слушал ветку железнодорожную
и старый маневровый паровоз.

Я слушал снег, счастливый детский смех
и детский плач, и плач больного зверя;
и мотылек стучал в стекло сквозь снег.
Я слушал и ушам своим не верил.

Танцующая бабочка в окне,
чьи коконы раскручивались в смерче...
Я слушал снег в таком глубоком сне,
как до рожденья или после смерти.

В ПУТИ

Неудержимо течет пространство,
и чередуются на весу:
то дебаркадер ночного Брянска,
то полустанок пустой в лесу.

То от земли и до неба грохот,
и строй трассирующего моста
то рассыпается, как горох,
то разбивается, как хрусталь.

А между стекол оконной рамы—
заледенелый, высокий писк,
и поезд встречный, как пилорама,
вонзает в полку зубастый диск.

Вокруг меня штабелями шпалы
и без названия водоем,
и старшеклассники средней школы,
и дом обходчика с фонарем.

И тусклый свет от чужого дома,
и равнодушный уют чужой
мелькают бликами по вагону
и липнут рыбьею чешуей...

ВСТРЕЧА

Еще подъем — но вспыхнет под ногами
Пространство степи, смутный контур гор,
Забьется под рукой руки дыханье
И спазма сдавит горло...

Как стали близки старые края!
Они ведь часть тебя, хотя не видно

Их в толчее машины бытия,
И открывать их как родное стыдно.

И будет каждый шаг пронзительно щемящ,
И все простое станет самым сложным—
И заслонит весь мир обрыва ржавый хрящ
И вспыхнувшей реки наморщенная кожа.

* * *

Третья речка Кочеты

Петух — могучее растение.
На гребень — лучшая заря.
Чудовищные ног коренья
Вцепились в крышу ноября.

Блеснет цифирь под белым веком.
Оттянет листьев циферблат.
Запрыгает по кругу стрелка,
Меча столетия наугад.

И голос разорвет пространство.
В разрезе сгустка — явь и сон.
И грудь на грудь схлестнутся страсти,
Рассыпав души на песок.

Забьется мрак в тяжелом клюве.
Звезд шестерня не попадет
В зубище гребня. Жадно сплюнет
Глухие тени в дым бадьей.

Шагнет — за глыбу окоема.
Крылом — удар. Удар. Удар...
Шурша, залучится солома.
Забрезжит синяя вода.

СОЛОВЕЙ

Среди коснеющих ветвей
Вдруг голос вскрикнул из тумана.
В моей душе открылась рана —
То соловей.

Вся в суете она не огрубела,
Ее кристалл прозрачен и высок.
И выпрямилось согнутое тело,
И до прозренья разве волосок.

* * *

У меня в кармане осень,
Как в лесу, легко и пусто.
У меня в кармане просинь,
Листик с мордочкою грустной.

Я принес его из леса.
Был он мокрым и шершавым.
В нем тревожно и болезно
Что-то теплое дышало.

ПРЕОБРАЖЕНИЕ

Освети темноту, василек!
В чистом поле, где витязь да ветер...
Сон Руси золотист и глубок.
Древний сумрак мятежен и светел.
Освети темноту, василек!

Эта черная ночь не могла
Скрыть в разрывах скрестившихся молний
Лики ржи, что церковей купола,—
Их смятением и блеском наполнив.

Сколько было страстей и тревог
В мире битв, потрясений и крови,
Что не верит душа, видит бог,
В тихий сумрак, степной и коровий!

Освети темноту, василек,
В чистом поле, где ветер да пламя!
Простодушный вихрастый цветок
С голубыми, как совесть, глазами...
Василек!

Ярослав Васильев

* * *

Пропахший снегом и железом,
Я ничего не понял, кроме
Того,
что жизнь последним срезом
Сочится памятью о доме.

И нету времени на свете.
Есть небо, мать и возвращенье.
Ведь, как судьба тебя ни метит,
Ты верен ей со дня рожденья.

Но, приживаясь на пространстве
Чужих полей, дорог, заводов,

Я позабыл о постоянстве
В крови заложенного кода.

И потому бывают дики,
Невнятны наши побужденья:
То молимся на куст брусники,
То загрустим под чье-то пенье...

Ведь нет у времени течения.
Есть небо,
мать
и возвращенье.

* * *

Вот и открылись родные дали—
Поле, да лес, да медовые тучи.
Если грустите или устали,
Где еще в мире бывает лучше?

А на закате, в потоках света,
Женщины ходят, как будто святые,
В нимбе волос золотого цвета,
С детскою верой в слова простые.

В ДЕРЕВНЕ

Улыбнешься детскими губами:
«Дом не дом, а все-таки жилье».
Выросшие на холодной Каме,
Битые осенними ветрами,
Счастье мы не прятали свое.

А когда в ботиночках шагала,
Не одна бабенка пробурчала:
«Хороша... да больно молода».

Ты в ответ вставала спозаранку.
И уже не барышней-крестьянкой,
Им сестрой и дочерью была.

Ты училась радоваться воле,
По звезде искать дорогу в поле,—
Здесь едины быт и бытие.
И теперь на праздник Первомайский
Ты печешь кулич, и взгляд хозяйский
В доме не упустит ничего.

ПЛАКАТ

Веселые буквы горят на стене.
И дворник истаял в тифозном огне.
И дворик засыпан колючим снежком.
И едет вдоль длинной решетки нарком.

Рычит довоенный квадратный «роллс-ройс»,
В казарме кричат по-военному: «Стройсь!»
Он скажет сегодня короткую речь
О том, что республику надо сберечь.

Веселые буквы горят на стене —
Зубастый Деникин на белом коне,
И красноармеец, багряно-тугой,
Ему угрожает штыком и ногой.

«Художники — это орудие масс,
Для масс наступает решающий час», —
Подумал в квадратном «роллс-ройсе» нарком,
Стреляя в плакат золоченым зрачком.

Спускается сверху орудие масс —
Живущий под крышей студент ВХУТЕМАС —
Дымит самокруткой, под мышкой зажат
С зубастым Деникиным новый плакат.

Республика дышит, и пульс ее чист.
С плакатом торопится авангардист...
И жесткий оскал миллионов
Рисует художник Филонов.

Виктор Гаврилин

* * *

На прорухах замешена круто,
да с судьбою, где трубы поют,
вот и ты возжелала уюта,
о, Россия! — каков он, уют?..

Он приходит, пока еще мелок,
не настоян еще на веках,
но пьянящ после серых шинелок
на бедовых твоих мужиках.

Как ты слушаешь дальние грозы,
непокойную думу храня!
И твои всеблагие березы
неуютно прикрыла броня.

Разогнавшийся ветер державы
задувает из каждой щели,
он волнует российские травы
и пучины за краем земли.

На диктаторстве хлеба и стали
неохватные планы растут,
и такие мерещатся дали,
что никак не вместиться в уют!

МАЯКОВСКИЙ В НАСТУПЛЕНИИ

Из воспоминаний

Я познакомился с Маяковским в 1922 году. Мне было 18 лет. Ему—29. Я к тому времени ничего еще не написал. Он же—автор многих сборников и «летучего дождя брошюр». Одной из них я владею с тех пор, когда работал в Можайске секретарем уездного комитета комсомола. Это—«Облако в штанах», которое я читал не очень успешно на литературных вечерах. Слушателям, как и мне самому, в «Облаке» не все было тогда понятно. Но фраза «в терновом венце революций грядет шестнадцатый год» шла на аплодисменты. Комсомольцы проявляли интерес к оригинальности поэтического почерка ранних стихов Маяковского, однако в аудитории иногда возникал вопрос об их непонятности.

В 20-м году мне приходилось выступать в красноармейской аудитории на станции Можайск, где формировались и по несколько дней стояли воинские эшелоны, ожидая отправления на западный фронт. Я нередко читал стихи Маяковского. Слушатели не стеснялись спрашивать:

— Отчего непонятны эти стихи?

Меня поразила ответ политрука части:

— Может, мы еще не доросли, чтобы понимать их...

Как же я познакомился с Маяковским? Он нашел меня по телефону в отделе печати ЦК комсомола. Пробасил в трубку:

— Приглашаю вас, Жаров, на утренник в Большой зал Консерватории...

— Спасибо. А что там надо делать?

— Деньги будем делать в пользу голодающих Поволжья.

Я растерялся. Не сразу понял, что придется читать стихи.

— Будет ли меня слушать консерваторская публика?

— Вместе со мной будет.

Зал был полон. Администратор объявил, что перед уважаемой публикой выступает Владимир Маяковский вместе с комсомольскими поэтами. Маяковский вышел на сцену. Обвел недобрым взглядом первые ряды партера—расфранченную и раззолоченную нэпмановскую публику. Высокий, стройный, стоял он молча, чуть приподняв голову. Заложил руки в карманы широких белых брюк.

— «О дряни»,—сказал он. И на удивление всех стал ходить по сцене, произнося только одно слово:

— Слава! Слава! Слава!

В зале раздались недовольные голоса. Тогда Маяковский остановился и заявил:

— Я с удовольствием продолжал бы произносить слово «слава», ибо оно адресовано героям нашей Революции.

Слава, Слава, Слава героям!!!

Впрочем,
им

довольно воздали дани.

Теперь
поговорим
о дряни.

Поэт гневным, густым голосом заполнял зрительный зал, глядя на нэпманов, сидевших спереди. Потом поднял глаза вверх, на галерку, как бы приглашая студентов, рабфаковцев особо прочувствовать строки:

Опутали революцию обывательщины нити.

Страшнее Врангеля обывательский быт.

Скорее

головы канарейкам сверните—

чтоб коммунизм

канарейками не был побит!

— Маяковский в наступлении,—шепнул мне Саша Безыменский.

...Существует снимок, сделанный летом 1929 года в красноармейском лагере под Москвой. На нем Маяковский, Джек Алтаузен, Семен Кирсанов и я со своим пятилетним в то время сыном.

Дело было так: утром солнечного июля у меня звонил большой настенный телефон:

— Это номер 5-84-30?

— Правильно,—отвечаю я.

— Говорит Маяковский. Дайте свой адрес, я через час заеду за вами. Поедем за город, на Ходынское поле в летний лагерь красноармейской части. На автомобиле поедем.

— Благодарю вас, дорогой Владимир Владимирович, но такая досада: сегодня воскресенье, и вся моя семья раненько уехала на дачу к родственникам. Оставили меня одного с ребенком...

— Сколько лет ребенку?

— Пять.

— Берем его с собой. Собирайтесь!..

Поэты, приехавшие раньше нас, разбрелись по лагерю. Мы пошли по сосновой аллее к клубу. Зашли в одну, потом в другую палатку. Маяковский здоровался с отдыхающими красноармейцами, интересовался их бытом, поднимал одеяла, открывал аккуратные ящики тумбочек у кроватей. Кто-то удивился:

— Вот странно, поэт и вдруг прозой нашей жизни заинтересовался...

— Учтите, товарищи: проза нашей жизни выше поэзии. А проза вашего воинского быта дело особенно важное.

Расспрашивал бойцов Маяковский: какие им кинокартины нравятся, какие книги читают.

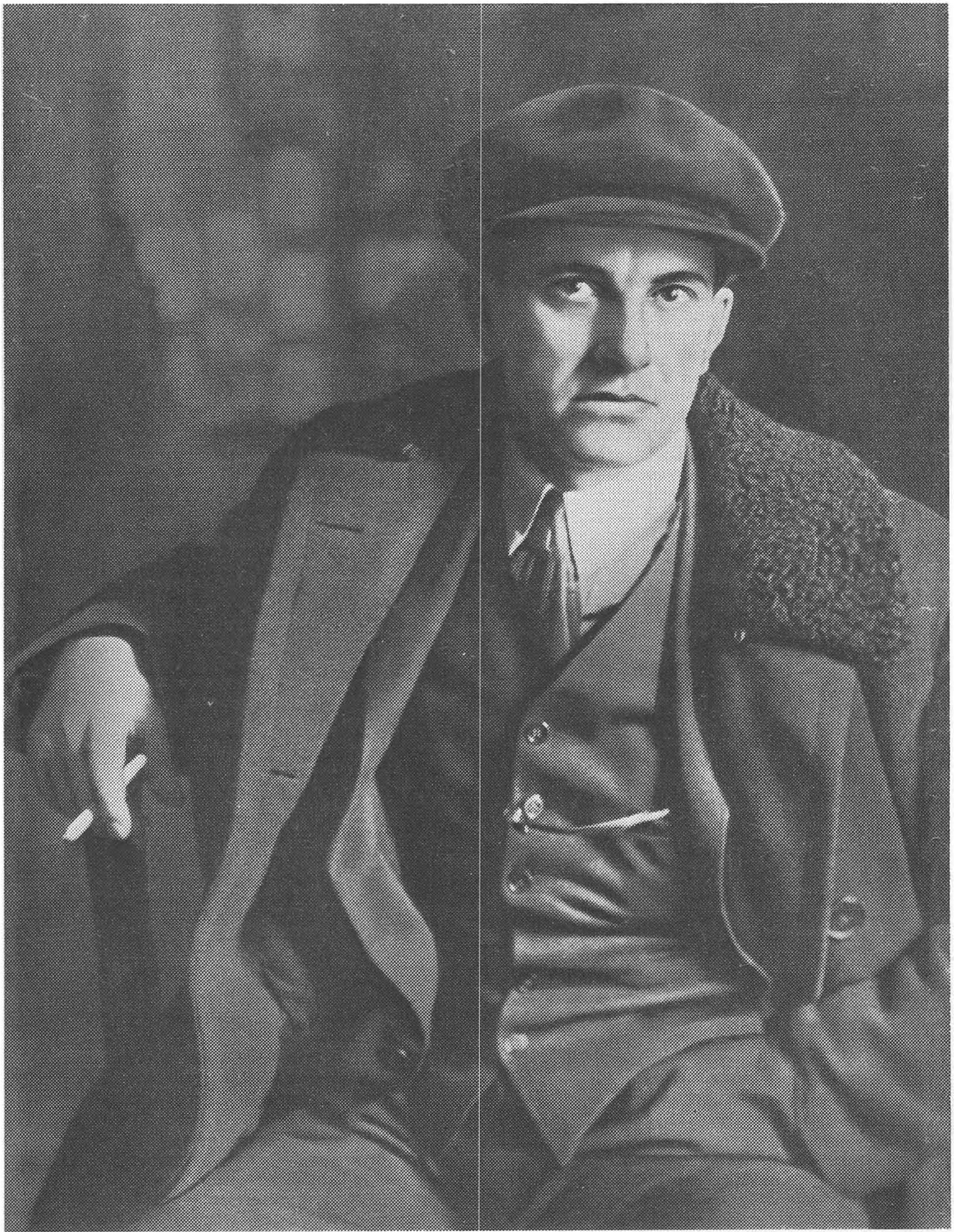
— Маяковского у нас во взводе только двое читают,—простоудушно выпалил молоденький красноармеец.

Маяковский положил ему руку на плечо:

— Если в каждом взводе у меня два активных читателя, то на сегодня мне надо быть довольным... Но я постараюсь в дальнейшем работать так, чтобы в каждом взводе меня читали все.

— Владимир Владимирович,—обратился к поэту политрук,—а про вас говорили, будто вы резкий, задиристый.

— Я с противником задиристый. А тут все свои...—ответил Маяковский.



Вход лагерного клуба был украшен алыми лентами и цветами. Наверху — плакат:

КРАСНАЯ АРМИЯ—КРАСНЫЙ ЁЖ—
ВЕРНАЯ НАША ЗАЩИТА

Чтение стихов Маяковский начал с поэмы «Владимир Ильич Ленин», посвященной Российской Коммунистической партии. Слова посвящения вызвали бурное одобрение. Аплодисментами прерывались строки, ставшие уже тогда хрестоматийными:

Ленин и теперь
живее всех живых,
Наше знание,
сила и оружие.

От героики поэт переходил к сатире, от лирики к плакатному стиху, откликавшемуся на большие и малые, но всегда значительные события внутренней и международной жизни.

Завершил он встречу чтением большого отрывка из поэмы «Хорошо!». Читал, радуясь, что его слушают с затаенным дыханием. Молодел, воскрешая героическое прошлое октябрьской «земли молодости». Ликовал сердцем, устремленным в будущее:

Надо мною
 небо,
Синий
 шелк!
Никогда
 не было
Так
 хорошо!

Грозовым голосом прервал Маяковский восторженный гул аудитории:

— Товарищи! Кому из вас было что-нибудь непонятно?

— Всем понятно! Всё понятно! Спа-си-бо!

Неистощим оптимизм поэзии Владимира Маяковского. Безотказно действует сегодня нержавеющее оружие его творчества против закоренелых врагов социализма. Трудно переоценить значение его сатиры в нынешней агитации и пропаганде, в борьбе с косностью и расхлябанностью, тунеядством, мещанством, взяточничеством, нарушением дисциплины, законности. Маяковский — в наступлении против похмы на пути победного движения вперед народа-созидателя.

Эти воспоминания о Маяковском мне хочется закончить строками, написанными в 1943 году на Северном флоте:

Раскаты голоса громового,
Врываясь в гул военной были,
Полней и несколько по-новому
Нам Маяковского открыли.
Воспетая им стройка города,
Над сельским клубом струйка дыма —
Все становилось дважды дорого
И больше прежнего любимо.
И сразу в голосе повышенном
И в слове грубовато-гневном
Мы нежность скрытую услышали,
Согретую огнем душевным.
Бессмертный стих, не зная устали,
Шагал по всем путям военным,
Он всюду был, бойцов напутствуя
Своим призывом вдохновенным...
Певец, гражданской страсти отданный,
Всегда с героями похода,
Как сын страны, как верноподданный
Непобедимого народа!

ЕВРОПЕ

Европа, думай в час опасный.
Так много ты перенесла,
Твои несчастья труд напрасный
Считать. И павшим нет числа.

Что шаг, в твоих полях могила
И кровь, и прах на мостовой.
На бойни уходила сила
И разум истощался твой.

Зачем? Во имя чьей корысти?
Кто подлинный, кто мнимый враг?

Воспрянь и новый день очисти
От злобы, жадности и врак.

Кончай бессмысленные траты
И разорви проклятый круг.
Твори — мощны твои таланты,
Строй — золотых хватает рук.

Пойми себя, пойми соседей,
Отринь свихнувшихся с ума.
Приблизился рубеж последний —
Жить? Погибать? Решай сама!

Владимир Фирсов

ПОМНИТЕ!

Слышу я, как статуя Свободы
Скорбно вопрошает в наши дни:
«Мирных предложений ждут народы,
Где, скажи, Америка, они?..»
Не спешит Америка с ответом,
Но зато торопится она
Ненависть к моей Стране Советов
Увязать с понятием «война».
Родина духовного напалма,
Что ты знаешь о войне, когда

Ни единой бомбы не упало
На тебя за все твои года?
Мы-то знаем, что такое войны,
Защищаться нам не привыкать.
За судьбу своей страны спокойны
И, случись, отпор сумеем дать!
И напомним сеятелям смерти
То, о чем забыть они смогли:
Сея ветер, пожинали смерчи
Недруги спокойствия земли.

Анатолий Софронов

* * *

Слышим в небе самолетный гул, —
Белые в снегах и льдах вершины, —
Принимай нас, утренний Кабул,
Ты позвал нас — мы лететь решили.
Нелегко ты в эти дни живешь,
Древняя и гордая столица;
От тебя врагов бросает в дрожь,
За тебя ветер крепче уцепиться.
Только ветер радости подул,
От печалей горестных свободный, —
Ты стоишь, как монумент, Кабул,
Доблести высокой всенародной.

Так удобно в темноте держать
Всех людей обманом повсеместно;
За спиной народа все решать,
А народ пусть будет бессловесным!
Только этот век уже минул —
Коршуны пусть над тобой не кружат!
Здравствуй, вечно молодой Кабул,
Ты теперь, как воин, при оружьи!
Солнца луч не просто так сверкнул —
Засияло солнце неустанно...
Пусть живет и здравствует Кабул —
Знамя и любовь Афганистана!

Кабул

* * *

Семь часов разницы
 между мной и тобой;
Нет никакой разницы
 между мной и тобой;
Только дистанции и дистанции
 да простор голубой,
Да чьи-то чужие праздники
 между мной и тобой.
Если смотреть в полете —
 всюду поля и поля;
Синие океаны,
 розовые моря.
Это и есть барьеры
 между мной и тобой;
И ожерелье Бомбея
 между мной и тобой.
Так и уходим в мир мы,
 в солнечный спектр рябой,—
Красные крыши Бирмы
 между мной и тобой.
Пальмовые лагуны,
 желтый, как воск, прибой,
Медленный зной Рангуна
 между мной и тобой.

Небо повисло хмуро,
 будто ведут на убой;
Вот и огни Сингапура
 между мной и тобой.
Сходят на землю мистеры,
 шляпы разных систем;
Японские транзисторы
 здесь продаются всем.
Куклы витринные дразнятся
 своей заводной судьбой...
Какая же может быть разница
 между мной и тобой?
Нет никакой разницы
 между мной и тобой,
Только чужие праздники
 между мной и тобой.
Только чужие горести —
 сочувствуем мы любой.
Да очень большие скорости
 между мной и тобой...

Австралия, Аделаида

Михаил Матусовский

ВETERАНЫ

Мы выстоять сумели в Сталинграде,
Не захлебнулись волнами в Крыму.
Но, словно снайпер, спрятанный в засаде,
Нас выбивает смерть по одному.
Пока еще в обойме есть патроны,
Покуда бьются старые сердца,
Займите круговую оборону,
Держитесь, ветераны, до конца.
Уже снаряды рядышком ложатся,
Осколки над тобой свистят уже.

И надо нам, дружище, удержаться
На этом на последнем рубеже.
Когда земля дрожала, как живая,
Когда от нашей крови таял лед,
Нас выручала дружба фронтовая.
Она и нынче нас не подведет.
В огне сражений вместе мы горели,
Мы не умели вполнакала тлеть.
И если это все мы одолели,
То старость сможем тоже одолеть.

Юрий Мельников

РУКОПОЖАТЬЕ

Сквозь жестокую сечу,
Среди света и тьмы,
Шли друг другу навстречу
По Германии мы.

Через горы и реки
Шли солдаты на смерть,
Чтоб покончить навеки
Людам с войнами впредь.

...Где понтоны качались
Над водою, легки,
Как друзья повстречались
Мы у Эльбы-реки.

Вспоминаю опять я
Тот волнующий час.
Рук солдатских пожатье
Было крепким у нас.

С ним, с похода усталый,
Я расстался потом.
Где он, воин бывалый
Из Америки — Том?!

Мой далекий знакомый...
Если жив он — я рад;
Верю я, что и дома
Помнит русских солдат.

На асфальте покатом,
У высокой стены
Мне он виден с плакатом:
«Не допустим войны!»

Сквозь туманы и вьюгу,
Фронтовик-ветеран,
Я тяну ему руку
Через весь океан.

Михаил Владимов

ВРАЖЕСКИЕ ЛИСТОВКИ

...Я лежу, обхватив винтовку,
Артобстрелом в планету вжат.
А с небес на меня — листовки:
Кувыркаются и кружат...
Подстрекают,
Внушают,
Просят.
«Руки — вверх!»
Или «В землю — штык!».
Эта —
В плен персональный пропуск,
Эта —
К власовцам напрямик!
Эта —
Нагло убрать диктует
Комиссара,
Политрука...
А на этой —
Карикатура:
Сам Верховный
Глядит с листка!

...Где теперь
Тех листовок авторы?
Не они ль, в НТС засев,
Для ротаций и для ротаторов
Выдают клеветы «Посев»?
Не они ли
В «Волне» да в «Голосе»
Злое дело свое вершат,
И не их ли спутники в космосе
По орбитам вранья кружат?

Электронный,
Фотонный,
Локаторский
Век летящий —
Давно иной...
А они
Всё на том же
Власовском,
Всё не впрок
Говорят со мной!

Михаил Львов

* * *

Зачем нам ложные слова,
Ненастоящие восторги,
Когда — седеет голова
И меркнут звезды с гимнастерки?
С прощальной честностью прильни
К тому, что истинно прекрасно,
И только истину прими,
Как на войне — ее приказы.

* * *

Все
на поверхности событий
Меня держала быстрина.
В часы раздумий и открытий
Меня пугала глубина.
В боях житейских и идейных
В душе таилась мысль одна,
Что я коснусь глубин смертельных
В своих понятиях предельных,
А там — не выплыву со дна.

ЗАПИСЬ УТРОМ ПОСЛЕ СНА

Друзья!
Вы стали сниться чаще,
Когда из жизни вы ушли.
Все в вас настолько настояще,
Что не ушли вы из
души.

Иль от предчувствий новых бедствий
Все чаще плачется во сне,
Вновь беззащитен, словно в детстве,
И нету помощи извне...

Где я?—понять пытаюсь утром,
На этом свете иль на том?
И в этом состоянии смутном
В явь возвращаюсь я потом.

Или готовят сновиденья
И мне грядущий переход
В другие —
мира —
измеренья
И в свет, что странно назван Тот?

ПАМЯТИ СЕРГЕЯ НАРОВЧАТОВА

Как всё серьезно
на Земле,
Что быть должно —
неотвратно,
На этой яростной
звезде,
На этой горестной
звезде...
(А что прошло —
необратимо.)

Опять хороним
побратима.
...Когда уходим мы
туда
Безвинно, в вечное
изгнание,
То с нами гаснет,
как Звезда
В миниатюре,
мирозданье.

ЛЕЧЕБНЫЙ СНИМОК

Врач
из бывшего прифронтового —
В прошлом
госпиталя номерного,
Ветеран,
ортопед Ревунова,
Показала,
архив раскрыв
И убрав
временной
разрыв,
Фотографию сталинградца,
Госпитальный
снимок
бойца —
Не затем,
чтобы полюбоваться,
Нет —
лечебный
снимок
лица,
Где
ни нос,
ни глаза не видны —
Всё разодрано,
до конца,
Всё
содрала
лапа войны

(Ничего
не оставив
там,
За другими
пошла
по пятам).
Это бешеным зверем
разорвано,
Всё
раскромсано
и разодрано,
Не лицо,
а огромный Крик —
В морду
зверя,
в рев его,
в рык.
Облик
этого человека
Будет долго помниться мне.
Зримый образ
жестокости века —
Не подходит
тут слово
«калека» —
Это страшный Крик
о войне.

* * *

Здесь есть и убитые трижды.
Сто осколков
 сидело в одном из таких.
По нему справляли
 поминки и тризны,
И опять возвращался
 он в строй
 живых —

Потому что был враг уже около Волги
И Отчизна пронзительно так дорога!
И — обратно летели —
 прицельно —
 осколки —
Из него —
 в живого еще —
 врага.

Марк Лисянский

СКРИПКА

Не стал он музыкантом,
Хотя поет душа,
Обидел бог талантом,
Не выдал ни шиша.
Судьбу не выбирают,
Скорей — наоборот...
А скрипочка играет,
А скрипочка поет.

Бывает сердцу больно —
Не сталь и не гранит.
Он загрустит невольно,
Лишь скрипка загрустит.
Судьба шадит, карает,
Берет в свой переплет...
А скрипочка играет,
А скрипочка поет.

Еще качаясь в зыбке,
Стал скрипку понимать.
Отец играл на скрипке.
Любила скрипку мать.
И сердце замирает,
Готовое в полет...
А скрипочка играет,
А скрипочка поет.

Он был в бою под Веной,
Он строил корабли,
Он говорил с вселенной
От имени Земли.
Он от любви сгорает,
Стареет от забот...
А скрипочка играет,
А скрипочка поет.

* * *

Я ходил по зеленой земле,
Целовал это синее небо,
С детства душу пронизывал мне
Терпкий запах насущного хлеба.

Все, что помнится, — годы сожгли,
Песнь моя стала песней чужою.
Кроме неба и кроме земли,
Ничего у меня за душою.

Шел в атаку,
Работал как вол,
Знал любовь, и разлуку, и дружбу.
Поколение мое не подвел,
Сослужил человечеству службу.

В лютном холоде, в знойном тепле
Без оглядки и напропалую
Я хожу вот по этой земле
И высокое небо целую.

МОСКОВСКОЕ ВРЕМЯ

Я много постранствовал в жизни
И всякие чуда видал.
Огромное поле Отчизны
Отцами завещано в дар.
В столице давно уже полночь,
На Дальнем Востоке — рассвет.
...Я видел заморскую овощь,
Которой на родине нет.
В причудливых листьях бананы,
Бегонии... — не на лотке.

Красивы нерусские страны,
Есть прелесть в чужом языке.
Но если б меня вы спросили,
Где в странствиях радости пик? —
Ответил бы: путь на Россию,
Вновь слышимый русский язык —
Волнуешься вместе со всеми,
Исполнен сыновней любви,
И вновь на московское время
Часы переводить свои...

Сергей Викулов

ЧТО ТЕБЕ КУПИТЬ?

—... А мы, с войны пришедшие солдаты,
мы хорошо запомнили две даты:
э-первых, это день девятый мая,
тот самый долгожданный день, когда
закончилась вторая мировая,
ну а для нас — кровавая страда.

Мы вылезли из танков, из окопов:
за нами, оглянулись, пол-Европы!
И белый плеск «знамен» с перил балконных...
Немало с той поры минуло лет,
но День Победы помним мы!
Как помним
и день отмены карточек на хлеб.

...В канун, должно, работали пекарни
всю ночь. И вот с утра прибег я с парнем,
сынком: ему тогда годочков восемь,
пожалуй, было...
Хлеба — завались!
А грузчики, глядим, еще подносят...
И вот мы до прилавка добрались.

— Ну, сколько вам? — спросила Кузьминишна.
— Две, — говорю ей, — две... не будет лишка. —
Не верю в счастье, брат ты мой, робею,
нежданную смахнул слезинку с век...
И чувствую себя я перед нею
как попрошайка, нищий человек.

Сую бумажку: — Две... не будет лишка. —
И слышу, что-то шепчет мне сынишка
и дергает тайком за край одежки:
— Ой, пап! Ну, пап, купи еще одну! —
Трепещет весь, как воробей у крошки:
наголодался с матерью в войну.

И я обрел себя. Картуз на ухо:
— Ну, что тебе еще купить, Колюха?
Вон пряники, конфетки... На потребу
тебе и Ваське с Нинкою как раз...
Давай решай! —
А он в ответ мне:
— Хлеба! —
с буханок не сводя голодных глаз.

— Ну вот какой ты глупый...
Хочешь сушки?
Вон — кругленькие... Или же игрушки
посмотрим... Ну-ка! Эх, такие мне бы
тогда, когда я бегал в первый класс!
Так что тебе купить, сыночек?
— Хлеба! —
сказал он, не сводя с буханок глаз.

Я растерялся: — Экой ты упрямый!
А хочешь карандаш, красивый самый?..
Не хочешь? Зря! Завидовали все бы...
Я, батька твой, такого не имел.
Так что ж тебе купить-то, парень?
— Хлеба! —
сказал он в третий раз.
И заревел.

С тех пор живет в душе моей забота,
когда наступит время обмолота.
Посматриваю часто я на небо,
на ржи, на ячменя вокруг деревень...
И вспоминаю:
«Хлеба!» «Хлеба!» «Хлеба!» —
сыночка просьбу в праздничный тот день.

ВОЗЛЕ ДОМА, НА СКАМЕЙКЕ

— Здравствуй, бабуля!
— Здорово, сердешный.
Чей ты? Узнать-то тебя не могу.
— Да не узнаешь... В гостях я, не здешний.
Вот в магазин за буханкой бегу.
Ушку сварганил: поудил немного...
— Есть ли хоть рыбка-то?
— Рыбки полно!
— Как ты меня-то заметил с дороги?
— Да не сегодня заметил—давно.
Все ты сидишь на скамейке у дома,
в поле глядишь, подперевшись рукой...
Не завелось ли чего-то худого,
думаю...
Мало ли... возраст такой...
Думаю, дай-ка ее я спытаю:
может, нужна...
— Да какая нужна!
Я тут не просто сижу—
я летаю,
милой ты мой, в молодые года,
жизнь вспоминаю...
Дивлюся порою:
господи, кем только я не была!
Девкой, невестой, женою, вдовою,
матерью...
Шила, варила, мела...
Бабым делам ни конца и ни края...
Но ни одно не валилось из рук!
Мало! И лошадю—тоже была я,
в борону, помню, впрягалась и в плуг.
Лямку на грудь—
и по семь да по восемь
в борозду: «Эй, пристяжные, ровней!»—
шутим, бывало, сквозь слезы
и просим
бога, чтоб нам возвратил лошадей,

и мужиков, и парней—
оттремела,
отполыхала война-то: пора...
Мельницей—тоже была я:
вертела
жернов в глухом закуточке двора.
Да и другие...
Под каждую крышей
меленки пели на сорок ладов...
Я и теперь еще вроде бы слышу
музыку эту военных годов.
Помню, достанешь лепешки-т из печки—
сыплются: мучка с травой пополам.
«Ешьте, робята!»—
Фуфайку на плечи
и на своих на двоих—по полям!
Утром я—жатка,
в обед—молотилка,
а через день—все работы подряд—
стогометатель я,
льнотеребилка
да и доильный к тому ж аппарат.
Вот я теперь и гляжу на поля-то,
и вспоминаю...

— А сколько вам лет?
— Сколько?..
Да вроде бы семьдесят пятой...
Все собираюсь зайти в сельсовет:
пусть по бумагам взглянут...

— А хотите,
я вам на ушку плотвы наловлю?

— Что ты! Не надо, мой андел-хранитель,
пенсия скоро: консервов куплю.

Виктор Кочетков

ВЧЕРАШНИЕ ЩИ

На картах его не найдешь—не ищи.
А хутор отменно хороший
со странным названием Вчерашние Щи,
притрушенный первой порошей.

С Касьяном Кривым разговоры веду:
новы ли те Щи-то, старые ли?
— Да кто ж его знает, в котором году
их наши деды заварили.

Ищу исторической жизни следы,
неужто все кануло в Лету?
И страсти и страхи, и дни и труды,
и малой заметины нету?

Доносится с улки мычанье телка
да крик белоперой гусыни.

Овечьей отарой бредут облака
по тихой безветренной сини.

И снова, кисет доставая с махрой,
Касьян усмехается криво:
— У нас говорят, что герой—за горой,
а самый счастливый—за гривой.

Так вот она, сельской безвестности тишь,
бесследье степной глухомани.
Прямые дымки над изломами крыш
да ветлы в морозном тумане.

Ни в клубе реликвий, ни в церкви мощей.
Касьян поясняет недлинно:
— Фашиста, от наших Вчерашних-то Щей,
несло опосля до Берлина.

СТАРУХА ИЗ СЕЛА ВЛАДИМИРСКОГО

Только засветится мгlistая хмара,
только петух прокричит в хutorке,
на круговую тропу Светлояра
бабка выходит со свечкой в руке.

Перекрестит предрассветную рамень,
фартук наденет — мешок из холста.
Робкую свечку пристроит на камень
и поползет от куста до куста.

Сломлены болью бровей полукружья,
черные губы тревожно-сухи.
Требует яростный бог заветлужья
не отмолить, а отползать грехи.

Ропщут березы столетние глухо.
Им ли чужую беду отвести?
Плача, твердит в исступленье старуха:
— Бог милосердный, прими и прости.

В чем, ты скажи, перед ним согрешила?
Чем и когда прогневила его?
Лишнюю кофту к Успенью пошила,
лишний пирог испекла в Рождество?

В чем же вина твоя, мать седая?
Разве не ты семерых родила,
недосыпая и недоедая,
в вечных трудах и заботах жила?

Разве не ты на войну провожала
всех семерых со своим стариком?

Разве не ты за вагоном бежала,
черным вослед им махала платком?

Разве не в доме твоём за божницей,
разом полученных в сорок втором
семь фронтовых похоронок хранится,
схожих по цвету с орлиным пером?

Сорок годов безотзывных минуло,
кануло стаяй вороньей во мглу.
Разве ты в чем-то его упрекнула,
разве ты счет предъявила ему?

Кто бы другой не потребовал мщенья,
кто бы другой это вынести смог?
Пусть у тебя, сердобольной, прощенья
просит он, твой несговорчивый бог.

Он, а не ты, пусть согнется в поклоне,
белые руки заломит в тоске,
пусть он ползет, обдирая ладони,
след проминая на мокром песке.

Что ты на мир отрешенно-убого
смотришь сквозь жгучие слезы вины?
Волей твоей, а не волею бога
жизнь и надежды всему здесь даны.

Вслушайся в тихие шорохи трав ты,
в песню, что девки ведут на селе.
Выше твоей исстрадавшейся правды
нет и не будет на этой земле.

СТАРЫЙ ГОРОД

Глыба пакгауза. Шпиль колокольни.
Каменный воин без правой руки.
Улочки, словно забытые штольни,
цвелью пропахли, темны и узки.

Как из погребницы стебли растений
тянутся к свету унылой листвой.
Старого города старые тени
переползают гранит мостовой.

И поясненья для редких прохожих —
мраморно-белые плиты в стене —
на эпитафии больше похожи
этой давно нежилой тишине.

Что ж с тобой, время, случилось такое,
болью какую тебя обожгло,

что вековое молчанье покоя
ты остальному всему предпочло?

Где твои милые внуки — мгновенья,
где твои бойкие дети — года?
В гроте, заросшем травой забвенья,
по-стариковски бормочет вода.

Что ж ты в своей цитадели законной
так неуступчиво-долго молчишь?
Только из клетки бубнит заоконной
черный, свистеть разучившийся, чиж.

С новой жизнью в томительной ссоре
ты от нее открестилось давно.
Даже под боком шумящему морю
с веком тебя помирить не дано.

АЛМАЗ «ШАХ»

Царь Николай вставал не рано.
Раскрыв тяжелые глаза,
он вспомнил: гость из Тегерана
приема ждет... Хозров Мирза.

И мысль, что требуют решенья
персидско-русские дела,
его в дурное настроенье
в одно мгновение привела.

Январский бледный свет несмело
коснулся царского чела.
«И надо ж было драмоделу
доверить звание посла!»

Ну где такому взять отваги,
где мудрости заполучить?
Ему бы только десть бумаги,
чтоб критики свои строчить.

Нет, нам завещано от дедов
хранить державы нашей честь.
И не таким, как Грибоедов,
в чины ответственные лезть.

Недаром говорят в народе:
овца не прыгает со скал.
И что мой честный Нессельроде
в очкастом моднике сыскал?

Спросил и сам себе ответил:
«Шутить — шути, да меру знай.
В Шекспиры лез, в Мольеры метил
московский этот краснобай!..»

Решив держаться с гостем тверже,
как долг высокий повелел,
себя российский самодержец
опять со вздохом пожалел.

...Прием вершился в лучшем стиле.
Был принц лукав и моложав.
С восточным шиком персы льстили,
скрепляя дружбу двух держав.

И восхитительным финалом
дипломатической игры
был миг, когда на шелке алом
Хозров Мирза поднес дары.

Феликс Чуев

* * *

В квартире хрусталь и картины,
Коровин, Маковский, Дега...
Шагнул я с порога в квартиру —
дрожит над паркетом нога.

Под люстрами молча грохочет
шедевров неконченный бал.
Хозяин на кровные, впрочем,
все это добро покупал.

Хозяин не просто известный,
а очень гордится собой,
и тем, что ему интересно,
и тем, что мужик он простой,

трудяга с талантом упрямым,
с избытком на старости сил.
Он сам реставрировал рамы
и тусклый багет золотил.

Живет, как в музее, на зависть
коллегам, себе самому.
И все-таки мне показалось,
не знаю и сам, почему,

почувствовал так — это лично,
во мне пусть не видит врага —
мешают ему для величья
Коровин, Маковский, Дега...

* * *

Что-то стало с природой твориться —
ничего никому не скажи,
смотрят с дерева хищные птицы,
и с гадюками дружат ужи.

И от них происходит потомство
ледяных, ядовитых кровей,
тишины и шипенья питомцы,
только разве слегка порябей.

И ползут откровенные змеи
с безобидной улыбкой: мы тут!
Различать их еще не умею,
но они меня сами найдут.

СОСНЫ

Загород. Рано. Вкруг солнца — галб.
Утро ворон подняло на крыло,
бросило в небо движением ловким.
Темные сосны зарею ожгло.
Дымно... И дышится им тяжело,
ближнего центра натруженным легким.

Здесь у пропахшей бензином межи
сосны мазутную копоть вдыхают,
а выдыхают надежду на жизнь.
Крепко работают — не отдыхают.

Сойка сквозь ветви пропрыгала: р-р-а-з!
Дятла сдает порыв вдохновенья.
Веткой сосны в этот утренний час
нам посылается благословенье.

Тихо явление обычного дня.
Но... из-под вывороченного трактором пня
заиндевелые звезды ресничин.
С грустным вниманьем глядит на меня
старый лесничий.

Будто из гневного зева земли,
жилистый весь, что древесные корни,
вышел. Внезапный, как возглас «замри!».
Гладят ладони шершавые комли.

Между ресниц у лесничего — мгла:
«Трактором... через лесок, по болоту...

Не пожалели такого ствола —
бронзу литью его, позолоту...

Наша сосна что невеста красна!
Ты поброди по России весною —
сердцем узрешь: лесов новина
боле всего прирастает сосною.

Дабы оркестр пичужий не смолк,
требуют пристального изученья
вечно державная деятельность смол,
сосен таинственное излученье.

В треске технических ультраидей
не добралось бы до сердца удушье...»
... Лес возрадивших восславим людей —
самоотверженность великодушья.

Звук тепловозов упрям и басист.
Март. Вечереет... Чернеют обочины.
Свежего снега веселый батист
нежен — им ветви сосны оторочены.

Воздухом сосен дышу словно вор.
Рядом со мною знакомый лесничий —
точен его непрощающий взор
из-под колючих, как хвоя, ресничин.

Стынет в безмолвии бор строевой.
Пахнут азотом — в буртах — химикалии.
Сосны... Сородичи гордых секвой,
древние родственницы араукарии...

ОЗАРЕНИЕ

О, когда б в час грозы вдохновенной,
окоем погружающей в тень,
вещей молнии зрак откровенный
смел заглядывать в завтрашний день...

Как гадали когда-то на звездах,
украшающих синий хрусталь,
я смотрел сквозь светлеющий воздух
что в магический древний кристалл.

Я увидел рассветное небо
над полетной планетой людей.
В перспективе созревшего хлеба
напряженный пунктир лебедей.

Мой товарищ, не робким участием —
с милой верою в мир голубой
я мечтаю бессмертьем и счастьем
поделиться, как с братом, с тобой.

Это будет — я знаю. Я верю,
что когда-нибудь время придет —

и в бессмертье вселенские двери
человечество все же пробьет.

В кладке вечности времени камень
мысль проломит. Раскатно свинцов,
гром ударит... Таймы веками,
дети встретят погибших отцов.

Испросив у природы доверья, —
не откажет в нем верная мать, —
мы, уставшие грызться по-зверьи,
станем птиц и зверей понимать.

Канет в прошлое быт наш нервозный.
Дети века, что нам во-вестил
путь в грядущее, — мы, словно звезды,
станем странствовать между светил.

И над нашей овечьей мыслью
голубой колыбелью людей
будет вечно рассветною высью
продолжаться полет лебедей...

* * *

Как женщина машет перчаткой,
дождю подставляя свой лик,—
мне осень кидает печально
последний каштановый лист.

Бульвара пуста базелика.
Я лист этот хрупкий ловлю.
Бескрыла, бесстрашна, безлика
планета без клика: —Люблю!

Как в храме—все краски нерезки.
С холодной поверхности сфер
осыпались старые фрески...
опали листвою на сквер.

Внезапных прохожих встречая
в сияньях, рожденных окном,
с моею их души сличаю,
горящую тайным огнем.

Не город на сердце—пустыня,
где места бессмертию нет.
Без сини в глазницах—святыня.
Без солнца закат и рассвет.

Ну что ж, незабывтая, смейся.
... Фронтоны в каплях ворон,

качнувшись, подвинулись с места—
мир рушится в заметь времен.

Фонтаны, колонны, с разбега,
с квадратами лунных заплат,
все падает в бездну проспекта—
строенья, обломки палат,

проекты неведомых зданий,
которым положено быть.
И то, чему нету названий.
И что невозможно забыть...

Дарившая радость!—невольно
мне мнилось во взоре твоём
то счастье, с которым не больно
остаться на свете вдвоем.

И вот—никого на планете.
Лишь светит звезда как клинок
да буйствует царственный ветер.
И ветер, как я, одинок.

Ни звука. Темно и печально
кивает каштановый лист.
Махнул мне из ночи прощально—
взметнулся... сломался... повис...

Егор Самченко

* * *

«Там заглушал меня ручей,
И я учился, слава богу!
И птица родины моей
Перелетала мне дорогу.

И у березы конь стоял,
Как будто спешила береза.
Я лошадь белую стегал,
Стелилась грива по откосам.

И кто-то в спину мне глядел,
И раздавался славы ропот.
А куст размашистый шумел:
— Свободу надо заработать!»

Так говорил мне мой товарищ. А другой
На подоконнике покачивал ногой.
А между нами, помню, луч летел,
И он блестел на стенке, как хотел.

ИВАН БЕРСЕНЬ

Что не то говоришь,
Исподлобья глядишь?

Мне Берсень отвечает оттуда:
— Ныне много нездешнего люда.
Стал лукавым язык.
Князь велик-то велик,
А не любит правдивую встречу,
Потому не умен.

Был Берсень одарен
И разумной и лишнею речью:

— 'Поднимаю ли взор
На Успенский собор,
Все на Софье стоит да на греке—
Вот и ясного нет в человеке...

Как холоп-то молол,
Да погиб как сокол.

Провели перед тихой толпою.

И вначале казнили язык,
И Берсень только выплюнул крик,
А потом уж поник головою
Там, над светлой Москвою-рекою.

Все мне снится печаль,
Мне себя словно жаль,
Словно сам я такой же виновник,
Да над светлой водой
Величавый покой,
Да с запекшейся кровью крыжовник.

ВЕШНИЕ СИЛЫ

Загулял трудовой молодецкий народ —
Почему-то он в гости ночами идет.
Оттого ль, что влеком запевалями,
Что живу близ кафе-забегаловки
Да на первом еще этаже?

Удалое есть в русской душе:
Как поют по ночам, как шумят!
В мою дверь кулаками сегодня стучат.
И пока надеваю шлепанцы,
На деревья гляжу,
Что у дома стоят,—

Им, конечно, слышать,
Вот и почки их лопаются.

Владимир Евпатов

АЙДАР

Меловая гора. На горе—тяжелеющий сад.
Возле сада подсолнухи плотной стеною стоят,
Золотые знамена трепещут, горят на заре —
Да не русские ль воины это стоят на Угре!..
Нет, не воины это. А просто веселый народ,
Что толпится на ярмарке, пряники с медом жует.
Нет, не ярмарка это. Увы, что прошло —
то прошло...
Только что же по сердцу лебяжьим крылом провело?
Коль бывое становится фосфором, мелом, углем,
Что ж тогда мы волнуемся,
что мы от прошлого ждем?..

Над горою заря. Поднимается солнечный круг:
Это вновь за Хмельницким проносят
державный бунчук.
На горе воздвигается туча—вторая гора:
Это Петр надвигается Первый. И свита Петра.
Конь дрожит под Петром. Оседает как глыба назад.
У Петра из глазниц два пылающих угля горят.
Весь—табак и полынь, грозен, сумрачен,
зол государь.
А на гору взошел—прояснился и кликнул:
«Ай, дар!»

НА КРАЮ. 1942

Грачи в мозгу моем, грачи.
Пожар, облепленный грачами.
А выше — гром
Иль грейдеров рычание.
И печь, настывшая в снегах,
И я на той печи.
Вот кто-то страшный надо мной.
Ты кто, туберкулез?
Колонна света в небеса.
Ах, мне б за ту колонну!
Но снова вечер шел
И снова бирку нес,
Чтоб сразу привязать к ноге,
Как только захолону.
Болезнь. Сквозь бред я слышу,
Чья-то тень отцу

Сказала:
— Ты смирись. Не выживет бедняжка...—
Отец сказал:
— Он выживет. Уйди!..—
И так непоправимо тяжело
Вдруг всхлипнул
И рукою стал бродить по моему лицу.
Давным-давно меня тот черный день не ест,
Не гложет душу ни во снах, ни наяву.
Все стерто. Списано за счет войны.
И только жест,
Тот, столь не свойственный отцу,
Тот жалкий, детский жест
Все чаще вспоминаю я
И плачу. И живу.

ВОЗВРАЩЕНИЕ В 1946-й ГОД

Дымок далекого костра,
Осока сизая остра.
А росы, господи, а росы!
Лечу, раскинув два крыла,—
Стоит береза край села,
И я, малец, у той березы.
— Ну, здравствуй!
— Здравствуй. А ты... кто?

— Я—это ты. Но повзрослевший...—
Косится мальчик оробевший
На мою шапку, на пальто.
И тихо говорит в ответ,
Сквозь слезы глядя на дорогу:
— Я ждал тебя...
Купи у нас корову.
Зимою сдохнет. Сена нет.

ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА

То ль на выгоне снов за вагонами,
То ли вовсе в нездешнем краю
В звездном платье своем новогоднем
Ты прошла через участь мою.
— Мальчик!— молвила.—
Хочешь ли хлеба?—
И сверхболь закричала в груди:
— Проходи! Не берем мы у неба
Подаяния.
Ну, проходи!..

Слово о Маяковском

Борис Олейник

Значение Владимира Маяковского определяется не только оригинальным мощным талантом, но, прежде всего, исторической миссией творца совершенно новой духовной общечеловеческой реальности, имя которой—советская поэзия.

Как гражданин многонациональной страны, ясно-видяще осознавший рождение новой исторической общности и первым в поэзии утвердивший ее («читайте, завидуйте: я—гражданин Советского Союза!»), в этом смысле Маяковский не имеет аналогов.

«Вечные» темы, творчество в расчете на вечность, девственно белые манжеты, удаление на почтительное расстояние от будничной толчеи, возвышение над хлопотами дня во имя абстрактного грядущего и не менее абстрактного общечеловеческого,—как ненавидел Маяковский все эти и прочие аксессуары кабинетной пиитики!

Да, Маяковский писал на злобу дня в самом точном понимании этого слова. Да, он—поэт резко тенденциозный, он не прятал стыдливо, не ретушировал своих классовых симпатий и антипатий.

Верный сын своего времени и народа, он был его щитом и мечом. Утверждая и пропагандируя в своих стихах наш, советский образ жизни, Маяковский не заигрывал с народом, никому не прощал малейшего отклонения от норм социалистического общежития.

Бесстрашный новатор, которого не останавливали общепризнанные нормы и литературные авторитеты,

он был и остался истинно русским национальным поэтом по духу, по тональности, по характеру. Гордо декларируя: «Я русский бы выучил только за то, что им разговаривал Ленин», он в то же время с нежностью и глубоким уважением относился ко всем языкам и наречиям и, в частности, к моей родной мове:

Разучите

эту мову

на знаменах—

лексиконах алых,—

Эта мова

величава и проста:

«Чуэш, сурмы загралы,

час розплаты настав...

Для меня Маяковский—не только великий поэт, но и сама поэтическая суть, которая гласит: поэзия всегда была и остается социально заангажированной. Каждый поэт, «хороший и разный», имеет свою интонацию, тембр, регистр—от полупшепота до мощного баса. Но сама поэзия никогда не была «тихой». Эта истина—ныне, когда проблемы войны и мира, жизни и смерти касаются каждого из нас,—как никогда современна. Ибо если и раньше «тихая поэзия» не выдерживала испытание временем, то теперь она просто не выдержит вибрации дня.

Эдуардас Межелайтис

Владимира Маяковского я читал еще в буржуазной Литве. В то время за чтение Маяковского сажали в тюрьму. Поэтому я старался запомнить его революционные стихи наизусть, чтобы во время обыска в моей комнате не нашли его книг. Его стихи звучали во мне как музыкальный рефрен к «Коммунистическому манифесту». Со словами «Манифеста» и поэтическим рефреном «На баррикады!»

В. Маяковского на устах мы, молодые революционеры, шагали по улицам во время демонстраций и манифестаций, проводили нелегальные собрания и сходки рабочей молодежи, штурмовали ворота тюрьмы, в которой томились наши друзья—политзаключенные. Для меня В. Маяковский остался на всю жизнь—он часть моей биографии.

Появление Владимира Маяковского на горизонте мировой поэзии было подобно пробуждающим и освежающим природу раскатам грозы.

Я помню, какое незабываемое впечатление произвели на меня его произведения в те годы, когда я начинал свой творческий путь в тяжелых условиях подполья в бывшей Западной Белоруссии, куда изредка, минуя цензурные рогатки и тюремные решетки, доходил до нас голос певца революции, ее трибуна, агитатора и в то же время глубокого и нежного лирика.

В лице Владимира Маяковского я встретил поэта, который подсказал мне не только «как делать стихи», но и о чем писать, поэта, который раскрыл передо мной новые горизонты. И мне не жаль было, что от могучего дыхания его поэзии поблекли

многие мои стихи. За это я ему был только благодарен, так как более уверенно почувствовал под своими ногами дорогу, ведущую к свету революции.

Мы часто говорим о влиянии того или иного поэта, когда встречаем схожие рифмы, ритмы, интонации, образы. Но влияние может проявиться и в поисках новых выразительных средств, идущих в разных, даже противоположных направлениях от своего первоисточника, что не всегда бывает легко проследить. Так и с Владимиром Маяковским. Он оказал огромное влияние на развитие всей современной мировой поэзии, благодаря ему сделавшей большой шаг вперед — в эпоху великих преобразований мира на новых основах — социализма и его этики.

Жорж Мунен

Жорж Мунен — известный французский ученый-филолог. Согласно французской филологической традиции, в научном творчестве Мунена сосуществуют интересы к науке о языке и к науке о художественном произведении; долгое время Мунен возглавлял кафедру общего языкознания в Университете Экс-ан-Прованс, где вел исследовательскую работу не только в области лингвистики, теории перевода, но и занимался анализом творчества отдельных поэтов. Ж. Мунен — коммунист, большой знаток русской и советской литературы. Одним из самых любимых своих поэтов Мунен называет Маяковского.

...Я упорно люблю Маяковского. И очень удивлен, что во время проходившей недавно дискуссии о гражданских обязанностях поэзии не было упомянуто его имя, имя поэта, каждая строка которого «кричит» современностью. Никакой перевод не может передать ни его патетику, ни его мастерство, и это понятно: во французской поэзии нет фигуры одного с ним роста. С Маяковским не сравним ни Арагон, ни Превьер и никто другой. У нас во Франции нет такого поэта, голос которого звучал бы как лозунг на первомайской демонстрации. Точнее всего характеризуют творчество поэта его собственные слова: «Во весь голос».

...Молодым поэтам Франции следовало бы заимствовать из школы Маяковского не поэтическую технику, им нужно было бы перенять его естественность, большое поэтическое здоровье. Быть естественным — значит выражать себя всего полностью, без каких-либо ограничений. Примером может служить великое поэтическое размышление Маяковского «Владимир Ильич Ленин», которое представляет вершину творчества поэта именно потому, что

поэт сумел говорить о великом человеке как человек, не сдерживая своих чувств даже тогда, когда речь идет об исторической личности...

...Самой подлинной, самой диалектической, самой ленинской трактовкой народности искусства являются слова Маяковского о бесполезности искусства для избранных. Пролетарское искусство должно быть понятно народным массам — вот основной тезис поэта. Заслуга Маяковского в вынесении поэзии на широкие собрания народных масс: народная поэзия XX века предназначена не для чтения под абажуром, ее голос слушают сообща, собравшись вместе...

...В Москве есть станция метро, которая названа именем Маяковского. Она — как стихи поэта Маяковского, целиком сделана из стали. Тот, кто строил эту станцию, правильно прочел Маяковского. Это ответ масс на поэзию для масс...

Вступительная заметка и перевод отрывков из книги Ж. Мунена «Товарищ поэт» Л. Ведениной

Фаиз Ахмад Фаиз — известный пакистанский поэт, критик, общественный деятель. Автор сборников «Печальные узоры», «Руки ветра», «Тюремные стихи», «Долина Синая». Активный участник афро-азиатского писательского содружества.

— Мое знакомство с творчеством Владимира Маяковского состоялось в начале тридцатых годов после окончания университета. Сперва это были отдельные стихи, эпизодически появлявшиеся в некоторых английских газетах, наподобие «Нью стейтсмен» или «Дейли уоркер», позднее у меня появился одноклассник стихов поэта в прекрасном переводе Герберта Маршалла. Мне и моим сверстникам очень понравились эмоциональные стихи, навеянные революцией и призывающие к действию.

Первые сборники поэта мы передавали из рук в руки, поскольку достать их в те годы было трудно. Постепенно у нас стали выходить переводы поэзии Владимира Маяковского на урду, пенджаби, других языках, в прессе появились статьи, посвященные творчеству поэта-новатора, поэта смелых экспериментов в искусстве.

Постепенно имя Маяковского становится все известнее интеллигенции Пакистана, а позднее и широкому кругу читателей.

А если говорить о его влиянии на поэтов Пакистана, то можно утверждать, что все прогрессивные поэты в той или иной степени оказались под воздействием силы его мастерства и таланта.

Лично я почти полвека являюсь его поклонником, и каждый новый перевод его стихов вызывает у меня огромный интерес. Кстати, за последнее время появился ряд удачных переводов стихов Маяковского на урду и другие региональные языки. В стихах поэта меня всегда подстерегает какое-то открытие, новизна, и в силу этого я постоянно возвращаюсь к его стихам.

Запись В. Стабникова

«НЕТ ПУЛИ, КОТОРАЯ МОГЛА БЫ УБИТЬ ПОЭТА»

(Интервью с палестинским поэтом Муином Бсису)

Мы встретились с крупнейшим современным арабским поэтом Палестины Муином Бсису в его номере московской гостиницы. Бсису 54 года, он автор сборников стихотворений «Распятая Иордания», «Палестина в сердце», «Деревья умирают стоя», «Я пришел, чтобы назвать твое имя», «Стихи на оконном стекле», возглавляет арабское издание журнала «Логос». В СССР опубликованы три книги его стихов.

До последних дней осады Бейрута израильскими войсками Муин Бсису напряженно работал в столице Ливана. Его перу принадлежит гимн героических защитников города «Они не войдут в Бейрут».

По просьбе редколлегии альманаха «День поэзии» я задал Муину Бсису несколько вопросов, связанных с восприятием творчества Владимира Маяковского в арабских странах и его личным отношением к поэту.

— Вы хорошо знаете литературную жизнь не только Палестины, но и всего арабского мира. Расскажите, пожалуйста, как Ваши соотечественники воспринимают поэзию Владимира Маяковского?

— В нашем отношении к Маяковскому важное место занимает тот факт, что поэт посвятил всю свою жизнь революции, он был поэтом революции. Именно поэтому его имя можно найти не только на поэтической карте СССР, но и на поэтической карте Палестины. Он очень хорошо известен у нас, палестинцы любят его поэзию, знают его жизненный путь. Мы с большим уважением относимся к великой войне, которую Маяковский объявил бюрократам и бюрократии, и продолжаем эту войну, так как бюрократия — это яд для поэтов.

В арабском мире вышло множество первоклассных переводов стихов и пьес Владимира Маяковского. Он широко известен у нас в стране не только как поэт, но и как драматург, художник, человек, сказавший свое слово в развитии кино.

— Расскажите, пожалуйста, о Вашем знакомстве с творчеством Маяковского.

— Я неплохо знаю поэзию Владимира Маяковского и написал ряд статей в арабских газетах и журналах, посвященных его творчеству. Кроме этого мне довелось перевести несколько его стихов на арабский, в частности «Стихи о советском паспорте». Я посвятил этому выдающемуся поэту несколько стихотворений, которые, кстати говоря, были переведены на русский язык и вошли в состав моих сборников, изданных в СССР.

Два года тому назад был организован мой авторский вечер в музее Маяковского в Москве. После вечера сотрудники музея преподнесли мне прекрасную фотографию поэта, которой я украсил свой кабинет, где размещалась редакция арабского издания «Лотос». После того как вынудили нас покинуть Бейрут, израильские солдаты ворвались в мой кабинет и изрешетили пулями портрет Маяковского. Об этом писала пресса арабских и западных стран, в частности, английский журнал «Манчестер гардиан».

Но нет пули, которая могла бы убить настоящего поэта. Подлинный поэт навсегда останется другом поколений, а именно таким поэтом я считаю Маяковского.

— Расскажите, пожалуйста, повлияла ли на Ваше творчество личность и поэзия Маяковского?

— Безусловно. Маяковский очень сильно повлиял на меня и как человек и как поэт. Для меня поэт — не только творец, но и защитник своих идей,

до определенной степени философ. Если в поэтическом произведении не заключено мудрости, оно никогда не переживет своего создателя. Владимир Маяковский знал эту мудрость жизни и умел ее выразить в пульсирующих строках своих стихов.

Жизнь поэта — это отражение его поэзии. Но поэт — не актер, он должен жить своей поэзией, должен быть прекрасным примером для своего народа, чтобы люди верили ему.

Из своего опыта изучения русской поэзии могу заключить, что ваши люди верят своим поэтам. Именно поэтому поэзия так популярна в СССР, а поэтические сборники издаются сотысячными тиражами и моментально раскупаются. Почему это происходит? На мой взгляд, оттого, что ваши поэты откровенны со своим народом, и люди им верят.

Беседу вел В. Стабников

Антонио Кардозо

Антонио Кардозо — крупный поэт, генеральный секретарь Союза писателей Анголы. Автор около десяти поэтических сборников, критик и публицист, он прошел тяжелейший путь борьбы против тирании. Впервые Кардозо был арестован политической полицией в двадцать шесть лет. А в 1961 году фашистское правительство упрятало его на три года в тюрьмы Луанды, затем последовали еще десять лет ссылки в концлагере на Зеленом Мысе.

Я познакомился с поэзией Маяковского сравнительно поздно, так как практически первые тексты его поэзии на португальском языке оказались мне доступны лишь после освобождения из тюрьмы. В фашистской Португалии, а тем более в колониях, найти произведения революционных поэтов из стран социализма было очень и очень нелегко. С большим трудом мне удалось лишь урывками почитать кое-что о Маяковском, Брехте, Элюаре — поэтах-революционерах, отстаивавших достоинство человека. Впоследствии, после завоевания Анголой независимости, в Луанде появились первые португальские сборники Владимира Маяковского с биографией поэта и фотоматериалами, и мне удалось поближе познакомиться с ним.

И вот что любопытно. В тюрьме я написал довольно много стихов, позднее они были опубликованы, в которых критики усмотрели влияние Маяковского и Брехта, хотя, к моему огромному сожалению, ранее я едва был знаком с их творчеством. Тем не менее для меня такое сравнение было и остается чрезвычайно лестным.

В течение длительного времени, еще до того, как страна получила независимость в 1975 году, я изда-

вал в Луанде небольшую литературную газету. В ней имелся раздел «Антология», в котором мы печатали стихи лучших поэтов мира, в том числе и Маяковского.

Что же касается главного, то есть восприятия поэзии Владимира Маяковского народом Анголы, то могу сказать, что лучшим свидетельством действительности этой поэзии являются четверостишия поэта, появляющиеся на лозунгах и транспарантах огромных первомайских демонстраций в Луанде и других городах. Не раз звучали стихи Маяковского и на митингах Союза трудящихся Анголы, и в импровизированных спектаклях народного театра с танцами и музыкой, и на праздниках.

Да, стихи Маяковского звучат в Анголе, и особую силу и искренность им придает революционное строительство новой жизни у меня на родине.

К сожалению, в прошлом поэзия Маяковского большей частью переводилась на португальский язык с французского. И хотя в настоящий момент наши издательские возможности, увы, весьма ограничены, мы будем стремиться переводить поэзию Маяковского непосредственно с оригинала.

Запись В. Стабникова

* * *

Я прошу не славы — мощи,
С добрым нравом пополам.
Оттого что вряд ли проще,
Легче вряд ли будет нам.

Я прошу, хотя б немного,
Высоты из первых рук.

С ней, как нищему, дорога
И обратная — не крюк.

Осень. Сумерки. Ненастье.
Дом с трубой. Дымок парит.
Дух любви, сжигая страсти,
Греет. Светится. Творит.

* * *

Мы кол с дощечкой в землю забивали
И дальше шли на риск и напролом;
Мы жили оттого, что забывали
Оставленных навечно под колом,
И в новые вступали города.
И снова — залп,
И два стакана водки,
И где-нибудь на склоне — незабудки:
Они не забывают никогда.

И водка разливалась, как вода.
И мальчики сухие не пьянели.
И только очи серые — синели:
Им было — до любви, не до стыда.

Мы жили оттого, что иногда...

* * *

Я думал охватить
Весь мир наивным взглядом,
И не увидел то,
Что пропадало рядом.

Пропало без следа —
Не названо словами.

Вы говорите:
— Да... —
И я согласен с вами.

Вы говорите «да»,
К моей приблизясь чаше,
Покуда — без следа! —
Проходит то, что ваше.

* * *

Когда приелся черный хлеб —
Не помышляй о белом.
Когда приелся черный хлеб —
Займись тяжелым делом.
«Железо куй иль песни пой», —
Когда сыта утроба.

А если белый — о-ё-ёй! —
Гореть тебе до гроба.

Гореть — горячему! — не грех.
И даже до могилы.
Да белый хлеб, как белый снег,
Твои остудит жилы.

* * *

Когда я вернулся с войны,
Меня не узнали,
Говорили, что знали такого-то,
Но что этот не тот...

Убивали меня, воскрешали,
До зубов пеленали,
Через край зашивали суровыми нитками рот,—

И вернулся, конечно, не тот.
Но—вернулся!—
Чтоб, к земле приклонившись,

Вернуть хоть какого-того!—
Сколько раз, не сломав головы,
Через голову перевернулся
Искушенный преемник —
Наследник пути моего.

И покуда живой — тот вернувшийся,—
Глеет надежда;
Что проснется однажды,
Разжав кулачки, во мне
Долгожданный, дурной,
По сегодняшним меркам— невежда,
Позабывший о славе, о грязи,
О прошлой войне...

* * *

Когда давно за середину,
И век проходит без следа,
Но все подталкивает в спину
И горячится: «Не туда!»
И разворачивает плечи:
«Оставь привычные места
И все уловки человецьи,
Где так пугает пустота»,—

Иди, чужак! Шагни с порога
В туман, теряя берега,
И если явится дорога,
То все почувствует нога.
А если нет — провал и пропасть!—
Считай, что тоже повезло:
Так планер падает на плоскость
И легкий ангел — на крыло.

Михаил Грозовский

* * *

Вернешься на родину... Мало ли разных сторон,
Откуда по воле судьбы нам дано возвратиться!
Приедешь, увидишь знакомый и шумный перрон,
Услышишь, как сердце у самого горла стучится.

И узы родства, уходящие в недра земли,
Окажутся крепче страданий твоих в одиночку.
И всё, кроме родины, тихо исчезнет вдали.
Замкнется и съеджится в дальнюю слабую точку.

ОСЕННИЙ ЛЕС 8 ОКТЯБРЯ

Тыходишь осторожными шагами
В осенний лес. Он молчалив и пуст.
Шуршат сухие листья под ногами,
Ломаются. Их напряженный хруст
Любой твой шаг в лесу сопровождает.
Твои следы утоплены в листве.

Редееет клен. Осина облетает.

В безропотном древесном существе
Такая гипнотическая сила,
Что стоит только пристально взглянуть,

И строй души, где все так тускло было,
Совсем иную обретает суть.

За шорохами лиственного пира,
Среди лесной осенней пестроты
Глубинную, немую тайну мира
Вдруг судорожно улавливаешь ты.

И сразу же, природе на потеху,
Спешишь назад, шагая широко
Туда, туда... Поближе к человеку...
Где даже если глупо, то легко.

* * *

На городских часах свернулась полночь.
Упал на крыши черный небосвод.
Ни сном, ни водкой не заполнить
Того, что так недостает.

Скоропостижно электричка
Умчалась. И посыпал снег.
Достал «Казбек» и чиркнул спичкой
Какой-то хмурый человек.

Вот он стоит. Чужой беды
Случайным словом не нарушит.

И жадно втягивает дым
В свою прокуренную душу.

Иная жизнь. Иной итог.
И память, и печаль иная.
Но я люблю его за то,
Что я его совсем не знаю.

За молчаливые следы,
За равнодушный запах дыма,
За то, что наши две судьбы
В слепой ночи неразделимы.

СОН

Мне снилась белая гора.
Ее покатым снежный склон.
И я по склону вверх тяну
Большие сани.

Странный сон.
В санях сидит спокойно та,
Которой я давно забыт.
Сидит и смотрит на меня.
И слушает, как снег скрипит.

Еще мне снился человек.
Он на верху горы стоял.
Стоял и сквозь меня смотрел.
Я никогда его не знал
И не встречал.
Но вдруг рывком
Я сани повернул назад.
И сани устремились вниз...
Мне снилось. Я не виноват.

* * *

Сегодня над атомным веком,
Почувяв неведомый прах,
Вороны кашеевым смехом
Хохочут в осенних дворах.

Вблизи громыхает эпоха,
А прошлое спит в стороне.
Внезапно от мысли жестокой
Становится весело мне.

Ей-богу, прослыть гуманистом
Сегодня не лучший удел.
Эй, годы! Летите со свистом!
Я вас никогда не жалел.

Летите, как желтые листья,
Гордясь безымянной судьбой.
Мои суматошные мысли,
Смеясь, уносите с собой.

Гурьбою и поодиночке,
Свой путь на бессмертье держа,
Что будет, то будет — и точка!
Летите! Не надо отсрочки!
Пусть вырвется из оболочки
На волю живая душа!

ГОД ЗМЕИ

Куда-то под крыло ушли холмы Валдая.
Над Камою закат звезду нарисовал.
Прости меня, Урал, я думал, пролетая,
что в кузницах твоих я счастья не сковал!

Еще я был вверху. И сердце замирало
от близости утрат и близости светил.
Прости меня, Байкал, я говорил Байкалу,
что я твоей водой лица не молодил!

Еще не получив небесной телеграммы,
писал мой друг Чанту о мире и войне.
Еще старинный текст для нас не пели ламы,
молитвенно застыв в священной тишине.

Еще баран бродил. Еще буран был тучей,
пасущейся в горах. Еще к исходу дня
скупой буддийский бог — семигромовый случай —
в моторе «Жигулей» не похищал огня.

О, лунный Новый год! Ты утонул в буране,
чтобы, идя на дым сквозь снежные валы,

мы встретили тебя, терзая жир бараний
и жидкого огня хлебнув из пиалы.

...И скажет нараспев монгольский мой приятель,
что камень виноват, коль в нем уснет гора,
что мир и человек — в одном роду понятий,
и в ветре — скакуна оплакивать пора.

Мы выйдем на простор, где всё ветрам открыто,
где движутся снега, подобные стадам.
И старший из гостей, не знающий санскрита,
«Ом мани падме хум» промолвит по складам.

И я увижу, как, уже необитаем,
в хранилище планет подброшенный из рук,
над сердцем, над Москвой, над юртой, над Китаем
суровый Год Змеи заканчивает круг...

Но это все потом. Покуда клочковатый
воздушный океан барахтался в окне,
меня толкнул сосед: «Смотрите, Улан-Батор!»
«Как близко от Москвы...» —
подумалось вдруг мне.

* * *

О. Е.

Как на темную Русь печенег,
набежали снега, намели.
Онемела вода. И застрехи
ледяною пилой поросли.

Что ты, милая, в памяти слышишь?
Что смеяться тебе не велит?
Может, маленькой доченьке пишешь,
или — память к погоде болит?

Что поделаешь! Нами творима,
изменилась природа сама.
Есть у памяти разные зимы.
Начинается наша зима.

Посмотри за пустые перроны,
в леденящий простор белизны.
Геральдически дремлют вороны
в государственной кроне сосны.

И обходит безлюдные дачи
и беленные снегом дворы
этот дедовский, гулкий, бродячий,
крепкий воздух с настоем коры.

Словно стрелы, наострены тропы.
А вдали за излучкой речной
от оправленной в камень Европы
поднимается выдох печной.

И на нас за окладом морозным
неизбывные лица глядят.
И столетья, прожитые розно,
на любовь, как на лампу, летят.

И так сладко имен совпадение,
сороднение руки и крыла.
И снега продолжают паденье.
И проносится дальше стрела...

ВОЛКИ РЕВНОСТИ

Засыпал, просыпался — и помнил
все недели, какой золотой
был в тот день березняк на кордоне.
И что сам он еще молодой.

Ничего, что ее, золотую,
молодую жену, ничего,
он оставил — пускай потоскует,
пусть сильнее полюбит его!

Он вернулся, когда свечерело.
Первым снегом светлело крыльцо.
А на нем ни следа! Побелело
пуще снега от страха лицо.

Дверь наотмашь. К столешнице чистой
он шагнул, будто загодя знал.
В три спокойные слова записку
долго, целую вечность читал.

Никогда, никогда не любила! —
Ни куниц, ни тяжелых серег!
Даже нежную, жадную силу.
И что пуще зеницы берег.

Не берег, а стерег бы, как коршун, —
может, было б и ладно теперь?
Нет! Любви и сильнее, и больше
нелюбви исстрадавшийся зверь.

Вспомнил он прошлого гостя,
смелый взгляд, что поймал на лету:
«Как в раю вы живете!» И после
в ней тоску, маету, немоту.

Никакие кордоны лесные —
не преграды для бед и страстей.
Отмыкай же засовы стальные,
ожидай светлоглазых гостей!

... Он не помнил, как вышел. И в темень,
стиснув горло, по-волчьи завыл.

* * *

Если в голубя влить соколиную кровь
и водой грозовой напоить,
а потом, засвистав, в небеса отпустить,
это будет — любовь!

Никогда не вернется, маши не маши,
страсть, познавшая волю и высь.
Погляди, как зарей эти крылья зажглись, —
как большие круги хороши!

И, завидев скользящие тени,
понял: волки! И взглядом спросил:

«Что же делать, скажите хоть вы мне, —
горе мыкать и крови желать?
Все забыть и проклясть, даже имя,
жизнь, как мясо горячее, рвать?»

Волчьи очи так близко блуждали.
Стал снежок от луны голубей.
И вожак, отливающий сталью,
взглядом взглядом ответил: «Убей».

И с презрительной беглой оглядкой
повернулся — и тотчас за ним
стая скрылась во мраке распада,
словно лунный изменчивый дым.

«Вот! — шептал он. — Я понял, я знаю,
волчье слово я знаю теперь!»
Он прислушался... замер
и, оскалившись, глянул на дверь.

Там петляет — у грани сознания
волчья несуть. «Вернулся опять
из чащобы позора? Но сам я,
сам я знаю, кому умирать!

Коль теперь двуетидины с тобою
мы, как эти — ты чуешь? — стволы,
то и с жизнью сквитаемся — двое,
ты! мне слово подавший из мглы!»

Дыбом шерсть. Только руки без дрожи
посылали в патронник патрон.
Ленты света сияли на ложе —
с волчьей зоркостью высмотрел он.

Лунный свет обставал и искрился.
Дух от холода оцепенел.
Вопль рванулся из горла. А выстрел
он услышать уже не успел.

Дни и годы пройдут, дни и годы, и жизнь.
Все забудется, стихнет, замрет.
Не окончится только незримый полет,
чьи круги в небесах разошлись.

Но однажды ты все-таки будешь накрыт
быстрой тенью — из мглы голубой,
возвратится крылатая старая боль
так, что душу твою просквозит.

УСТЮРТ

Как стол без яств, за окнами Устюрт.
И день и ночь без шелеста и ветра.
И кажется, здесь мертвые живут,
И тянутся, как годы, километры.
В любой конец ни зги не видит глаз.
Лишь изредка далекие верблюды,
Как странные бесформенные груды
Ожившие, бредут сквозь сон на нас.

И где-то высоко над головой
Блестит солнце выпукло и грозно,
И гусеница поезда дугой
В плывущем пекле выгнулась нервно.
А там, за горизонтом,— Самарканд,
Где, может быть, мне не сыскать спасенья...
И сумрак — лиловеющий гигант —
Объял пески, покой повсюду сея.

* * *

Не размягчит дорожная печаль
Моей души, почти окостеневшей.
Мои друзья — огонь, камень и сталь;
И разум правит кровью отрезвевшей.
Но в глубине зрачков так много мглы.
За ней цветут желаний детских сливы.
И серые пичуги там пугливы.
Вечерние цветы теплы.

* * *

И все-таки я рос среди лесов...
Там детство, словно дым осенний, тает.
По воле трав и птичьих голосов
Там до сих пор душа моя витает.
Не зря мы возвращаемся туда,
Откуда — мы!.. когда проходят годы
И убывает вешняя вода
И льют с небес уже иные воды.

Николай Котенко

* * *

Все вскачь: по городам и весям,
А если вправду — мимо них,
И не грязнущу — небо месим
Отнюдь не на своих двоих.
В окне мелькают — хаты, мамы,
Друзья летят как на пожар.
И вытесняют телеграммы
Эпистолярный ветхий жанр.
И вместо разговора — топот,
Непостижимый, как судьба.
Несясь галопом по европам,
Не слышим и самих себя.
Для скорби будет ли причина,
Когда, как в дьявольском кино,
Промчимся мы и мимо жизни,
И мимо смерти заодно?..

* * *

И спать невмочь, и жить немоготу.
Пирует ночь, как полчища Мамаю.
И женщину уже как маету
Приемлешь. И ни слякоти, ни мая
Не различаешь. Что ж теперь грустить?
Теперь вздыхай: ах, черт, но где же утро?..

Теперь продли—ни мешкотно, ни мудро—
Всю днину, лишь бы вечер оскорбить
Признанием, что день не все прожит...
И жить невмочь, и спать немоготу,
Когда подвесть итожную черту
Пришла пора, а—нечего итожить.

* * *

К утру мы добирались до подушки,
Без задних ног валились на заре.
Уже блажили птицы во дворе,
Но нам не помешали бы и пушки.

Но проступали плечи на макушке...
Хоть облысеть—не значит постареть.
А раньше было—легче умереть,
Чем прикорнуть на малую полушку!

Но кто бы в пору ту сказать посмел,
Что уготован нам и сей удел:
О господи, опять пора вставать!

Опять до ночи мыкаться в чаду
И, каждый шаг считая, повторять:
— Остановите Землю—я сойду!

Геннадий Фролов

СТРОИТЕЛЬ КОРАБЛЯ

Пока ты рубил кормило,
Пока собирал шпангоут,
На месте, где море было,
Бескрайний поднялся город.

Покуда, не глядя в небо,
Крепил ты обшивку трюма,

И город исчез—как не был!—
Песком занесен угрюмо.

Когда же, поставив рей,
Вокруг ты взглянул устало,—
И ветер соленый реял,
И море у ног блистало!

* * *

Ты слышишь ли отзвук погони
Дождей, дребезжащих о крыши?
Взгляни мне в лицо и запомни—
Ты больше его не увидишь.

Запомни усталые руки,
И губы запомни, и плечи.

Свиданье—начало разлуки.
Не «здравствуй» скажу я при встрече.

«Прощай»,—я скажу тебе тихо,
Ведь все непрозрачнее воды
За мигот летящего мига,
За годом идущего года.

* * *

Вечна только бешеная сила
Той волны, что носит нас и крутит!
Разве мы забудем то, что было?
Разве сбережем мы то, что будет?

И напрасно плачешь ты, не веря,
От тоски и ярости немея.
Как бы горьки ни были потери,
Обретенья вынести труднее.

Ты зачем рукой бессильно машешь?
Ведь давно с тобою понимаем:
То, что мы нашли,— еще не наше,
Наше только то, что потеряем!

Владимир Наговицын

* * *

Не камни речь вели, не ключ-вода
держала путь незыблемый, певучий,
и не ветвей дрожали поводья,
не воровато подбирались тучи,
не падала последняя звезда,
не шелестела первая страница —
по рекам жизнь рубила города
и продолжала на века дробиться.

* * *

Закон неотвратимых изменений:
он нашим пониманием храним.
Ты положила руки на колени,
баюкая взрослеющие дни.
Ты научилась доброте знобящей,
искусству материнства и примет.
И свет души, в немых зрачках стоящий,
течет, и нет ему исхода, нет.

* * *

В неотрывном календаре природы
земля людей висит на волоске.
Пора. Не следуйте мышинной моде —
не будьте в тягость при своей тоске
о времени, любимой, трех дорогах,
глотке воды в испеленный час:
она в пути уже насквозь продрогла
и лишь на нервах держится подчас.

* * *

Зимний день зрачками сцежен,
птичьей грамоте обучен,
был он до свету заснежен
от истока до излучин,
до впадения в наши души,—
но все тише, дальше, глуше,
глубже свежего сугроба
на обочине земель.
Запахнув полы озноба,
трогай в черную метель.

* * *

Родина. Светлые речки в тумане,
лес — заблудившийся во поле странник,
вечно толкующий всем о своем;
даль, полоненная рожью и льном;
дым заводской, журавлино летящий,—
дым, затерявшийся в стайке детей,—
воздух, от жестов и слов шелестящий;
пить бы взахлеб его тысячи дней.

* * *

Вдыхаю воздух дождевой
и слушаю капель,
и удивляюсь, что живой:
в ногах чернеет ель,
свечение трех кривых берез
подальше, к полю льна,
и соль дождем промытых звезд
бодряще холодна.

Жизнь, захлестнув меня новой волной,
вынеси тихо на берег родной.

Памятью зрения, горла и пальцев
помню черты мной оставленных мест.
И, отлетев, я не стану скитальцем:
где бы и чем бы я ни был —ты есть.

Не спится. В темень ухожу.
Так шорохи бодрят,
что чувствую, а не сужу,
что чувству страха рад.
И проще видится и даль
земли моей, и глубь.
И если миг прощанья жаль —
возьми и приголубь.

Валерий Капралов

* * *

Участник истории этой
и сердцем и русской душой,
я выплавлен в знойное лето,
я выкован стужей большой.
И не было силы дотоле,
да вряд ли она бы смогла—
лишить человеческой доли,
когда, тяжела и светла,
восходит звезда надо мною.
И вещие сны расцвели.
И вместе с моею строною
смыкается воля Земли.

* * *

Оглянись-ка: кругом ни души!
Но сквозь тело стрела просвистела.
Место огненного прострела
врачевать без нужды не спешу.
Посмотри: световая верста
испаряется в небе незримо—
это молния неумолимо
выжигает худые места.

ОСЕННИЕ ЦВЕТЫ

Цветы—беглый отблеск природы
бросают на доли и воды,
на камни, на лица и прах.
А в сумерках, грустных и длинных,
на грядках стоят георгины
и вспыхивают впотьмах.
Хрустальные астры белеют,
пусть землю они не согреют,
но, тихо приблизив цветок,
услышав немое дыханье,
поймешь—это звездная тайна
в тебе совершает виток.

ДВА ПЕЙЗАЖА

1

Когда за поворотом дальним
дымы возникнут, как мираж,
стеной встает индустриальный
и оглушительный пейзаж.

Он огнедышащий и черный,—
преувеличен во сто крат,—
когда по Авиамоторной
грузовики везут асфальт.

И совершенно непонятно
цветенье яблонь на ветру
там, где троллейбус сорок пятый
ночной заканчивает круг.

2

Сквозь желтый свет грузовиков
вставали остовы строений.
Гремели грозы высоко,
как отзвуки землетрясений.

Столбы космической длины
и арматур стальные сети:
то ли развалины войны,
то ли развалины столетий.

Когда уже не стало сил,
то вспыхнул свет, большой и яркий:
и все пространство осветил
тугой огонь электросварки.

* * *

У порога старухины дети
положили еловые ветви.
Еще тело не вынесли, но
уже стали делить барахло.

И дрались, а потом веселились.
Выходили остыть на крыльцо.
Прожигая худое лицо,
у покойницы слезы катились.

* * *

Повернул коня на север
у непаханой межи.
В чистом поле камень серый
на одном боку лежит.

Размахался я руками,
скинул шляпу и пиджак:
не понравился мне камень,—
только портит весь пейзаж.

Молодецкой силы полон,
две недели яму рыл.

(Усмехался старый ворон —
по пятам за мной ходил.)

Отряхнул с усов мякину,
на ладони поплевал.
Серый камень в яму скинул,
завалил и притоптал.

И с тех пор во чистом поле —
вот уже четвертый год —
темной ночью кто-то стонет
и меня к себе зовет.

* * *

Когда брожу один я бестолково
в толпе цветастой, празднично-густой,
еще суровый профиль Смелякова
проходит мимо лестницы пустой.
Еще добры поэты и неброски.
Еще на свете долго будет жить
отец солдата Теркина — Твардовский,
российский, тертый, искренний мужик.
Еще Рубцова озаряет тихо

его звезда, и в горнице светло,
и старая седая ворониха
над Прасоловым подняла крыло...

Своих друзей напрасно чернославим,
давайте эти выпады оставим,
поверьте мне, все роздано давно:
и черный хлеб прогорклого забвенья,
и славы олимпийское вино.

ЛЕТА

Не нашел он в жизни оправдания,
Но услышал: «Есть одна река!
Жаждающим забыть свои страдания
Утоляет совесть на века».

Он увидел свет над берегами,
Над водой, что тяжелей свинца.
Он, смеясь, припал к воде губами...
Только жажде не было конца.

ПОКРОВ

Студит небо морозный ветер,
И звенит сухая трава...
А на сердце
 надеждой светлой —
Ожидание Покрова.

Чист Покров
С прозрачной порошею,
И любовь без тревожных снов,
Но не слишком ли
Много хорошего
Обещает нынче Покров?

Тракт накатан,
Но в час дорожный
Ворон каркает неспроста...
Кони вынесут, в руки вожжи!
Эй, залетные,—
Ни черта!

Кони вынесут с гиком-присвистом!
На авось гони—
Трын-трава!
Все распахнуты дали чистые,
Все разорваны Покрова!

Владимир Нежданов

СНЕГ В ОКТЯБРЕ

Небо туманное ниже.
Дымный, рассеянный свет.
Осенью дождь еле слышен,
падая, медлит, как снег.
Замер бесшумною тенью.
И до конца октября
снег сохраняет в паденье
шорох и всплески дождя.

* * *

Помнишь: ночь перед самым рассветом
у реки становилась темней,
словно лунным повеяло ветром
и задудло сильнее и сильнее.
Стихло все, словно ты позабылась
тихим сном у небесной гряды,
в дальнейшем всплеске прохладно светилась
голубая изнанка воды...

* * *

Красный клен над закатом склонился,
и тебе я сказал: «Не грусти,
видишь, снег, что над лесом кружился,—
весь в моей поместился горсти».

Я дыханьем согрел твои руки—
вешний ветер повеял с полей,
и далекое небо разлуки
стало выше еще и светлей.

* * *

Вот окно твоё. Ближе и ближе...
Ты услышишь шаги! Ещё тише
обнажается тень без изъятия.
И уже на всю улицу слышен
шорох воздуха в шорохе платья.

* * *

Ю. Казаков

Кто со мною в молодость, ребята?
Поспешите, милые, сюда,
В наши голубиные закаты,
В наши соловьиные года!

В медунницу, на тропинки в жите,
В наши земляничные леса.

Что же замолчали вы, скажите,
Что не подаете голоса?

Поутихли громы и набаты,
Неземная встала благодать.
Не вернусь я в молодость, ребята,
Что мне—одному там горевать?

* * *

Под сенью синих тополей,
Где огороды без ограды,
Ты не шали, а пожалей
Печали наши и утраты.

Пускай себе цветет миндаль
На теплом юге, у залива,
Крапива—жгучесть и печаль,
Цветок души моей—крапива!

Михаил Беляев

ВЗДОХ МИКУЛЫ

Старинный дух,
Бодрящий дух,
От древности горчащий.
С ним зорче глаз,
Крупнее слух,
Как эхо в древней чаше.

Он сладким не был никогда,
И потому так влился
Через полынные года
Загаром в наши лица.

Была земля—сплошная гарь,
Но Русь не раскололась.
И Селянинович-плугарь
Выдюживал свой колос.

Такое пестовал зерно
Он сошкою каленой—
Россию делало оно
И людной
И здоровой.

Зерну всходить!
России быть!
Им колоситься вместе.
Тот жизни ход не искривить
Ни ворогу, ни смерти.

И вышина, и глубина
Тяют грома и гулы,
Но ширь вокруг того зерна—
Во мне как вздох Микулы.

ЖЕНЩИНА, БРОСИВШАЯ РЕБЕНКА

Что снится женщине красивой?..
Ребенок смирный, белолицый:
Он ожидает терпеливо
Ее у городской больницы.

Тепло одет он. И спеленат.
И оттого молчит покорно.
И десять лет,
Никем не поднят,
Лежит на лавочке просторной.

Ни у кого он есть не просит,
И вырастать, как все, не хочет.
Зима снегами не заносит,
И лето ливнями не мочит.

Он ждет ее.
Но слишком тихо
Над ним годами солнце ходит.

Его с лежащей рядом книгой
Никто на лавке не находит.

И потому он снится, снится
Красивой женщине... Быть может,
Она уже заснуть боится,
Поскольку сон ее тревожит.

Она бы к сыну улетела,
Она бы сына подхватила,
И молодое свое тело
Она бы лаской истомила.

Она бы вся была—вниманье!
Но годы те ушли далёко.
И бесконечно расстояние
Меж ней
И брошенным ребенком.

ЗАБЫТЫЙ МЕЧ

Словно старинная воля,
Тускло блистая вдали,
Меч Куликова поля
Вышел в грозу — из земли.
Выход широкий и долгий—
Русской равнине под стать.
Было от Дона до Волги
Тяжкое эхо слышать!
Славы священной изъятье
Темным покрылось быльем...
Взялся за меч — не поднять мне,
Столько забвенья на нем!
Только могучее солнце
Бликом играет седым...
Слабость моя отзовется
Детям и внукам моим.

* * *

Что ты искоса смотришь, жена?
Ничего под луною не вечно.
Ты налей-ка покрепче вина!
Лучше выпьем с тобою сердечно.
Ну, хотя бы за то, что стряслось
Над твоей и моей головою,
И поехало вкривь или вкось,
И покрылось дремучей травой.
Незабудкой в неласковый час,
Посреди невеселого быта,
Наша дочка взирает на нас
Так карающе, так беззащитно!
Этот взгляд, может быть, поважней
Наших мыслей земных и повинных.
Вот она — отчей пыли нежней,
Вот она — нашей смерти сильнее,
С шумным бантом в вихрах воробыных!

Виктор Каплин

ДИАЛОГ

— Куда торопишься, ручей? — К реке.
— А ты, река? — К сестре, что вдалеке.
— А ты, великая река, куда?
— Туда, где вечно царствует вода.
— О океан, о чем твой мощный рев,
Куда так рвешься ты из берегов?
— Хочу в начало дней, хочу опять
Я в зелени лугов ручьем журчать.

— И я хочу, — промолвил я в ответ, —
Пусть говорят: пути в начало нет.
Ты — облаком взовьешься в высоту,
А я — травой из почвы прорасту.
И ты прольешься надо мной дождем,
Чтоб среди луга зажурчать ручьем.

Но я понять тебя уж не смогу,
Душою за тобой не побегу.
И только это слово, может быть,
Все так же будет, вопрошая, жить:
— Куда, ручей, торопишься? Куда
Стремишься, бесконечная вода?..

* * *

За твоим за веселым столом
Три армянки печально запели.
И задумались мы, присмирели
Над стаканом с беспечным вином.

Три армянки,
Сквозь тысячу лет
Чуя предков, забылись в печали.

То «Ямщик», то «Лучинушки» свет
В их напеве как будто звучали...

Родниковая связь старины.
Скорбь живая чужого истока.
Как понятна и русскому ты!
Как вонзаешься в сердце глубоко!..

* * *

Возвращаются наши с работы,
Зажигается в доме огонь.
И, отмывшись от пыли и пота,
Молодые бегут на гармонию.

Шире круг! И звенят перепевки
На лугу у степной колеи.
И попарно красивые девки
Отбивают «страдания» свои.

С переборами, с места на место...
Ах, надрывные слезы-стихи!

ПАМЯТИ МАТЕРИ

Вспоминаю тебя, колготливую,
Доброту и тепло твоих рук,
И последнее утро дождливое,
И конец незаслуженных мук.
Ты зовешь иногда — просыпаюсь.
Доживаю оставшийся срок...
И ни разу себе не признаюсь,
Что тебя убережешь я не смог.
Только в сумерках тихого вечера
Я проведать тебя прихожу.
Что сказать?... Да и некому... Нечего...
На дубы вековые гляжу.

Дай-то бог, чтоб вернулись к невестам
С этой страшной войны женихи!

Но опять под мальчишечьи свисты
Позавидуют только одной,
Что уйдет со слепым гармонистом
И слепящей своей красотой.

Что под утро в заплаканной роще
Проклянет и себя, и войну,
И судьбу — оставаться на ощупь.
— Не люблю! — оборвет тишину.

* * *

То ли годы бегут от меня,
То ли сам от себя убегаю,
Я бегу, пустотою звеня,
И себя самого догоняю.

То ли дождик стучится в окно,
То ли просится лютая вьюга,
Дверь бегу открывать все равно
И впускаю бездомного друга.

Смотришь, лапу тебе он подаст,
И тебя к разговору потянет,
И никто никого не продаст,
И никто никого не обманет.

КРАСНОАРМЕЙЦЫ

Русы косы —
по воду.
По тропинке,
по лугу.
Клонятся у криницы
зачерпнуть водицы.

Подъезжали конники —
каурые коники.
Пыльны чубы их.
Звезды голубые.
Громкие имена.
Звонкие стремена.

— Дай напиться,
молодца,
иссушило солнце лица.

Три дня в погоне —
не поены кони.
Наша доля —
пыль да поле,
пуля в лоб
да пика в бок!

— Храни вас бог!

Русы косы —
по воду.
По тропинке,
по лугу.
Клонятся у криницы
зачерпнуть водицы.

Нахмурила брови —
зачерпнула крови!

ЗВЕЗДОЧЕТ

Елена, Этот странный — там, в колодце —
не тень, не отражение, не вода!
Поверь, он не был ими никогда,
хотя таится в них, а иногда,
вдруг осердившись, брызгами плюется.

И ты одна по воду не ходи.
Он озорник, Елена. Он проказник.
И даже праздный день ему не в праздник,
пока, таясь, со дна не подглядит,

как дунет ветер в купол сарафана —
да так, что цветень вихрем зарыбит
и темень сруба жаром опалит
звезда жены соседа Митрофана.

Как Этот — там, в колодце — забурлит,
как захохочет — да срамно! да трубно! —
Озлится Митрофан: «Прибраться трудно?!» —
и шерсть козла над срубом запалит.

А Этот, что ни чёт, ни тень нечёта,
козла не терпит, ежели тот сед.
Скорей орать: «Прости ты мне, сосед,
шутейную оплошку звездочета!»

Елена, ты не смейся: он и впрямь
в трубе колодца звезды днем листаёт.
Неведомо: читает ли, считает,
поскольку сам молчит про то — упрям.

А Митрофан — как всякий человек,
ядущий труд свой в хлебе и траве, —
скитаний среди звезд не уважает.
Но лоб почешет, посоображает —
и дух козла развеет в синеве.

И замолчат, уgomонившись, оба.
Ты чувствуешь, как Тот, в глубь, молчит?
Лишь родником старательно бренчит,
меняя воду в линзе телескопа.

А между тем — просторный вечер тает.
И вот в колодце вглубь уходит дно.
И Митрофан под яблони рядом
кладет, ворча: «Все фрукты посшибает!»

И слушает — но ни гугу в ответ.
И смотрит, как грядут над миром звезды,
как над трубою сруба черный воздух
просеребрил нездешний странный свет.

Елена, не мешай ему! Он — бдит,
взирая, как столбом пронзает версты
кипящий свет — туннель из тьмы во звезды;
и ждет — со сладким холодом в груди.

Над ним кипят, светясь, метеориты,
летят жар-птицей вниз — да на беду

стучат по спелым яблокам в саду.
А Митрофан не терпит сей обиды.

До гнева за потраву разгорясь,
он мчится к срубу так, что дыху тесно,
и крышку бухает на свет небесный,
тем объявив приоритет на власть.

И внемлет с превосходством, как визжит
и плещется неведомое что-то.
«Открой!» — зовет. Но Митрофан — с зевотой:
«Молчи, — сказал. — Наукой ты изжит».

Елена, ты не думай: он не дурень —
наш Митрофан. Он — просто человек,
сложивший мирозданье в голове,
дремля зимой под радио на стуле.

«Ты — опиум! религия! — с апломбом
провозгласил в бездумной простоте. —
Видение в безлюдной пустоте!
А свет... Не знаю. Может, светобомба?»

«Какая чушь! Что ты несешь, вешун?
Где — пустота?! Мы в самой гуще мира!
Но ты закрыл туннель в созвездье Лиры.
Открой, дурак! Я все тебе прощу!»

«Поди ж ты! — восхитился Митрофан. —
Фантом, ничто, а знает постановки.
Под Бендера работает. Да ловко!
Но ничего, я тоже не профан».

«И не дурак! — вдруг рявкнул, осердясь. —
И не торчу глазами под подошлы!..»
«Cherchez la femme!»¹ — пронесся вздох по долу.
А Митрофан на вздох — булыжник! — хрясь...

На том, Елена, можно завершить
сие повествование о чудном
событии в людском краю безлюдном,
где мы с тобой средь звезд родились жить.

Поскольку тем и кончился контакт
сосуществующих цивилизаций...
Смотрю в колодец: солнечные «зайцы»
в нем скачут так же вроде — да не так.

Встал Митрофан. Пришел с ведром — напиться.
Напились властью. Полить надумал лук.
«Вишь, водяной примистился с похмелу.
Но я подсыпал перцу под полу.
А хороша без нечисти водица!»

Но ты, Елена, больше никогда —
ни в смутную, ни в ясную погоду —
не вздумай черпать из колодца воду.
В колодце этом — мертвая вода.

¹ Cherchez la femme! — Ищите женщину! (франц.)

Николай Старшинов

* * *

А ты, сорока-белобока,
На миг оставив суету,
Сидишь, задумавшись глубоко,
На облетающем кусту.

Что впереди? Дожди, и стужи,
И вереницы скудных дней.
И что ни день, то будет хуже —
Все холодней и голодней.

Но ты не можешь и не хочешь
В унынье жить и малый срок,
И вот уже всюду стрекочешь
И все бойчее — прыг да скок!

Пусть завтра, словно в преисподней,
Весь белый свет охватит дрожь,
Но ведь сегодня, ведь сегодня
Мир замечательно хорош!..

* * *

— Но ведь правда, чисты наши души, ведь правда?
— Конечно чисты!
— Я как будто все заново слышу и вижу...
А ты?

Я с тобой говорю,
И мне кажется — все по плечу!
Я как будто парю...
— Я как будто бы тоже — лечу!..

Вновь слышны голоса
Над людьми, над сумятицей дней:
— Ты мне стал всех дороже, всех ближе!
— И ты — всех милей и родней!..

В небе грозы грохочут, и небо охвачено дрожью,
Топля на земле шелестят...
И над пошлостью, грязью и ложью
Смятенные души
Летят, и летят, и летят.

Николай Дмитриев

* * *

Иду по речке аки по суху,
По молодому льду иду
И каждым кратким звоном посоха
Рождаю белую звезду.

Под черным льдом страна колышется,
Вся в блестках тускло-золотых.

Как хорошо налимам дышится
От звезд лучисто-молодых.

Я — добрый бог. Без чванства божьего
И всем понятен до конца.
И ты люби меня, хорошая,
Как человека и творца.

* * *

Ты ли вил травяную уздечку
И потряхивал ею, грозя
Обротать горделивую речку,
Ту, что пену швыряла в глаза?

Ты ли выпил далеко от дому
Ползалива гнилого вина
И орал, что тебе, молодому,
Занебесная правда видна?

И не ты ли подтягивал песне,
Покрывясь подпевающим ртом,

И не ты ли оканчивал спесью
Эти чистые слезы потом?

И, к любимой идя по ограде,
Недоверчиво трогая твердь,
Бормотал, что трясет — в Ашхабаде,
Успокоенный, белый как смерть.

Ты! Так что же содеялось с нею,
Или это она сгорая,
И дороги не видит яснее,
И надежней не знает плеча!

БЕРЕГ

Ты помнишь песок с трясогузкой?
Ты лошадь поил в поводу?
Измученный удалью русской,
Я ивовый берег найду.

Тот самый, в текучем тумане,
В старинном таком серебре,
Что нежность будил в Иоанне
И ярость в Великом Петре.

Ни плеска, ни скрипа, ни лая,—
Я здесь никуда не спешил.

Иванов, Петров, Николаев—
Мой берег, он всех пережил.

И пусть окунишки пасутся
Под темной каемкой куги,
Когда над судьбой разойдутся
Спокойные эти круги.

От них колыхнется осока
И синих стрекоз отряхнет,
И чья-нибудь дума высоко
Над белой водой поплывет.

* * *

На дорогое замахнулся
И вскрикнул я. И вдруг проснулся.
В поту. Подушка на полу.
И тени черные в углу.

Не страшно то, что спать не буду,
А страшно то, что сон забуду
И в яви где-нибудь очнусь

Перед твоим долготерпеньем,
Как перед чистым детским пеньем,
И слишком поздно откачнусь

И от себя себя сокрою,
Как будто это был другой—
С глазами, полными тоскою,
И с занесенною рукой.

* * *

Если отчего-то заскучалось,
Если только дождики в окне—
Запросто, как раньше получалось,
Забегу когда-нибудь ко мне.

Что нам ворошить с тобой? Сейчас-то!
Просто—приоткроешь дверь на треть...
Как пронзает человека счастье—
Это ж любопытно посмотреть!

Геннадий Красников

* * *

Опять пытается Родина любовью
своих пропащих, шумных сыновей,
их сумрачные взгляды исподлобья
становятся светлее и трезвей.

Кто не любил России—не изведаль
своей вины перед ее слезой,
и перед этим невеселым небом
над горькой, непростой ее стезей.

Мы никаких счетов не предъявляем,
прощает нас—спасибо и на том.
То во поле березу обнимаем,
то провожаем птиц—а в горле ком.

Всегда найдутся умники на свете,
кому чужая родина—плоха.
Судите нас!.. Но родину—не смейте,
не трогайте. Подальше от греха!

Александр Щуплов

* * *

Я напбён жизнью допьяна.
Я кричу ползущим и парящим:
«Прошлое — последняя вина
будущего перед настоящим!»

На щите лежать иль меж щитов —
все равно услышать плач молящий...

Прошлое — сведение счетов
будущей разлуки с настоящей.

Каждый ручеек бежит в раек,
на немом наречье говорящий...
Прошлое — невыданный паек
будущему
хлебом настоящим.

Евгений Артюхов

* * *

Напоминая внешностью отца
И следуя родительским наказам,
Я даже не шагаю до конца
Путем, где мог светиться отчий разум.

И даже сам я нынешний не тот,
Кем был вчера: скребут меня заботы.
И только камень на душе растет,
Что пращур мой готовил для охоты.

Игорь Селезнев

ЖЕНЩИНА

Глядя вслед посреди площадей
или на перекрестках шумливых,
жизнь свою ты увидел за ней—
всю в изменах, провалах, разрывах.

Шла, тебе отовсюду видна.
И путей ты увидел немало
на просторах, какие она
сразу взглядом одним покрывала.

* * *

Звезда моя видна из городского
оврага.

Свыше указывает путь.
Хочу на свет попристальной взглянуть.
Но выберусь из холода сырого
на кручу— не могу понять, куда
девается тогда моя звезда.
Спустишь назад —
горит на небе снова.

* * *

Думы твои доставали до неба,
песни твои доставали до крыш!
Улицей строгой казалась Зацепа.
Ну а теперь?.. Все глаза проглядишь,
а не увидишь на улице малой
ты, двадцатичетырехгодовалый,
цельного камня — проломы одни
светят...

На чем удержались они?
Вкривь расступились, раздвинулись вкось
стены,
где сам пролагаешь проходы,
реализуя избыток свободы,
малую родину видишь насквозь.

Мы успеем еще на великие струги России,
Уходящие вдаль по широкой вечерней воде,
Мы подумать успеем еще о наследнике-сыне,
О несбывшейся в мире такой осязаемой беде.

Мы тогда понимали, что вечное дали нам имя,
И что поровну хлеб нам делить за вселенским
 столом,
И что, как ни крути, все равно всё сведется
 к России,
Так бывало уже в недалеком и давнем былом.

Зима облокотилась на плетень
Последним снегом,
Серым и недолгим,
Откроют ставни,
Приберут у дома,
На старой даче самый главный день,
И дома наклонившаяся тень
Идет от солнца тихим шагом вдовьям...

За высшую степень родства
К земле, что хранит зелены,
Меня продолжает листва,
Звезда продолжает меня.

Жгу листья в остывшем саду,
Стою, означая движенье,
И вновь продолжаю звезду
Извечным земным притяженьем.

200 лет со дня рождения В. А. Жуковского

«У МЕНЯ ЕСТЬ ДРУГОЙ ВОЖАТЫЙ— МОЯ СОВЕСТЬ»

1983 год — год Жуковского: мировая общественность широко отмечает двухсотлетие со дня рождения этого великого русского поэта и просветителя. Что закрепно живет в литературной и — шире — в общенародной молве? Жуковский — учитель Пушкина. Жуковский — подаривший своему гениальному ученику собственный портрет с надписью: «Победителю-ученику от побежденного учителя...» Надпись помечена 26 марта 1820 года, когда Пушкин окончил поэму «Руслан и Людмила». Далее — все по той же молве, он зашел в тень; действительное значение его для русской литературы как бы закончилось. Между тем дар Жуковского не ослабел, его духовное развитие продолжалось. А. С. Пушкин довольно быстро отошел от романтического направления в литературе. Он совершенно определенно выразился, что является учеником, но не продолжателем Жуковского. Пушкин стал во главе реалистической школы, стал как бы великим воплощением «поэзии действительности». Его натуре чуждо было двоемирие и тяготение к символизму. Однако Жуковский продолжал идти своим путем. В Жуковском как бы воплотилась воля к развитию романтической традиции (в то время торжествовала в литературно-общественном сознании поэзия действительности). И в этом смысле его продолжателями были Ф. Тютчев, И. Козлов, Я. Полонский, А. Фет... Он сильно повлиял на духовное развитие Н. В. Гоголя... Стал предтечей русских символистов («Первым вдохновителем моим был Жуковский». А. Блок)...

Смеем надеяться, что сокровенная сущность поэзии Жуковского, сам тип его лиризма имеет продолжение и в наши дни...

Наше понимание истинных взглядов, позиции и роли В. А. Жуковского в жизни русского общества XIX века осложнено рядом обстоятельств, в частности совершенно особым положением поэта при царском дворе в качестве воспитателя цесаревича (будущего Александра II). Утверждали, что он был «оторван от общественного движения» своего времени. Но так ли это, если Жуковский неоднократно заступался за Пушкина, за многих ссыльных декабристов, стараясь всячески облегчить их участь (здесь следует назвать И. Д. Якушкина, В. К. Кюхельбекера, Ф. Н. Глинку), действительно ходатайствовал за молодого А. И. Герцена, когда тот находился в вятской ссылке, помог ему перебраться во Владимир. Василий Андреевич стал инициатором и самым энергичным и последовательным ходатаем за освобождение Т. Г. Шевченко от крепостной зависимости (история освобождения Тараса Григорьевича изложена Жуковским в письме к Ю. Ф. Барановой в несколько юмористическом тоне, за которым скрывается радость поэта). Жуковский был вообще убежденным противником крепостного права. Да и в хлопотах своих за облегчение участи декабристов он при всей своей внешней мягкости проявлял страстную последовательность натуры. Это в полной мере выразилось в деле Николая Ивановича Тургенева. Жуковский упорно оправдывал его перед Николаем I, что в конечном счете вызвало раздражение государя. «Ты при моем сыне, — заметил тот поэту. — Как же тебе

слыть сообщником людей беспорядочных или осужденных за преступление?»

П. А. Вяземский написал специальную статью «Жуковский как адвокат Н. Тургенева перед императором Николаем» («Русский Архив». 1876 г., т. I).

Василий Андреевич намеревался просить самодержца уж не об отдельных декабристах, а в принципе об «облегчении участи всех осужденных». Решение это в нем созрело окончательно. Он написал письмо, которое, однако, не было подано из-за осложнившегося положения Жуковского при дворе, возникшей неприязни к нему со стороны ряда высокопоставленных лиц и т. д. (В личной беседе Николай, между прочим, заметил поэту: «...ты навлек на себя нареканья. Тебя называют главою партии, защитником всех тех, кто только худ с правительством»). В неподанном государю письме Жуковский пишет: «Я осмелился просить вас за Александра Тургенева и упомянуть перед вами о брате его; теперь осмеливаюсь сделать более, говорить о других осужденных... Пришла пора залечить те раны, которые в стольких сердцах болят и вечно болеть не перестанут». В дневнике А. И. Тургенева читаем о Жуковском (14 ноября 1839 г.): «Чист, но так ли увидит его, не посвященное в таинство прекрасной души его, потомство?»

Сам же Василий Андреевич после вышеупомянутой неприятной беседы с императором, расстроенный, оскорбленный, оборванный на полуслове, записал следующее: «Если бы я имел возможность говорить, вот что бы я отвечал... Я защищаю тех, кто вами осужден или обвинен перед вами... Разве вы не можете ошибаться? Разве правосудие (особливо у нас) безошибочно? Разве донесения вам людей, которые основывают их на тайных презренных доносах, суть для вас решительные приговоры Божии? Разве вы можете осуждать, не выслушав оправдания?.. Я не могу бегать по улицам и спрашивать у всех возможных на меня доносчиков, что мне думать, что мне делать и кого любить. Если эти доносчики могут быть доступны до вас, то это ваше и наше несчастье, ибо в таком случае вы беспрестанно будете осуждать несправедливо, и мы никогда не можем быть правыми. Поэтому в России один человек добродетельный: это Бенкендорф! Все прочие должны смотреть на него в поступках своих, как на флигельмана. Что он назовет хорошим, то для них должно быть хорошо, что он осудит, то и они должны осудить. А он произносит свои суждения по доносам, следовательно нравственность наша теперь вся предана на произвол доносчиков: нет никого правых!.. Но это гибель всего! Презрение ко всему и ко всем укоренится в душе вашей! Около вас будут жить только те, кои живут предательством.

Я со своей стороны буду продолжать жить, как я жил. Не могу покорить себя ни Булгариным, ни даже Бенкендорфу: у меня есть другой вожатый — моя совесть...»

Приводимые ниже страницы писем В. А. Жуковского А. И. Тургеневу мало знакомы современному читателю; письма поэта к И. В. Киреевскому публикуются впервые.

Владимир Лазарев

ИЗ ПИСЕМ В. А. ЖУКОВСКОГО
К АЛЕКСАНДРУ ИВАНОВИЧУ ТУРГЕНЕВУ

Во второй половине декабря 1827 г., Петербург

I

... Содержание моего теперешнего письма важное, хотя письмо короткое. Я могу тебе теперь по совести дать совет, которым не боюсь повредить тебе: ты можешь ехать в Лондон. На это напрасно ты

требовал позволения с изъяснением, для чего едешь: такого позволения дать нельзя было; но тебе ехать не запрещено, и я теперь могу сказать тебе решительно, ибо имею причину так говорить, что поездка твоя в Лондон и твое свидание с Николаем не сделают тебе никакого вреда, не произведут даже никакого дурного впечатления. Итак, поезжай...

В письме идет речь о поездке А. И. Тургенева к брату, Н. И. Тургеневу, в Лондон. Николай Иванович Тургенев принадлежал к тайному обществу Союза Благоденствия. В 1821 году, как известно, деятельность этого общества прекратилась. В 1824 году Н. И. Тургенев уехал за границу. Однако после 14 декабря 1825 года ему были поставлены в вину связь и дружба с декабристами, сочувствие идее освобождения крестьян. На суд Тургенев не явился. Был осужден заочно. Жуковский горячо выступил в его защиту перед государем.

Н. Тургенев написал и издал за границей обширное сочинение «Россия и русские».

Его брат А. И. Тургенев писал ему в Лондон в 1827 году:

«Жуковский уверен, что ты переносишь свое положение твердо... У кого была сильная мысль, порожденная любовью к человечеству, тот не может быть несчастлив и в неудаче; ибо сильная мысль, как сильная любовь, наполняет всего человека... И по сию пору России одно нужно прежде всего: уничтожение рабства. После все прочее к сему приложится».

Публикуемая в «Дне поэзии» выдержка из письма Жуковского приведена в письме А. И. Тургенева к Н. И. Тургеневу от 18 января 1828 года. Подлинное письмо Жуковского, из которого приведена настоящая выдержка, не сохранилось. Перед этими строками, извлеченными из письма поэта, читаем следующее: «Милый брат! Наконец, горизонт и для нас светлеет! Дружба Жуковского подействовала. Для меня главное сделано: я могу быть с тобою. Я почти счастлив и спокоен на всю жизнь...»

(«Письма В. А. Жуковского к А. И. Тургеневу», изд. «Русского Архива». М., 1895, с. 234. «Письма А. И. Тургенева к Н. И. Тургеневу», с. 364—365.)

В середине января 1828 г., Петербург

II

Милый! Давно нет от тебя письма. Где ты? Надеюсь, что последовал моему совету и уехал в Лондон. Если нет, то опять говорю: поезжай¹. Мне необходимо знать тебя там. Мне кажется, что ты много успокоишься насчет брата, повидавшись с ним не одним воображением. Жду нетерпеливо от тебя письма из Лондона. Пишу тебе мало для того только, чтобы написать что-нибудь. Посылаю письмо Вяземского. У меня лежит для тебя экземпляр «Северных цветов», но не знаю, когда пошлю...

21 марта (1828 г., Петербург)

III

Посылаю тебе, мой милый друг, письмо Жихарева². Я давно послал тебе одно. Не знаю, получил ли его ты. Мое последнее письмо, верно, тебя огорчило. Боюсь этого и грущу. Опять повторяю: надежды у

меня немного, но ты уверен и без меня, что я не упущу случая благоприятного. Мне кажется, что мы поспешили. Надлежало бы выждать; но то, что сделано, не повредило, я в этом уверен. Оно заронило доброе семя. Когда будет от него какой-нибудь плод, не знаю. Знаю только то, что я своего не пропущу. В настоящую минуту надобно просто терпеть, ибо нет никакой возможности что-нибудь сделать.

Теперь слово о твоём пребывании в Лондоне. На что ты решился? Неужели хочешь навсегда остаться в Лондоне? Но будет ли это по сердцу брату? Смотри, друг, не прибавь к его беде чего-нибудь нового. Будь осторожен! Чтобы он не уехал в Америку! Тебе надобно не только его беречь, но и себя для него. Не надобно разрывать с Россией. Это пригодится для брата. Мне кажется, что со временем надобно будет тебе сюда возвратиться. La glâce est comrue¹. Ты можешь, если мне не удастся, сделаться адвокатом за брата перед государем. Эта роль тебе прилична. Итак, не делай никакого неосторожного шага, чтобы не положить преграды твоему сюда возвращению. Ты напрасно не показывался к послу. Этим брату тебе оскорбить нельзя, но тебе самому необходимо нужно сохранить все приличия. Прости. Я спешу отправлять письмо. Буду писать к тебе по почте. Это поедет с курьером. Посылаю «Северные цветы». Обнимаю Николая. Надеюсь скоро увидеться с Жихаревым. Он собирается в Петербург.

¹ А. И. Тургенев уехал из Парижа в Лондон на свидание с братом 3 февраля 1828 г. (см. «Письма А. И. Тургенева к Н. И. Тургеневу», с. 389—390).

² Жихарев Степан Петрович (1787—1860)— воспитанник Московского Университетского Благородного пансиона, впоследствии сенатор. Автор известных записок — «Дневник студента» и «Дневник чиновника».

¹ Дело пошло в ход (франц.).

IV

Я хотел писать к тебе прежде, но князь Александр Николаевич Голицын меня остановил, он хотел сам к тебе написать об окончании твоего дела. Вероятно, что теперь уже он отправил к тебе письмо свое. Тебе позволено остаться в Париже, но с тем, чтобы не заживаться и выехать из него, как скоро кончишь дело. Мне же приходит на мысль, что ты можешь сделать теперь весьма важное и полезное для России дело, которое займет тебя самым приятным образом. Ты пишешь, что получил доступ к архивам и что можешь делать какие хочешь выписки. Как же этим не воспользоваться? И вот моя мысль: собери все дипломатические донесения от времен Петра Великого до Александра, да, пожалуй, до самого последнего времени¹. Это будет чрезвычайно важное для нашей современной и новой истории приобретение. Если уже тебе поручено делать такое собрание, то почему не распространить план его? Обдумай мою

мысль. Сделай план и пришли его к князю Александру Николаевичу; в то же время уведомя и меня об этом. Мы с князем об этом вместе потолкуем, и, может быть, выйдет из этого же, что тебе надобно будет по должности отправиться в Париж. Не откладывая и пришли скорее план. Лучшего случая для тебя не будет. Да и для России весьма благоприятный случай, ибо это дело никому в голову не придет после; а тебе уже дано назначение, и ты, конечно, это дело исполнишь лучше всех и по своему знанию дела, и по своим связям. Меня такое занятие относительно к тебе пленяет: ты будешь занят важным трудом, полезным для отечественной истории; и будешь избавлен от всякого беспокойства, тебя до сих пор мучившего и происходящего от неопределенности твоей жизни. Скорее, скорее отвечай мне. Прости, душа, обнимаю тебя. N. В. То же дело можно, кажется, распространить и на Англию, если дан будет тебе доступ до Лондонских архивов.

Жуковский

ТРИ ПИСЬМА В. А. ЖУКОВСКОГО
И. В. КИРЕЕВСКОМУ

Иван Васильевич Киреевский был внучатым племянником В. А. Жуковского по материнской линии. Жуковский оказал большое влияние на братьев Киреевских в первоначальную пору их духовного развития. Иван и Петр серьезно воспринимали советы Жуковского по поводу выбора жизненного пути, способа образования, выбора учебного заведения и т. д. Какой-то особой душевной приязнью, теплотой, сердечностью дышит третье по счету из публикуемых писем — светлый привет молодым в день их венчания.

Первые два письма связаны с закрытием журнала «Европеец». Датируются они в соответствии с официальным уведомлением канцелярии Московского цензурного комитета на имя И. В. Киреевского о запрещении его журнала и письмами И. В. Киреевского Жуковскому. Эти два письма — необходимое звено в контексте всей переписки Василия Андреевича по поводу запрещения «Европейца», его письма Николаю I и Бенкендорфу (черновой текст) впервые опубликованы П. И. Бартеневым в «Русском Архиве» (1896 г., № 1). Еще одно письмо Николаю I и беловой текст письма Жуковского к шефу жандармов ввел в научный оборот на основании архивных материалов, хранящихся в

Пушкинском доме. М. И. Гиллельсон («Русская литература», 1965, № 4). Там же опубликованы два письма И. В. Киреевского Жуковскому. Характерно, что даже в письмах к монарху и к шефу жандармов Василий Андреевич никогда не теряет чувства человеческого достоинства, отстаивая независимость своих взглядов на литературу и общество. Например, в письме к Бенкендорфу он с отвращением пишет о том типе литераторов, усилиями которых литература, «поприще ума и таланта обращено в торговую площадь». И далее Жуковский продолжает: «Но какое же у нас будет действие литературы и какое произойдет от того образование, если этою литературою овладеют торгаши, которые будут видеть в ней только один способ наживаться, и когда всякий имеющий талант и нравственное благородство и честолюбие возвышенное будет оттеснен, обруган, представлен злонамеренным и, наконец, выброшен из круга деятельности как вредный правительству?»

Тон писем Василия Андреевича Киреевскому иной: в них поэт предстает тонким и мудрым учителем. Письма публикуются по материалам, хранящимся в ЦГАЛИ (ф. 236, оп. 1, е/х 71).

I

Очень огорчило меня то, что случилось с тобой, мой милый Иван Васильевич.

Я уверен в чистоте твоих мыслей, они так же чисты, как и вся твоя жизнь до настоящей минуты. Но в статье твоей «XIX век» находят под выражениями явными тайный смысл и полагают, что она написана с худой целью. Обвиняют и в статье твоей о комедии «Горе от ума» твою выходку против любви к иностранцам. Полагают, что ты разумеешь под именем иностранцев и тех русских, кои, нося фамилию нерусскую, принадлежат к русским под-

данным, то есть жителей наших немецких провинций. Ни этой мысли, ни худых тайных намерений ты не мог иметь: в этом я более нежели кто-нибудь уверен. Но правительство думает иначе; журнал твой запрещен, но тебе не запрещено оправдываться. Напиши письмо его высокопревосходительству Александру Христофоровичу Бенкендорфу; письмо, в котором изъясни просто и цель своего журнала и намерений, с какими написана первая статья, и настоящий смысл твоего мнения об иностранцах. Письмо должно быть написано коротко и просто; доставь его ко мне, я вручу его генералу Бенкендорфу.

Твое оправдание будет, конечно, уважено.

Обнимаю тебя и всех вас

Жуковский

После 22 февраля 1832 года

¹ Извлечения из собранных А. И. Тургеневым донесений французских дипломатических агентов за время царствования Петра Великого и Екатерины I были напечатаны в русском переводе в «Журнале министерства Народного Просвещения», 1843 и 1844 гг.

II

Мой милый Европеец, обнимаю тебя за милое письмо. На сих днях поеду с ним к Бенкендорфу и приложу к нему собственные объяснения письменные и словесные. Ты же со своей стороны сделай то, что я тебе советовал: напиши к Бенкендорфу от себя. Но в письме своем более старайся не доказывать сделанной тебе несправедливости, а оправдывать свою невиновность. Вступайся менее за свой журнал, нежели за самого себя, и говори более о том, что запрещение журнала делает и тебя самого подозрительным правительству, чего ты не заслужил и что считаешь наибольшим для себя несчастьем. Говори о своем желании быть полезным в смысле просветительства, о своей цели распространять посредством авторства те идеи, кои правительство находит общепользовательными, и о том, что неблагоприятное мнение, которое должно пасть на тебя с закрытием твоего журнала, отымет у тебя средства доказать на деле твою к нему приверженность, одним словом, в письме твоем должно быть менее доказательств того, что с тобой поступлено несправедливо, нежели уверений, что ты заслуживаешь доброе мнение. Доказывать сильным, что они неправы, есть только вооружать их более против себя. Стой не за журнал свой, а за себя.

Я уже писал к государю и о твоем журнале и о тебе. Сказал мнение свое на это. Ответа не имею и вероятно не буду иметь. Но что надобно было сказать, то сказано. Из всего этого было видно, что есть добрые люди вероятно из авторской сволочи, кои вредят тебе по личной злобе, во вред тебе хотят ввести правительство в заблуждение и на счет всех, кто пишет с добрым намерением. Они клеветают на это намерение; и я уверен, что правительство убеждено, что между авторами некоторого разряда, в коем вероятно стою и я, есть тайное согласие распространять мнения разрушительные и революционные. Есть ли такая мысль дана правительству, то удивительно ли, что оно смотрит на нас с подозрением и в самых невинных вещах видит то, чего в них нет и быть не может. Всё можно изъяснить превратным образом. А как оправдаться, когда ни изъяснители, ни их изъяснения неизвестны, а только в создании сих жалких клевет осуждают то, что ими зловредно обезображено. Что делать честному человеку? Он совершенно бессилен, ибо и для оправдания своего не употребляет тех средств, коими так богаты его обвинители всемогущие, ибо они тайные. Клевета непобедима... Как бы она ни была безумна и ни на чем не основана, всё произведет она свое действие, то есть предубеждение. Оно основано не на фактах, не на действиях, а просто на общих клеветах, которые нападают на намерения. Обвинителям намеренно верят на слово, а тем, кто хочет оправдать себя, на слово не поверят.

Я просил о тебе и князя Дмитрия Владимировича¹ и представил ему себя за тебя поручить. Он человек истинно благородный, и необходимо нужно, чтобы он знал тебя лично. Прилагаю к нему письмо. Явись к нему с этим письмом тотчас по его приезде в Москву и покажи ему то, что напишешь к генералу Бенкендорфу.

Прости. Обними за меня мать и всю нашу сволочь домашнюю, негодяев и Языкова. Скажи Языкову, что он крепко одолжит меня, если пришлет мне для прочтения письма Карамзина к Бунину², кои находятся у него в оригинале, как то сказывал мне Пушкин. Вот бы он сделал славное дело, когда б мне подарил эти письма. Но я не думаю, чтобы этот тьюфак решился.

Жуковский

(февраль — март 1832)

III

Милые друзья

Иван Васильевич и Наталья Петровна.

Теперь утро 29 апреля: переносусь мысленно к вам, провожаю вас в церковь, занимая должное место отца, и от всего сердца прошу вас от бога мирного, но истинного домашнего счастья, которое, несмотря на необходимый примес печали, все-таки останется счастьем, если будет взаимным согласие чувств и мыслей. Сохрани вам бог это согласие, этот необходимый для дыхания, необходимый для душевного здоровья воздух домашней жизни. Всё остальное найдется само, коль скоро будет это главное, лучшее благо. И я уверен, что оно будет.

Это письмо придет уже поздно и вам нельзя будет исполнить моей просьбы: обнять за меня вашу милую мать тотчас после венчания. Исполните это тотчас по получении письма моего и пожалейте, что я лишен радости поделиться с вами первыми, живейшими минутами вашего счастья.

Простите, друзья! С богом!

Жуковский

29 апреля 1834

Публикация и комментарий М. И. Крыловой
и В. Я. Лазарева

¹ Д. В. Голицын — московский генерал-губернатор. Двенадцать лет спустя, в связи с его смертью, в газете «Московские ведомости» (1844, № 47) был опубликован некролог, написанный М. П. Погодиным.

² Речь идет, видимо, об А. И. Бунине, отце В. А. Жуковского.

Новые имена

Виктор Лапшин

КРАСАВА

Она костлява и желта,
вертлява, шепелява,
и курья гузка вместо рта,
резва на слово и люта...

Ее зовут— Красава.

Но глаз таких... о, нет,— очей
на всей на родине моей
не видывал я, право:

* * *

— Не кручинься, брат, веселися!
...Что за чучело там пришло?
— То Премудрая Василиса
к нам пожаловала в село.

— Ты рехнулся— али с похмелья!
Дура нищая— страх взглянуть...
Нам испортит она веселье,
еще сглазит кого-нибудь.

— Да, безумна она, бездольна,
но ее не коснется глум:

В ДОРОГЕ

Дол осенний усеян скирдами.
Солнцу иней дерзит на стерне.
У березы все космы выдраны,
или так показалось мне?

Средь топорщенья мертвого, голого
сучьев-судорог, мук-ветвей
вижу белую, вижу голову,
вижу мальчика невеселого.
— Что наохлился, воробей?

КОЛОДЕЦ

Твой колодец— он жив и поныне:
так же ворот разбойно поет,
и веселая стужа рябине
в зной и солнце сомлеть не дает.

И тропинку былью не осилить:
словно солью блистает в ночи,
но под белым песочком остыли,
утонули в земле кирпичи,

взор невозможно отвести,
посмотрит— с места не сойти.

Ее зовут— Красава.

Глаза живут в ее судьбе,
как будто сами по себе,
печально и лукаво...
Любила ли кого она?
Была ль кому-нибудь нужна—

Красава?..

было матушке нашей вольно
раздарить свой великий ум.

Всю-то Русь исходила дева,—
каждый, кажется, стал умней...
Будем жить без вражды и гнева—
ум сторицей вернется к ней.

И душа-то ее воспрянет—
и наделит такой красой
всех на свете, что стыдно станет
злой Смерти махать косой!

Не затейная, молодецкая,
а простая гармошка детская
заливается час и два;
и знакомое, беспорывное
слышу пение заунывное:
— Аа-аа-аа!..

Отрешенно, печально, истово
подпекает мальчонка ей
на ободранной, на безлиственной
на березе— среди полей...

где дивились мы великолепью
славы звездной, друг к другу припав,
нашей старой колодезной цепью
дребезжит пожилой волкодав.

Всему городу слышно, как льется
вечно юная, злая вода,
но твое отраженье в колодце
раздробила бадья навсегда.

БАБУШКА

Да спи, оголец! Не царапай обои!
Опять оборвал у подушки завязку.
Царица небесная! Грех мне с тобою!
Дубца бы тебе, а не бабкину сказку!..

Умаешься с эдакой птахой бессонной!
Про Бабу Ягу? Не припомню начало...
Вот в девьи-то годы слыла голосеной,
и сказок, и песен с три короба знала!

Ты думаешь, век была старым оляжьем?
Ох, бесперечь сваты порог обивали!..
Еще бы! Приветной была да вальяжной.
Колья из-за бабки твоей приломали-и!..

ЗЕМЛЕКОП

Он зло поплевал на ладони,—
и хрустнул в руках черенок:
лопата блистает и тонет,
уходит земля из-под ног.

Затмил он и душу, и яму
холмами тлетворной земли;
о, сколько и хламу, и сраму
в забвенной, презренной пыли!

В лицо ему тяжело ударил
слез, пота и крови родник,
на тысячелетье состарил,
но силою стал он велик.

* * *

Без искания, без искуса
как в глаза тебе взглянуть?
Взглядом только душу высказать —
на твою не посягнуть?

Как бы слово бескорыстное,
не лукавое найти,
чтоб открытой речью чистою
твою совесть соблюсти?

РОЩА

Мятной прохладцей в рощице веет душа берез.
Ярко береста светится после веселых гроз.

Робок ручей по-заячьи, трепетна гальки голь.
Каждый листочек — дитятко, всякий сучочек — боль.

* * *

Утро ветренное, черное,
дождевой струи длинней,
верченное и кручёное,
вечера не мудреней.

Да и где ж ума набраться?
Мудрость — та же суета,
если все мое богатство —
ветер, дождь и темнота.

Да тятенька-свет не давал мне потачки:
«Смотри, Параскева, я дурь-от повыбью!»
Шли замуж гурьбою подружки-рыбачки
и слух распустили про кровь мою рыбку.

Ой, внучек родимый, ржанушка моя ты!
Такой-то бы кровью — свинец растопила!
Вдовец подвернулся... узлы да заплаты...
Любила ли, нет ли... выходит — любила.

Где дед-то? Далече. Он помер от тифа.
Что слез пролила: пятерых мне оставил...
Кабы не надежда... Ох, батюшки, тихо...
Сморило бедняжку, уснул — как растаял.

Он плакал от жалости к праху,
что наше страданье таит,
киркой разбивая с размаху
сомненья свои и гранит.

И ахнул он, стоя в проломе:
к нему, отираючи лоб,
приблизился в дыме и громе
с другой стороны землекоп.

Сгореть и вражде и испугу!..
Их чистые души слились,—
и подали руки друг другу,
и крепко они обнялись.

Как бы руку взять покорную
и жалеть — не вождельть,
чтобы страсть мою упорную
нежностью преодолеть?

Как бы волею ревнивою
образ твой не исказить:
истинную и счастливую —
не себя в тебе любить?..

Роще шептать не вышептать, ключ не уговорить.
С чистою только совестью можно по ней бродить.

Если ж береза мертвая явится вдруг тебе,
тень ее — черной трещиной на золотой тропе...

ВЕЧЕР

О, волхвованье облаков
над синим долом, черным бором,
и страстный рокот родников
под сердцем — иль под косогором!..

А выше — там не озарит,
не вознесет, не обнадежит:
желанье бездну не томит,
и просветлеть она не может.

* * *

Туча вспучила озеро люто.
Берег буря умчала далёко.
Не моя ль затаенная смута
пробудилась до срока?..

Не одна ли она виновата,
что гроза и земна и небесна?

* * *

Нигде я мертвого не вижу,
и равнодушьем не обижу
я и седого валуна,
которого всегда обходит
усердный плуг... Меня изводит
неискупимая вина:

при слухе — глух, при виде — слеп я,
и сущего великолепе
могу постичь я лишь умом;

* * *

Природы знаками немymi
горазды обольщаться мы,
и опрометчивое имя
вольны навязывать умы
явлениям сущего туманным,
неизреченным, безыманным.

Мы тщимся в слово их облечь,
приноровить и ограничить;
нам нипочем, что склонна речь
унизить их иль возвеличить.

* * *

Мой гордый друг, не вопрошай:
вопрос вопросу отзовется;
так издевается, смеется
над нами эхо то и знай.

Кто от себя свободен? Кто
не дорожил свой неволей?

* * *

Никто светил не возводил
на величавые орбиты,
никто огнем не бороздил,
не громоздил земные плиты;

бессмыслицей небытия
никто нигде не возмутился,

* * *

Звук бестелесный, луч незримый
мне внятны в чаще нелюдимой;
и в сумраке безмолвном есть
благословение и весть.

Ну как, молнией мысли разъята,
обезумела бездна?..

Стоит туче кромешной нагряться,—
в душу каждую рад бы я глянуть;
все в глаза я людские вникаю
и покоя не знаю.

пристрастно чувство и превратно,
и даже красота невнятна,
коль нет ее во мне самом.

Наитьем истинное — ложно.
И я миную осторожно
любое из существ земных,
объятых временным покоем.
Чтоб — если слово не дано им —
до смысла возвышает их?..

И вот — они искажены,
как никогда, не в нашей власти;
а вместо тайны нам даны
разбуженные ею страсти.

Они-то разум и влекут,
заветным кажутся искомым;
мы шаг в уме за ними скорим,
ан ноги с места не идут.

Мы вечно слышим только то,
что мы желаем, и не боле.

Чего хотим? Зачем хотим?
Мы все м богаты, а не рады;
и требовать себе награды
за жизнь у жизни норюим.

никто не повелел, чтоб я
родился;

никто в сознание мое
не внес вселенского оплота...
Но сотворенное Ничье
еще чудеснее, чем Чье-то!

Но думою неизреченной
наш быт, как дымкою, повит...
Все тайны — в нас, а мир нетленный
загадкою не дорожит.

КОЛЕСО

Деревья, боясь оступиться,
стоят по колено в росе,
а птичьего пения спица
в небесном дрожит колесе.

Слепая прохладная тайна
трубит в соловьиный свой рог,
томясь в Фаэтоне случайном,
застрявшем средь русских дорог.

Прозрачного пения пена
в груди уместится с трудом,
и рвется, и рвется из плена,
неважно, что будет потом!

И слезы, и годы, и версты...
Давай же, родимый! Понес!
Пусть содрогнутся звезды
земных и небесных колес!

ВОЛИСПОЛКОМ

В пустой канцелярии пахнет известкой,
лежащей за флигелем после ремонта,
того, что проделан был в августе горсткой
застенчивых пленных с австрийского фронта.

До самой Канады куски канонады,
искусанный блохами, чешется Гашек,

крестьянские дети нежней, чем юннаты,
исследуют жизнь среднерусских букашек.

Уездная дымка, прохладные сени,
в открытые окна пчелиное лето
бросает цветы клинописной сирени
на папки, чернильницы и пистолеты.

КАНИКУЛЫ НА РОДИНЕ

Осколок недалекой старины —
костел стоит среди вишневой пены,
в просторных нишах статуи видны,
они иль безобразны, иль согбенны.

Вокруг костела ясно что — сады,
калитки, жерди, стулья, парники и
все то, что мы относим на зады,
на краешек несущей нас стихии.

На улице понятно что — жара,
в такую пору тень мы не покинем.
Единственный колодезный журавль
стоит беспечно, как кутила с кием,

тем более похож, что во дворе
стоит такого здания... (и глупом
соседстве с водокачкой и каре
заросших клумб),
ведь офицерским клубом

когда-то было здание, когда
костел был нов, и к вдохновенным вишням
святые снисходили без труда,
нимало не советуясь с всевышним.

Теперь им дорог каменный уют,
приелся запах ежегодных вишен,
где пчелы неумные снуют,
но общий гуд их тоже неподвижен.

ХОД КОНЕМ

Озерная томится глубина,
тьма с фонарем сыграли дважды в прятки
в соседней даче, выплыли со дна
квадраты окон, рыхлые со сна,
и выстроились в шахматном порядке.

Со стуком открывается ковчег,
шестнадцать пар лежат пятнистым телом,
хозяин с гостем заняты разделом,
гость не «расист», нормальный человек,
однако слабость он питает к белым.

И первый ход, квадратная вода
Е-2 едва дрожит, в нее с черемух
летят соцветья, таюг без следа,
как пепел с сигареты вниз, когда
рука торопится исправить промах.

Отдав задаром бледного ферзя,
гость книгу взял с ажурной этажерки,
пергаментными пальцами скользя
по переплету, зная, что нельзя
так наслаждаться принесеньем жертвы.

И, пешечной походкой семени
по клеткам (поперек и вдоль им
изведен мир, где даже смерть — родня...),
партнер навеки потерял коня
и окружен огромным битым полем.

За шагом шаг. Прогулка по стерне.
Бегом навстречу, или буквой Г
от выстрела, и к финишу по бровке.
...Вот лес толпится на одной ноге...
вот двери комнаты, вот партия в окне
натянута, а лестница в огне,
и ад — не мат в конце многоходовки.

* * *

Я лучше сразу опишу
и тот вечерний свет двоякий,
и ту тропинку к шалашу,
и призрак платья во мраке.

Неторопливый треск цикад,
и пруд, замороженный взглядом,
и цокот брички на закат,
и конную фигуру рядом.

И ливня непролазный хруст,
нас в положении сидячем,
как от избытка равных чувств
мы, слез не замечая, плачем.

Пока есть силы — описать!
Окоп в степи под Перекопом,

как кончился сезон усадеб,
и то, каким неслись галопом...

Стамбул, Париж и...

Но куда?
Ведь сколь веревочка ни вейся...
Ты улыбнешься иногда,
и снова города и веси.

А то, что дальше — со страниц
соскальзывает — отсырели.
Но что же... время... боже... ниц!
Вот куст кладбищенской сирени.

Я опишу... пока еще
ты не пришла и приступ мрака
не завершен,
мир освещен
так удивительно двояко.

ПЛОЩАДЬ В БЕЛОРУССКОМ РАЙЦЕНТРЕ

На площади жара такая, то ли
тоска,

что все равно, как ни греши,
а прихожан и в церкви и в костеле
сегодня поровну (нет ни души).

За самосвалом белый призрак тает,
в киоске медленно считает медь
усталый киоскер, потом, вздохнув, листает
в который раз «Иметь и не иметь».

Идет кавказец, озираясь странно,
и, на плакате у кино «Заря»

увидев скорбный лик Джигарханяна,
вдруг понимает, что приехал зря.

В саду в беседке несколько шляхтянок
старинной в карты заняты игрой,
из чайной лейтенант выводит пьяных,
пустую угрожая кобурой.

Из кузова очистки бросив за борт,
без соли бабка молча яйца ест.
И ничего не скажешь — это запад.
И ничего не возразишь — уезд.

* * *

Недочитанной брошена книга,
мягко скрипнули створки окна,
вдоль тропинки растет земляника,
а речная вода холодна.

Повторится узор светотени
на стремительной пленке волны,

* * *

В вечернем бледнеющем свете
восторг этой жизни таков,
что в зарослях светлые дети,
ловящие майских жуков,
и ветлы, свалившие в воду
волос непосильную кладь,
и тополь, сверкнувший с исподу,
и рябь, охватившая гладь

* * *

Лес в памяти носит зеленой
следы прошлогодней пурги,
карабкается по склону,
растратив стволы на шаги.

В своем непонятном упорстве,
в стремленье на гребень хребта,

на свой лик в шевелящейся пене
я гляжу как бы со стороны.

На хохочущую и живую
плоть, не знающую ни о чем.
Неужели уже существую?
Неужели уже обречен!

речную, и суетливый
порыв воробьиной семьи,
и облачной тени наплывы,
и дух молока от земли —
слилось все в одном дуновенье,
внезапную ясность храня,
что лучшего в жизни мгновенья
не будет уже у меня.

он сложит сосновые кости,
но не добредет никогда.

Но под шелестящею сенью,
ползущей по тверди земной,
надеждою на спасенье
жизнь вновь поделилась со мной.

* * *

Выйду во двор покурить,
в бездну вгляжусь голубую,
между тазов и корыт
место себе облюбую.

В небе плывет самолет,
в бочке вода леденеет.
Гляну в нее: — Что за черт!
Чем-то космическим веет.

Тоже еще, Диоген...
Вспомню про мать — и увижу
реки раздувшихся вен...
Что, из ума, что ли, выжил?!

Стану вокруг дома ходить,
в окнах морозных двоиться.
Если захочется пить,
то на родник — за водицей...

И захлебнусь родником,
всей его стынью звенящей.
Вместе с последним глотком
я протолкну в горле ком.
Светлые слезы струящий,
грянет над городом гром:
— Где твое счастье, пропащий!..

* * *

Белый заяц обрусел.
На речушке лед подтаял.
Я на прелый пенъ присел,
я судьбу свою пытаю.
А вокруг весна в дымах —
молодых, прозрачных, тонких.
Все живут в своих домах:
люди, птицы, даже волки.
Мне достался небоскреб —
вволю солнца, ветра, снега;
из него, хоть пуля в лоб,
не замыслю я побега!
Хлоп в ладоши. Раз! Другой!..
И вприпляс вокруг пенечка.
Мой пенек.

И я здесь свой,
как на внешней вербе почка.
Облюбую свой пенек.
Кой-чего куплю в сельмаге,

может, леший-бедолага
забредет на огонек.
Я скажу ему: «Садись.
Что ты блудишь, мать честная?
Выпьем чарочку за жизнь,
хоть тебя я знать не знаю».
Из-под окаянных век
хитро высверкнул глазенки.
Чокнемся добро и звонко —
леший тоже человек.
У него свой воз идей,
но, в связи с духовным ростом,
лешему среди людей
стало жить весьма непросто.
А какой он был пострел,
помнит только Русь святая...

А что заяц обрусел —
это присказка простая.

* * *

Прорублю окно в опушке леса.
Из дремучей чащи в свой зенит
выпорхнет душа — и бестелесно
облачком к закату полетит.
Чья душа?..

Лесная, брат, лесная...

Я сижу в сторожке лесника.
Спирт глушу. И плачу: «Мать честная,
отчего такая здесь тоска!..»
И в ответ мне бор багровоствольный
прошумит:

«Твоя душа летит...

Хорошо, что горько, брат, и больно.
Возвратится и светло и вольно,
то-то сердце сладко защемит...»

РЫЖИЙ КОТ

Так и жил бы — ветра тише
и травы полночной ниже,
сам в себе и все во мне.
Но всю ночь котище рыжий
ходит по железной крыше
и является во сне.
Голова моя как глобус,
под подушкой дремлет опус,
возлежу на трех китах...
Кот когтистой лапой водит,
усмехается, заводит
разговоры о котах.
Как о самой грустной драме,
говорит о смрадной яме,
о подвалах, чердаках,
что у кошек нынче в моде,
и к утру черту подводит:
«Нет в нас проку,

в дураках.

Ты обычный неудачник,
так себе, поэт чердачный.
Жизнь — мышьяная возня.
И для нас, голубокровых,
ни местечка нет, ни кровя...
Фу! Какой у вас сквозняк!...»
...«Не дури, зеленоглазый!
Брысь, отродье, вон, зараза!
Береги свой рыжий мех!»
... И в ответ мне ветра тише,
и травы полночной ниже —
рассыпающийся смех...
Утро. Сам в себе изверясь,
кипяточком отогреюсь.
Ожил!.. Огляжусь кругом.
Всё на месте — руки, ноги.
Никакой такой мороки.

* * *

Уже наполнен сад
чужими голосами.
Как много лет назад —
опять под небесами
повторены стократ
разрывы тьмы и света,
и веет от оград
почти дыханьем Фета.

* * *

Доверяя ветреной погоде,
ветреною женщиной любим,
размышляю о другой свободе,
что достигну способом любим.

По реке прошлепают колеса.
Пусто на колхозном берегу.
Но ведь я бегу не из колхоза,
от себя, как водится, бегу.

Надувает парус мой эпоха.
Прощевай, голуба-голуба!

Только слышен за окном
голос города большого
после отдыха ночного.
Будем живы — не помрем!

Народила мамка сына.
Народила — не спросила.
Всем на зависть — во какой!
Прощевай, моя деревня!
Снарядила в город древний,
многоглавый, золотой!
...Хоть не мазаны тут медом
тротуары для народа,
жизнь — захватывает дух!

Тут не место пустобрехам,
воробышкам по застрехам.
А недавний свой испуг?...
Смех! Хватил ты, парень, страху.
Надевай ярчей рубаху!
Да потуже затяни
поясок с двужильной силой,
мол, жива еще Россия!
Встань да песню затяни...
Я рукой поглажу глобус,
допишу до точки опус.
А теперь пора, друзья,
к деревеньке неказистой
с воздухом родным и чистым,
с бабкой Улею пречистой
и ее котом речистым, —
а без этого нельзя!
...Только жизнь далече мчится,
жжется, колется, дробится,
и клубится, и двоится,
и выводит вензеля.

Два сердца — там и здесь
горят, не угасая,
и жизнь, как цепь чудес,
блистает, провисая.
И между двух огней,
вливаясь прямо в Млечный,
есть полоса теней.
Она, бесспорно, вечна...

Для начала все-таки неплохо:
палуба, а главное — труба.

А в селе оркестр танго выводит.
Паренек сопливый — всем пример —
девушку веснушчатую водит.
Он благонадежный кавалер.

Я смотрю на капитанский мостик,
голову по-птичьи наклоня.
И с какой-то целью кот бесхвостый
битый час блуждает вокруг меня.

А ЧАЙКА ЛЕТЕЛА

Он шел лукоморьем, босой и небритый,
Земля на закате безлюдно адела.
Заплакано было лицо и открыто.
И чайка над ним, как раздумье, летела.

Скользили по морю великие гости.
И жгли фонари, и музыка гремела.
А следом за ними безвестные кости
Волна выносила. А чайка летела.

На миг исчезала—морозом на солнце,
И снова мелькала, и крыльями пела.

КОЛО

На берегу славянства—и жить, и умирать.
Над темною рекою—колеса зажигать.
Неси меня, стремнина, огнем и синевой
До острова Буяна, до кручи золотой.

Я был травой, и зверем, и облаком, и дном.
Но загорелось коло—я снова стал зерном.
Уйду в густую темень, в круговорот родства,
За кольца вековые, за древние слова...

ИСКРА

На груди цепочку завивает,
Светлый локон крутит на виске.
И гремучим язычком играет
Желтое колечко на руке.

Десять раз оправила косынку,
Яркий шелк на сомкнутых ногах.
А в глазах оставила соринку,
В золотых, как лисий хвост, глазах.

ОДУВАНЧИК

Смертью тянет со двора...
Отоспаться б до утра.
Кто стучится лапой птичьей?
Хлещет темень из ведра.

От ненастья до беды—
Путь любви и путь звезды.
Смерть прищипривает юность,
Заметает все следы.

На постели кочевой,
Здравствуй, свет дрожащий мой!

ИГРА БЕЗ ПОЛЕЙ

Расставляю деревяшек хоровод,
Окину оком дорогие лица.
Одну любил, в другую мог влюбиться,
У третьей помню волосы и рот.

У каждой масть, и ход, и честь своя
В границах от заката до рассвета.
На белый ход нет белого ответа,
Ответит черным милая моя.

И было за облаком слышно, как бьется
И мечется сердце. А чайка летела.

И мертвая соль его кровь напитала.
Все гости промчались, война прогремела.
Морская пехота из пены не встала.
Зарницы блистали. А чайка летела.

Песок размывал он слезами и кровью,
Пути своему он не видел предела—
За облаком белым, за старой любовью,
За темным забвеньем... А чайка летела.

И девицы венками, и воины огнем,
Мы все достигнем моря и острова на нем.
Бегут, бегут по небу колеса в синеве.
Эх, по живой да мертвой, как молодость, траве!

Одна в душе забота—не надо долгих слез.
Не надо звезд и хлеба—хватило бы колес.
Как в зеркало живое, гляжу в лицо огня.
На острове Буяне узнают ли меня?

Я не вижу ног ее точеных
И весенней влаги на губах.
Только искру боли в этих черных,
В этих рыжих, как ручей, глазах.

И за искру ржавого осколка,
Старых слез нетронутую связь,
Становлюсь я перед ярким шелком
На колени в мартовскую грязь...

На истерзанной подушке—
Одуванчик золотой.

Как сдержат тяжелый вздох,
Мой волшебный стебелек?
Чтоб душа не разлетелась
На четверике дорог.

Как сдержат мне вас, года,
Чтоб не сгинуть без следа?
Догорай, моя лучина...
Но гори, моя звезда!

Им жить да жить!.. Покуда не умру,
Я черное и белое мешаю
И после смерти сыну завещаю
Закончить эту вечную игру.

Быть может, он, играя без полей,
Рукою богатырской прикоснется—
И кровь живая в дереве проснется,
Залив румянцем белый снег костей...

Имя выдающегося ученого и мыслителя Михаила Бахтина широко известно и не нуждается в комментариях. Предлагаем вниманию читателей запись лекции, прочитанной Бахтиным в начале 20-х годов перед выпускниками витебской школы, готовившимися стать студентами-филологами. Запись дается в сокращенном виде.

Редколлегия

ЯЗЫК МАЯКОВСКОГО

Основная структура лексики Маяковского — городская. Он хочет быть поэтом улицы. Но рядом с жаргонами у Маяковского встречаются и изысканно-культурные, даже иностранные слова. Так что говор городских низов у него выдержан не во всем языке, а лишь в основной его ориентации. Для классиков лексическая чистота была необходима. Принцип лексической чистоты в прозе отменили лишь натуралисты. Символисты по существу тоже не подвергли язык смешению. Так, язык Сологуба стилистически однороден: он лишь сочетал два пласта — модернизированный и мифологический. Впервые нарушили лексическую чистоту футуристы: для них все слова хороши. Бывали эпохи, когда слова теряли старую лексическую физиономию, но для того, чтобы выработать новую. Футуристы же раз и навсегда порвали с лексической чистотой: преобладает у них уличный жаргон. И ориентируясь на него, Маяковский создает свои новые слова. Низовые пласты языка таят большие возможности роста арг — это необычайно живая область. Правда, она не всегда продуктивна, здесь многое рождается, но многое умирает. Вследствие того, что улица рассасывается, умирает и ее язык.

Что касается синтаксиса, то Маяковский — различными приемами — метрическими, ритмическими, строфикой — достигает особого восприятия фразы. Но здесь приоритет Белого. У Белого — новый синтаксис заставляет по-иному воспринять речь, перестраивает наше сознание. Поэтому многие называют его синтаксис гносеологическим. У Маяковского нет цели создать новое восприятие: он имеет в виду риторическое усиление.

Риторизм пользовался уважением во французской поэзии. В основе поэзии его главного представителя — Беранже лежит национальная, уличная, сатирическая, политическая, риторическая песня. В русскую поэзию внес риторику, главным образом, Державин, известный философским риторизмом, и отчасти Некрасов. Но у них риторизм был заложен потенциально и проявиться не мог, потому что не было для этого подходящих условий. Усиленная

риторика впервые появилась, главным образом, у Маяковского. Таким образом, Маяковский в новой форме, в другой обстановке внес в поэзию риторизм, который до него был очень мало представлен. И в этом его заслуга неоспорима.

Ввиду риторического задания звуковой элемент в поэзии Маяковского может играть лишь служебную роль для тематики. Поэтому его можно обвинить в излишней логичности.

Метафора Маяковского построена не на нюансах, а на основных тонах. Мы должны различать в метафоре основной тон и тона второстепенные. Разность звучания одного и того же тона обусловлена тембром, который создает обертоны. Анненским обертоном был воспринят как тень нежного, тонкого покрова. Маяковский работает грубыми тонами, но это не является недостатком метафоры; о достоинстве метафоры можно судить лишь в зависимости от целей, которым она служит. Маяковскому такая метафора идет. Метафора, построенная не на нюансах, а на основном эмоциональном тоне, характерна для «Песни песней». Маяковский сам заметил свою связь с библейским стилем и внес его в поэму «Война и мир». Свою задачу он сумел разрешить: библейский стиль не вносит диссонанса в поэму...

Очень важная тема Маяковского — вечная тема поэзии — роль поэта в жизни. По мнению Маяковского, поэт должен не только отражать жизнь, но и помогать строить ее. Вообще лефисты понимают искусство как прикладное, которое должно служить жизни, растворяться в жизни. Отсюда соединение тенденций искусства для жизни с беспредметностью. Обычно беспредметность в искусстве появляется как эстетическое стремление. У лефистов впервые возникло сочетание беспредметности со служением жизни. Хотя у Маяковского беспредметности нет, но он благосклонно относится к этому течению, особенно в живописи. Роль поэта Маяковский понимает не как роль пророка. Он должен заботиться не о будущем, а о настоящем, и настоящее понимать как каждодневное.

Публикуемые здесь стихи и проза Николая Алексеевича Клюева отражают основные этапы его творческого пути за четверть века.

В результате архивных разысканий минувшего десятилетия обнаружено немало фактов об активном участии молодого Клюева в революционном движении 1905—1906 гг. В то же время многие его стихи тех лет до сих пор либо мало известны, либо вовсе не найдены. Так, читая воспоминания одного из руководителей петрозаводской большевистской организации А. Копяткевича, мы узнаем, что в 1906 году он получил в подарок от Клюева более шестидесяти революционных стихотворений, но не смог сохранить их. И все же, благодаря Александру Блоку и известному редактору-издателю В. С. Миролюбову, которым Клюев посылал свои стихи в 1907—1908 гг., до наших дней дошли некоторые из утраченных Копяткевичем клюевских текстов.

Одним из них — стихотворением «Ночью дождливою, ночью осеннею...» — открывается наша публикация. По своей тональности оно перекликается со словами из письма Клюева 1906 года, написанного в вытегорской тюрьме и обращенного к содержащимся там же политическим ссыльным: «Преклоняюсь перед вашим страданием» (ЦГА Карельской АССР).

Новый этап в творчестве поэта наступил после Октябрьской революции. В «Дне поэзии — 1981» нам уже доводилось писать о плодотворной деятельности Клюева в Вытегре, где он жил и творил в первые послереволюционные годы. Из произведений этого периода здесь печатаются стихотворения «Железо» и «Памяти товарища Василия Грошникова...» и ораторское выступление поэта «Слово о ценностях народного искусства». Все они впервые появились на страницах газеты «Звезда Вытегры» между ноябрем 1919 г. и январем 1920 г.

Это было тревожное для Советской России время гражданской войны и иностранной интервенции. Одному из «тысяч русской молодежи», своему товарищу по партии, заместителю председателя Вытегорского уездного комитета РКП(б) Василию Александровичу Грошникову, погибшему в бою за дело революции 24 ноября 1919 года, посвятил поэт свое стихотворение «Памяти товарища...», не вошедшее впоследствии ни в один из авторских сборников и до сих пор не известное даже исследователям творчества Клюева.

О стихотворении «Железо» следует сказать особо. Оно начинается так: «Безголовые карлы в железе живут...» Во второй половине 20-х годов эта строка, вырванная из смыслового и временного контекста, обычно использовалась рапповской критикой для политических обвинений поэта. Между тем кровное родство «безголовых карл» и «злого Черномора» из статьи Клюева августа 1919 г. «Порванный невод» очевидно — это владыки капиталистического Запада, делавшие в 1919 году все, чтобы попытаться уничтожить молодое Советское государство. Именно они в мрачных тонах обрисованы Клюевым в первой части «Железа».

Вторая его часть является антитезой первой — в ней воспевается мирное «железо», помогающее созидательному труду нового общества, тому труду, в котором поэт черпал свое вдохновенье:

Допросить бы мотыгу и шахт глубину,
Где предсердие руд, у металла гортань,
Чтобы песня цвела, как в апреле герань,
Чтобы млечным огнем серебрилась строка...

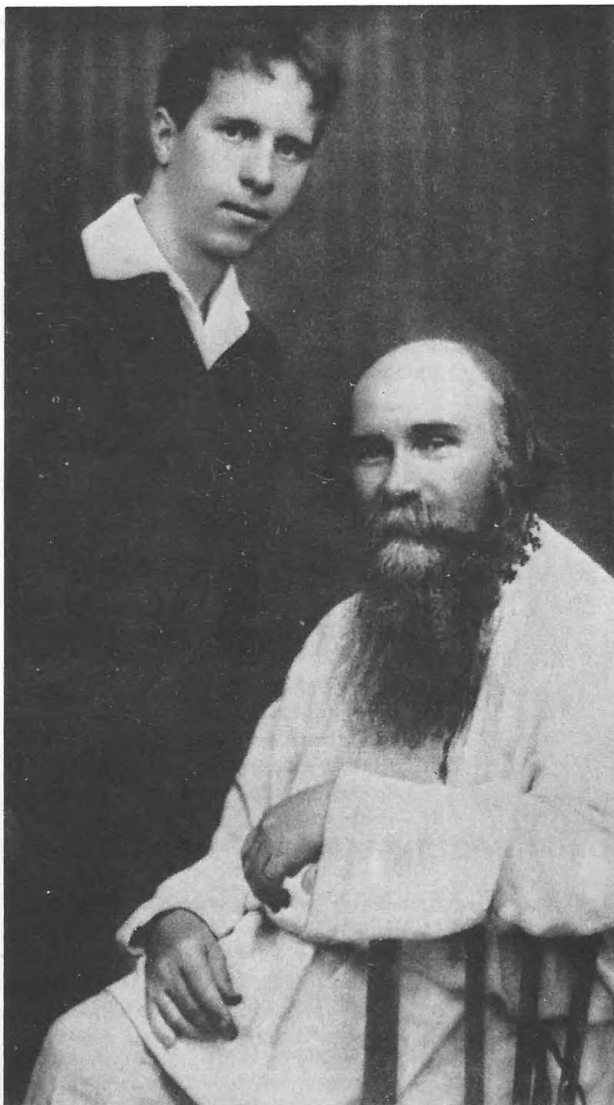
14 января 1920 года Клюев выступил на съезде учителей Вытегорского уезда с программным «Словом о ценностях народного искусства», в котором прозорливо говорил о непреходящей ценности искусства Древней Руси и о его большом значении для культуры нового общества.

Эта мысль во многом определила художественную практику Клюева конца 20-х — начала 30-х годов, в частности, тематику его эпических поэм, среди которых центральное место занимает поэма «Погорельщина» (другое название «Сиговый Лоб»). Она создавалась в 1927—1928 годах; одно из первых авторских публичных чтений ее состоялось в январе 1929 года в Ленинградском Доме писателей. В статье

«Поэма о древнем Выге» ее первый исследователь член-корреспондент АН СССР В. Г. Базанов писал: «Поэма — доброй своей частью историческая, обращенная в русское средневековье». Мы публикуем первую часть поэмы, в которой, по словам Базанова, «древний Выг показан в пору его расцвета, когда там возникали промыслы, создавались художественные ремесла, собирались старинные рукописи и книги».

Завершает нашу публикацию одно из наиболее ярких стихотворений Клюева начала 30-х годов «Мы старше стали на пятнадцать...».

Тексты печатаются по следующим источникам: «Ночью дождливою, ночью осеннею...» — список, сверенный с автографом (ИРЛИ, ф. 185); «Памяти товарища Василия Грошникова...» — газета «Звезда Вытегры», 1919, № 110 (27 дек.); «Железо» — текст из «Звезды Вытегры» (1919, № 92, 15 ноября), сверенный с автографом (ЦГАЛИ); «Слово о ценностях народного искусства» — «Звезда Вытегры» (1920, № 12, 29 января); отрывок из «Погорельщины» — список, сверенный с машинописными копиями поэмы (ЦГАЛИ, ГЛМ, ИРЛИ); «Мы старше стали на пятнадцать...» — список, сверенный с автографом (ИМЛИ, ф. 178).



Н. А. Клюев (сидит)
и художник А. Н. Яр-Кравченко

* * *

Ночью дождливую, ночью осеннюю,
В хмурую, жуткую тьму,
Полям, проселком, глухою деревню
Страшно идти одному.
Поле, как море, недвижно застывшее,
Нет ему имени, прозвища нет.
Лужи заплывшие, ветлы поникшие
Кажут пути незнакомого след.
Выйдешь к селенью, так родственно близкому,
Тихо, как в склепе забытом, окрест.
Изредка, звякая, по мосту низкому
Мерно проедет казачий развезд.
За угол спрячешься тенью пугливую,
Слышишь, как мать за стеной говорит:

«Спи, мое дитяtko, ночью дождливую
Только нечистая сила не спит.
По мосту едет толпою суровую,
Звякая, ропщет дозором во мгле,
Где она ступит, там каплей багровою,
Кровью останется след на земле».
Снова все тихо... С надеждой упорною,
Брови нахмуря, глядишь на восток,
Ждешь, не сверкнет ли за тьмою бездонною
Первых лучей золотой огонек.
Вместе с зарею, пойдешь стороною,
Беглый преступник, как серая тень,—
Полям, проселком, опушкой лесною—
Дальше от зорких, чужих деревень.

<1907>

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА ВАСИЛИЯ ГРОШНИКОВА, УБИТОГО НА НАРВСКОМ ФРОНТЕ

Он явился мне в образе отрока, но
высок и чело крылато. Голос же его,
как крик бекасов на заре отлетной; в
двадцатый день декабря. Красному ду-
ху его посвящаю стих сей

Придут голубые святки,
С вьюгой, с колким окном,
И заря раскинет палатки,
Отороченные бобром.

Приплетется бабушка в гости
С инеем на бровях,
Сказать о старом погосте,
О паюсных пирогах,

О новой протопопы рясе...
Только все украдкой поймут,
Что кутью убитому Васе
От земли метели несут;

Что кутя на маминых слезках,
Кровинки—сладкий изюм...
В подворотне зальется Розка
На чужой, многокрылый шум.

И войдет в боковушу Вася,
Бабка всхлипнет: «Аминь, аминь...»
На сугробном, блестящем атласе
Панихидная, злая синь.

Будут святки под дальней Нарвой,
Звездотечная Коляда...
Разбудить ли бранной литаврой
Опочившего навсегда?

Дорогой товарищ Василий,
Солнцекудрой коммуны сын,
По тебе Повенец и Чили
Испекут поминальный блин.

И опарою канув в кадку,
Мироздания выбродит кус,
Гималаи пойдут вприсядку,
Заломив гранитный картуз.

Вотяки, мингрельцы и мавры
В песноликий сольются луч,
Над полями кровавой Нарвы
Заалееет Дерево Муч.

По плодам, по ясному цвету
Мы узнаем святую кровь...
Милый братец, прости поэту
К многоцветным строчкам любовь!

Декабрь 1919

СЛОВО О ЦЕННОСТЯХ НАРОДНОГО ИСКУССТВА

Думают, подозревают ли олончане о той великой, носящей в себе элементы вечности, культуре, среди которой живут?

Знают ли, что наш своеобразный бытовой орнамент: все эти коньки на крышах, голуби на крыльцах домов, петухи на ставнях окон—символы, простые, но изначально глубокие, понимания олонецким мужиком мироздания?

Чует ли учительство, по самому положению своему являющееся разъяснителем ценностей, чувствует ли оно во всей окружающей, подчас ничего не

говорящей непосвященному, обстановке великие непреходящие ценности искусства?

Искусство, подлинное искусство, во всем: и в своеобразном узоре наших изб («На кровле конек есть знак молчаливый, что путь так далек»), и в архитектуре древних часовен, чей луковичный стиль говорит о горении человеческих душ, подымающихся в вечном искании правды к небу.

Как жалки и бессодержательны все наши спектакли-танцульки перед испокон идущей в народе «внешкольной работой», великим всенародным, наи-

более богатым эмоциями, коллективным театральным действием, где каждый зритель — актер, действием «почитания мощей».

Искусство, не понятое еще миром, но уже открытое искусство, и в иконописи, древней русской иконописи, которой так богат Олонецкий край.

Надо только понять его. Надо уметь в образах неизвестных забытых мастеров найти проблему бытия, потайный их смысл, надо уметь оценить точность и старательность работы художника.

Надо быть повнимательней ко всем этим ценно-

стям, и тогда станет ясным, что в Советской Руси, где правда должна стать фактом жизни, должны признать великое значение культуры, порожденной тягой к небу, отвращением к лжи и мещанству, должны признать ее связь с культурой Советов<...>

Здесь вокруг нас на каждом шагу спутниками нашей жизни являются великие облагораживающие душу ценности.

Надо их заметить, понять, полюбить, надо при-
вить культ к ним.

Январь 1920

ЖЕЛЕЗО

Безголовые карлы в железе живут,
Заплетают тенета и саваны ткнут,
Пишут свиток тоски смертоносным пером,
Лист убийства за черным измены листом.
Шелест свитка и скрежет зубила-пера
Чуют Сон и Раздумье, Дремота-сестра...
Оттого в мире темень, глухая зима,
Что вселенские плечи болят от ярма,
От железной пяты безголовых владык,
Что на зори плетут власяничный башлык,
Плащаницу уныния, скуки покров,
Невод тусклых дождей и весну без цветов.

Громоносные духи в железе живут,
Мощь с Ударом, с Упругостью девственный Труд,
Непомерна их ласка и брачная ночь...

<ИЗ ПОЭМЫ «ПОГОРЕЛЫЩИНА»>

Наша деревня — Сигóвый Лоб
Стоит у лесных и озерных троп,
Где губы морские, олень да остяк,
На тысячу верст ягелёвый желтак.
Сигóвец же ярь и сосновая зель,
Где слушают зори медвежью свирель,
Как рыба чешуйка, свирель та легка,
Баюкает сказку и сны рыбака.
За неводом сон — лебединый затон,
Там яйца в пуху и кувшинковый звон,
Лосинная шерсть у совики в дупле,
Туда не плыву я на певчем весле!

Порато баско весной в Сиговце,
По белым избам на рыбьем солнце!
А рыбае солнце — налимя майка,
Его заманит в чулан хозяйка,
Лишь дверь стукнет — оно на прялке
И с веретенцем играет в салки.
Арина баба на пряжу дюжа,
Соткет из солнца порты для мужа,
По ткани свекор, чтоб песне длиться,
Доской резною набьет копытца,
Опосле репки, следцы гагарьи...
Набойки хватит Олёхе, Дарье,
На новоселье и на поминки...
У наших девок пестры ширинки,
У Степаниды, веселой Насти
В коклюшках кони живых брыкастей,
Золотогровы, огнекопытны,
Пьют дым плетёный и зоблют ситный.
У Прони скатерть синей Онега, —
По зыби едет луны телега,

Человеческий род до объятий охоч,
И горячие перси влюбленных машин
Для возжаждавших стран словно влага долин:
Из магнитных ложесн огневой баобаб
Ловит звездных сорок краснолесьями лап.
И стрекошут сороки: «В плену мы, в плену...»
Допросить бы мотыгу и шахт глубину,
Где предсердие руд, у металла гортань,
Чтобы песня цвела, как в апреле герань,
Чтобы млечным огнем серебрилась строка,
Как в плотичные токи лесная река,
И суровый шахтер по излучам стихов
Наловил бы певучих гагар и бобров.

1919

Кит-рыба плещет, и яро в нем
Пророк Иона грозит крестом.

Резчик Олёха — лесное чудо,
Глаза — два гуся, надгубье рудо,
Повысек птицу с лицом девичьим,
Уста закланы потайным кличем.
Когда Олёха тесал долотцем
Сосцы у птицы, прошел Сиговцем
Медведь матерый, на шее гривна,
В зубах же книга злата и дивна.
Запововели у древа щеки,
И голос хлябкий, как плеск осоки,
Резчик учуял: «Я — Алконост,
Из глаз гусиных напьюся слез!»

Иконник Павел — насельник давний
Из Мстёр великих, отец Дубравне,
Так кличет радость язык рыбакий...
У Павла ошупь и глаз нерпячий, —
Как нерпе сельди во мгле соленой,
Так духовидцу обряд иконный.
Бакан и умбра, лазорь с синелью
Сорочьей лапкой цветут под елью,
Червлец, зарянку, огонь купинный
По косогорам прядут рябины.
Доска от сердца сосны кондовой —
Иконописцу, как сот медовый,
Кадит фиалкой, и дух лесной
В сосновых жилах гудит пчелой.

Явление Иконы — прилет журавля, —
Едва прозвонит жаворонком земля,

Смиренному Павлу в персты и в зрачки
 Слетятся с павлинами радуг полки,
 Чтоб в роще ресниц, в лукоморьях ногтей
 Повывесть птенцов — голубых лебедей,—
 Их плески и трубы с лазурным пером
 Слывут по Сиговцу «доличным письмом».
 «Виденье Лица» богомазы берут
 То с хвойных потемок, где теплится трут,
 То с глуби озер, где ткачиха-луна
 За кросном янтарным грустит у окна.
 Егорию с селезня пишется конь,
 Миколу — с крещатого клена фелонь,
 Успение — с перышек горлиц в дупле,
 Когда молотба и покой на селе.
 Распятие — с редьки: как гвозди креста,
 Так редечный сок опалает уста.
 Но краше и трепетней зографу зреть

На птичьих загонах гусиную сеть,
 Лукавые мёрды и петли ремней
 Для тысячи белых кувшинковых шей.
 То Образ Суда, и метелица крыл —
 Тень мира сего от сосцов до могил.
 Студеная Кола, Поволжье и Дон
 Тверды не железом, а воском икон.
 Гончарное дело прехитро зело.
 Им славится Вятка, Опошня село;
 Цветет Украина румяным горшком,
 А Вятка кунганом, ребячьим коньком.
 Сиговец же Андому знает реку,
 Там в крынках кукушка ку-ку да ку-ку,
 Журавль-рукомойник курлы да курлы,
 И по сту годов доможирят котлы...

1927-1928

ПРИМЕЧАНИЯ АВТОРА К «ПОГОРЕЛЬЩИНЕ»

Порато баско — весьма прекрасно.
 Майка — рыбы молоки.
 Дюжий — преисполненный крепости, силы и исключительных качеств.
 Набойка — ткань, набитая в узор резной доской, смоченной жидким раствором растительной краски того или иного цвета.
 Коклюшки — палочки с головками, употребляемые при плетении кружев.
 Заполовели — вспыхнули румянцем или заревым огнем (яблоня в цвету, розан, мак и всякий цвет малиновой нежной окраски).
 Мстёры — знаменитое по иконописанию село Владимирской губернии Вязниковского уезда.
 Кондовый — выросший на песчаном сухом грунте, подобный сплаву красной меди.
 Доличное письмо — у иконописцев все, что пишется раньше лица, — палаты, деревья, горы, тварь... После же всего пишется Виденье лица.
 Кросна — ткацкий станок, непременно украшенный резьбой и раскраской, иногда золоченый.
 Мёрды — конусообразные плетушки для загона рыбы. Приготавливаются из ивовых тонких прутьев.

* * *

Мы старше стали на пятнадцать
 Ржавых осеней, вороних зим,
 А давно ль мятежило в Нарым
 Нашу юность от домашних пятниц?

Обнищали липы за окном!
 На костыль оперся дряблый дом.
 Мыши бы теперь да выюга —
 Вышла б философия досуга.

За годами грамотным я стал,
 И бубню Верлена по-французски.
 Только жаворонок белорусский
 С легковейной ласточкой калужской
 Перстнем стали, где смежил опал
 Воды бледные у бледных скал.

Где же петухи на полотенцах,
 Идолище — самовар?!
 «Ах, вы сени» обернулись в бар,
 Жигули, лазурный Светлояр
 Ходят, неприкаянные, в немцах!
 А в решетчатых кленовых сенцах,
 Как судьба, поет стальной комар.

Про него не будет послесловья,—
 Есть комарье жало, боль и зуд,
 Я не сталь, а хвойный изумруд.
 Из березовой коры сосуд,
 Налитый густой мужицкой кровью,
 И, по пяди косы, Парасковью
 На базар не выволчу, как плут!

Ах, она болезная, родная,
 Ста пятидесяти миллионов мать,
 Про нее не хватит рассказать
 Ни степей моздокских, ни Китая.
 Только травы северного мая
 Знают девичью любовь и стать.

Я — Прасковьян сын, из всех любимых,
 С лебединым выводком в зрачках,
 С заячьей порошей в волосах,
 Правлю первопуток в сталь и дымы,
 Кто допрежде, принимайте Клима,
 Я — Прасковьян сын, цветок озимый!

Голос мой — с купавой можжевель,
 Я резной, мудреный журавель,
 На заедку поклевал Верлена,
 Мылил перья океанской пеной,
 Подивись же на меня, Европа,—
 Я — кошница с перлами Антропа!

Мы моложе стали на пятнадцать
 Ярких осеней, каленых зим,
 И румяным листопадом чтим
 Деда снежного, глухой Нарым,
 С вереницей внушек — серых пятниц!

(1931 или 1932)

Предисловие и публикация
 Сергея Субботина

Не все читатели, видимо, знают, что автор повестей «Сокровенный человек», «Епифанские шлюзы», «Город Градов», рассказов «Родина электричества», «Мусорный ветер», «Река Потудань» начинал со стихов. Некоторые из них публиковались в 1918—1921 годах в воронежских газетах: «Воронежская беднота», «Воронежская Коммуна», «Известия», «Красная Деревня», в журнале «Железный путь».

В 1922 году в Краснодаре вышел первый и единственный сборник стихов Платонова «Голубая Глубина», куда вошли стихи, написанные поэтом в ранней юности. С тех пор этот сборник ни разу не переиздавался и давно стал библиографической редкостью.

По воспоминаниям вдовы поэта М. А. Платоновой, сам автор «Голубой Глубины» относился к своим стихам как к неизбежным грехам юности. Но мы-то знаем, что Поэт никогда не умирал в Платонове-прозаике, всегда жил в этом художнике напряженной одухотворенной жизнью. Вот почему оригинальные платоновские стихи представляют не только узкий историко-литературный интерес.

Примечателен эпиграф к книжке «Голубая Глубина»:

Жизнь — далекая дорога,
Неустанный путник я.
И у неба голубого
Я любимое дитя.

Сегодня во многом по-новому раскрывается оригинальность философского мышления Платонова, вселенский, космический характер его образов и чувств, взаимосвязь живого и мертвого в природе, сближающие его поэзию с прозрениями К. Циолковского, с творчеством современников — В. Хлебникова, Н. Заболоцкого и конечно же В. Маяковского.

Предлагаем читателю перечитать стихи поэта, взятые нами из книги «Голубая Глубина».

И. РОСТОВЦЕВА

ПУТЬ В ГОРЫ

Поля бурьяном зарастали,
И зверь по чащам ликовал.
И мы пришли — зубцами стали
Плуг рвы и степи запахал.

Живое солнце в красных жилах
Дробило землю на куски,

* * *

Познаны нами тайны вселенной,
В душах тревога молчит.
Мы осушили небесные бездны,
Солнце слова говорит.

Полон восторга пламенный город —
Люди, машины, цветы...
Каждый сегодня богом быть может,
Солице над каждым горит.

Отцы ворочались в могилах,
Колосья вспухли, как соски.

Мир раскаленный был враждебен,
Спала машина в недрах руд.
Но человек родился гневен —
Его путь в горы долог, крут.

Медный гудок заревел над планетой,
Пространства, подъемы нас ждут.
В жизни бессмертной, как в песне неспетой,
Звезды звенят и поют.

Солнце мы завтра расплавим,
Выше его перекинем мосты.
Как песком, мы мирами играем,
Песню мы слышим тихой звезды.

СУДЬБА

В звездной безутешной смертной тишине
После ветра, после птицы мы родились на земле...
Чуть в неуловимой тихой вышине
Радуетса-стонет песня на селе.

Вечность мы обнимем вечером рукою,
Девушку испуганную, утреннюю тень.

* * *

Мы пройдем тебя до края,
Небо, тайна голубая.
Мы любовь, мы — мысль вселенной,
Звезд зовущих странник пленный.

Выйдет солнце громкое над большой рекою,
Никогда не смеркнется наш великий день.

Музыка на празднике гибелью гремит:
Кинулись товарищи в улицы на бой.
Далеко, за гибелью, спасенье летит
С пополам разрубленной, конченой судьбой.

Мы идем в темницы тайные,
Там красавица печальная
Не дождется часа светлого,
Будто песнь, никем не спетая.

ИЗ ПОЭМЫ «МАРИЯ»

В моем сердце песня вечная
И вселенная в глазах,
Кровь поет по телу речкою,
Ветер в тихих волосах.

Ночью тайно поцелует
В лоб горячая звезда
И к утру меня полюбят
Без надежды, навсегда.

Голубая песня песней
Ладит с думою моей,

МАТЬ

Руками теплыми до неба,
До неба тянется земля.
Глядит и дышит в поле верба,
Она звезду с утра ждала.

И звезды капают слезами
На грудь открытую земли,
И смотрят тихими глазами,
Куда дороги все ушли.

А дорога—неизвестней,
В этом мире я ничей.

Я родня траве и зверю
И сгорающей звезде,
Твоему дыханью верю
И вечерней высоте.

Я не мудрый, а влюбленный,
Не надеюсь, а молю.
Я теперь за все прощенный,
Я не знаю, а люблю.

И снится, думается дума,
Дыханью каждому одна.
Леса бормочутся без шума,
Не наглядится тишина.

Земля посматривает, чует,
Бессонная родная мать,
До утра белого не будет
Ребенок грудь ее сосать.



Николай Заболоцкий 1903—1958

7 мая 1983 года исполняется 80 лет со дня рождения Николая Алексеевича Заболоцкого, а 14 октября—25 лет со дня его смерти.

В жизни Николая Алексеевича был до сих пор мало известный период работы на Дальнем Востоке, в Алтайском крае, в Казахстане. Литературой он в те годы (1939—1944) не занимался, работал на строительстве нефтепровода, первых, еще довоенных километров БАМа, железнодорожной ветки в степях Алтайского края ... Был знаком ему и физический труд на лесоповалах и в каменных карьерах, и труд техника-чертежника, и труд строителя.

Во время Великой Отечественной войны он писал жене: «Для всего народа эти годы были очень тяжелыми. Посмотри, сколько вокруг людей, потерявших своих близких. Они не виноваты в этом. Мы с тобой тоже много пережили. Но мимо ли нас прошла эта жизнь! Когда ты очнешься, отдохнешь, разберешься в своих мыслях и чувствах,—ты поймешь, что не даром прошли эти годы; они не только выматывали твои силы, но и в то же время обогащали тебя, твою душу,—и она, хотя и израненная,—будет потом крепче, спокойнее и мудрее, чем была прежде». Эти слова, обращенные к жене в 1944 г., поэт, безусловно, относил и к самому себе.

Несмотря на тяжелые условия жизни и крайнюю занятость, Заболоцкий старался сохранить свою внутреннюю целостность и преемственность мысли, которая была неизменным орудием его творчества.

Натурфилософские взгляды поэта соизмерялись с жизнью и развивались порой даже независимо от его воли. Обострилось внимание к людям, к их душевным качествам и судьбам. Приобретенный опыт не мог не сказаться на послевоенном творчестве Заболоцкого. Примечательной новой его особенностью стало поэтическое изучение духовно-нравственных взаимоотношений человека и природы. На одном из полюсов этой проблемы определился человек с его душевным миром, на другом—великая вдохновляющая и одухотворяющая сила природы. Сквозь призму представлений о месте и роли человека во всей совокупности природных явлений рассматривалась и великая созидатель-

ная деятельность человека. Даже в самом обыденном тяжелом труде поэт умел слушать, как он писал, «стремительный шум созидания, столь знакомый любому из нас».

В послевоенных стихотворениях Заболоцкого все отчетливее стала просматриваться тема психологического единства человека и природы. Впрочем, эта тема была не новой для поэта — еще в стихотворениях 20-х годов он писал о духовной деградации человека, оторванного от естественного существования в согласии с природой. Теперь в поэзии Заболоцкого человек обрел живую душу, которая зазвучала в резонанс с душой природы. Ощущение такого резонанса было хорошо знакомо самому поэту. В письме к Н. Л. Степанову из Алтайского края он писал: «Как-нибудь соберусь духом и напишу тебе особое письмо — о природе, которую я видел на Дальнем Востоке и здесь. Она на меня производит такое впечатление, что иной раз я весь перерождаюсь, оставаясь с ней наедине. Эта могучая и мудрая сила таким живительным потоком льется в душу, что сам я в эти минуты делаюсь другим человеком. О, Судьба знает, что она делает».

Подобные настроения, возникающие от общения с окружающим миром, угадываются и в публикуемых здесь письмах Заболоцкого. Заметим, что все животные и растения, упомянутые в первом письме, найдут свое место в будущих стихах Заболоцкого. Вспомним: «Тяжелый жук, летающий скачками, влачил, как шлейф, тяжелые усы», «В стране, где кедром светят метеоры, где молится березам бурундук» («Творцы дорог»), «Там дятлы, качаясь на дубе сыром, с утра вырубая своим топором ...» («Утро»), «Скопление синиц здесь свищет на рассвете...» («Над морем»).

Два письма и стихотворение «В новогоднюю ночь» обращены к жене поэта Екатерине Васильевне Заболоцкой. Семью Заболоцкого война застала в Ленинграде. Затем последовали бомбардировки и обстрелы города, блокада, голод, эвакуация по льду Ладожского озера. После эвакуации Е. В. Заболоцкая с детьми некоторое время жила в городе детства поэта в Уржуме, а в конце 1944 г. приехала к Николаю Алексеевичу в Алтайский край. Кое-что о блокадной жизни семьи Заболоцких узнал из писем жены. После встречи в Кулундинских степях длинными зимними вечерами поэт слушал уже подробные рассказы Екатерины Васильевны о ее злоключениях. Под впечатлением этих рассказов в начале 1947 года в поселке Переделькино под Москвой Заболоцкий написал стихотворение «В новогоднюю ночь».

Стихотворение это поэт не включил в итоговый свод своих произведений, но именно оно открыло новое направление в лирике Заболоцкого, иногда именуемое «некрасовским». За «Новогодней ночью» последовали «Жена», «Прохожий», «Неудачник», «В кино» и другие произведения, в которых поэт разрабатывал тему «душа и судьба человека». Тему, которая выкристаллизовалась из обстоятельств личной жизни Николая Алексеевича и предопределилась уже словами одного из публикуемых писем: «живая человеческая душа теперь осталась единственно ценной». Стоит ли говорить, что в стихотворении «В новогоднюю ночь» ценность человеческой души поэт соизмерял с высоким историческим призванием женщины и с трагическими страданиями жизни всего народа?

Письма и стихотворение публикуются с незначительными сокращениями.

Никита Заболоцкий

*Сыну Никите
10 января 1940 г.*

Мой милый мальчик!

Поздравляю тебя с днем твоего рождения, крепко целую и обнимаю тебя... Я, мой милый, живу далеко-далеко от тебя. Здесь на севере еще совсем недавно был один сплошной лес — тайга, да стояли невысокие горы — сопки. Людей почти совсем не было. Одни дикие звери бродили кругом. Теперь в этот дикий и безлюдный край пришли люди; они строят города, заводы, рубят лес, сеют хлеб и добывают из земли полезные металлы. Скоро этот край будет удобным для жизни.

Летом здесь очень интересно. На горах — сопках растут большие яркие цветы вроде пионов. Они совсем дикие. В воздухе летают жуки и мухи, каких у нас в Ленинграде нет. Очень много жуков-усачей с длинными-длинными усами. Сам жук ростом сантиметра 4, а усы сантиметров 12. У этого жука такая сила, что когда он вцепится лапами в кепку, а его самого поднимают за спинку, то он тащит кепку вместе с собой.

Осенью мы поймали бурундука — вроде маленькой белочки — и посадили его в клетку. Он несколько месяцев жил с нами и совсем было привык к нам. Недавно он сбежал. Это очень милый, приятный

зверушка, он рыжевато-серый — с полосками. Особенно приятен он, когда сидит на задних лапках, а передними достает из коробки горох и отправляет в рот.

Здесь много дятлов. Недавно один дятел прожил у нас в клетке несколько дней. Питаются дятлы гусеницами, которых достают из деревьев. У дятла очень крепкий клюв, он стучит им и легко разрушает древесину. В течение дня наш дятел перебил клювом толстую палку. Дятла мы выпустили.

Ловили мы и синиц, это — веселые, приятные птицы...

Зимой здесь очень холодно; много холодней, чем в Ленинграде.

Вот, мой милый, какое длинное письмо я тебе написал. Теперь мне пора спать. До свиданья, мой сынок. Будь здоров, люби и слушайся мамочку. Когда папа вернется домой, он крепко поцелует тебя.

Пиши мне письма и напоминай мамочке, чтобы она писала почаще.

Твой папа

Н. Заболоцкий

Е. В. Заболоцкой.
18 февраля 1944 г.
Алтайский край, ст. Кулунда, село Михайловское

Моя милая Катя! Сегодня получил два январских твои письма и перед этим — открытку. Друг мой милый, ведь это первые письма, из которых я узнаю, что было с вами в Ленинграде до эвакуации. Сердце дрожит за вас, хоть и прошло все это и стало прошлым. Сама судьба сберегла вас, мои родные, и уж не хочу я больше роптать на нее, раз приключилось это чудо. Ах вы, мои маленькие герои, сколько вам пришлось вынести и пережить! Да, Катя, необычайная жизнь выпала на долю нам и что-то еще впереди будет...

Друг мой, стоит ли тут говорить о библиотеке, о костюмах! Тысячу раз права ты, когда продала книги, и вообще — может быть наибольшая польза, которую могли дать мои книги, — это та польза, которую ты получила от продажи их. Я совершенно серьезно говорю это. Ибо мудрость книг — вокруг нас, а жизнь наша и детей наших — одна-единственная и не повторяется больше. И зачем ты хранишь мой черный костюм, глупенькая? На что он мне? Что я, хуже буду без него? Продай при первом удобном случае, и пусть дети съедят лишний кусочек. Видит бог, никогда не услышишь ты от меня ничего похожего на упрек, — т. к. в жизни ты, по всей видимости, поступаешь умнее и лучше меня, и глубоко верю, что судьба еще вознаградит тебя за все лишения и беды, которые перенесла и переносишь ты, моя милая. Я кажется тоже стал немного

другой; по крайней мере уже не привлекают меня в жизни ни костюмы, ни деньги, и живая человеческая душа теперь осталась единственно ценной.

Я все же так плохо знаю, что творится в жизни, что боюсь что-либо советовать тебе о переезде в Ленинград. Советую тебе крепко списаться с Колей Степановым и подождать, пока он переедет первый и сообщит тебе. Я был бы глубоко счастлив, если бы жизнь там быстро наладилась и вы все, мои дорогие, снова съехались на старые места. Представляю, что тебе было бы там душевно легче с друзьями. Но смотри сама. Может быть женщинам и детям еще рановато выезжать. Коля тебе не посоветует дурного. Спроси у него...

От Коли из Москвы получил небольшое письмецо, на которое послал ответ заказным и теперь жду нового письма.

Если у тебя когда-ниб. выпадет минутка свободная, напиши мне поподробнее о том, что было с вами в Ленинграде и как вы эвакуировались. В те времена писем от вас не было, не до писем было в те времена.

Целую тебя, родная, целую Никитушку, Наташеньку. Душа моя всегда с вами. Все надеюсь и жду нашей встречи.

Пиши, Катя. Письма твои — радость для меня...

Твой Н. Заболоцкий

Е. В. Заболоцкой.
30 марта 1944 года
Алтайский край, ст. Кулунда, село Михайловское

Милая Катя!..

Получил на днях от Коли из Москвы письмо. Ю. Н. Тынянов умер после долгих и тяжких страданий. Эта смерть очень огорчила меня и я несколько дней хожу под тяжелым впечатлением этой утраты. Юрий Н. был всегда так внимателен ко мне с первых шагов моей лит. работы, и я был ему во многом обязан.

Коля собирается в Ленинград недели на две, чтобы устроить там свои дела. Видимо по возвращении он поможет тебе и посоветует относительно переезда. Сам он и семья не торопятся переезжать и проживут в Москве может быть с полгода.

Коля все ободряет меня. Сам много работает и собирается писать докторскую диссертацию. Живут, судя по его словам, сносно.

Здесь весна и я давным-давно хожу в одной телогрейке. Когда после работы выходишь из этих прокуренных комнат и когда сладкий воздух весны

пахнет в лицо — так захочется жить, работать, писать... И уж ничего не страшно — у ног природы и счастье, и покой, и мысль.

Не знаю уж, друг мой, когда и как окончатся наши приключения. После твоего письма как-то особенно мучительно стало жаль детей. Им нужен отец...

У тебя наверно все работа и работа, и уже пора думать об огороде. Как вы будете справляться, милые вы мои. Повторяю — костюмы мои ты в любое время продавай и не думай их хранить. Вероятно нужны будут деньги на огород, семена и пр.

Ну вот и все. Каждый вечер мы жадно слушаем радио, и хорошие вести с фронта ободряют и вселяют надежды.

До свидания. Крепко целую и обнимаю тебя и детей. Будьте здоровы, дорогие мои, и пишите мне чаще. Мартовских писем совсем от вас не было.

Твой Н. Заболоцкий

В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ

Не кривить душою, не сгибаться,
Что ни день — в дороге да в пути...
Как ни кинь, а надобно признаться:
Жизнь прожить — не поле перейти.

Наши окна снегом залепило,
Еле светит лампы полукруг.
Ты о чем сегодня загрустила,
Ты о чем задумалась, мой друг?

Вспомни, как, бывало, в Ленинграде
С маленьким ребенком на груди
Ты спешила, бедствуя в блокаде,
Сквозь огонь, что рвался впереди.

Смертную испытывая муку,
Сын стремглав бежал перед тобой.
Но взяла ты мальчика за руку,
И пошли вы рядом за толпой.

О великой памяти чести,
Ты сказала, любящая мать:
«Умирать, мой милый, надо вместе,
Если неизбежно умирать.

Или, помнишь,—в страшный день бомбежки,
Проводив в убежище детей,
Ты несла еды последней крошки
Для соседки немощной своей.

Гордая огромная старуха,
Страшная, как высохший скелет,
Воплощеньем огненного духа
Для тебя была на склоне лет...

И с тех пор во всех тревогах жизни,
Весела, спокойна и ровна,
Чем могла служила ты отчизне,
Чтоб в беде не сгинула она.

Сколько вас, прекрасных русских женщин,
Отдавало жизнь за Ленинград!
Облик ваш веками нам завещан,
Но теперь украшен он стократ.

Если б солнца не было на небе,
Вы бы солнцем стали для людей,
Чтобы, век не думая о хлебе,
Зажигать нас верою своей!

Как давно все это пережито...
Новый год стучится у крыльца.
Пусть войдет он, дверь у нас открыта,
Пусть войдет и длится без конца.

Только б нам не потерять друг друга,
Только б нам не ослабеть в пути...
С Новым годом, милая подруга!
Жизнь прожить — не поле перейти.

Рюрик Ивнев *1891—1981*

ЛЕНИН

Хоть верь в могущество судьбы.
Хоть отрицай ее значенье.
Но пробил час освобожденья,—
Россия встала на дыбы.

Среди осколков самовластья,
Под вой неистовых врагов,
Не для себя мы ищем счастья,
А для народов и веков.

Нам путь указывает Ленин.
И с верой пламенной в него
Мы для грядущих поколений
Уже готовим торжество.

2 ноября 1918

* * *

Все забыть—и прошлые года,
И тот мир, который был безбрежным,
Я тебя не видел никогда
Вот таким особенным и нежным.

Что душе сокровища веков?
Даже солнца для нее не стало.

* * *

Теряю самое простое
И самое необходимое,—
Воспоминание густое,
Ничем не растворимое.

И только силуэты призрачные
Из дальних странствий выплывают,
Закатным солнцем будто вызолоченные,
Как дверцы караван-сарая.

И только что-то чуть знакомое,
Как запах ветерка соснового,
Порой влетит, узнав, что дома я,
И запоем во мне по-новому.

1970

Точно кисть голландских мастеров
Для меня—тебя нарисовала.

Этот дар как таинство небес,
Может быть, таинственнее даже,
Этот дар одно из тех чудес,
О котором смертным не расскажешь.

1980

МАРИЯ

Серебристое имя Марии
Окариной звучит под горой.
Серебристое имя Марии,
Как жемчужин летающих рой...

Серебристое имя Марии
Мне бессмертной звездой горит.
Серебристое имя Марии
Мой висок сединой серебит.

1923

ОТЛИЧНОЙ ОТ ДРУГИХ

Ты совсем не похожа на женщин других:
У тебя в меру длинные платья,

У тебя выразительный, сдержанный стих
И выскальзыванье из объятий.

Ты не красишь лица, не сгущаешь бровей
И волос не стрижешь в жертву моде.
Для тебя есть Смирнов¹, но и есть соловей,
Кто его заменяет в природе.

Ты способна и в сахаре выискать «соль»,
Фразу — в только намекнутом слове.

Ты в Ахматовой ценишь бесменную боль,
Стилистический шарм — в Гумилеве.

Для тебя, для гурманки стиха, острота
Сологубовского триолета,
И что Блока не поцеловала в уста,
Ты шестое печалишься лето.

А в глазах оздоравливающих твоих
Ветер с моря и поле ржаное...
Ты совсем не похожа на женщин других,
Потому мне и стала женою.

1927

ОТРАДА ПРИМОРЬЯ

Изумительное у меня настроенье:
Шелестящая чувствуется чешуя.
И слепит петухов золотых оперенье.
Неначертанных звуков вокруг воспаренье.
Ненаписываемые стихотворенья...

Точно Римского-Корсакова слышу я.
Это свойственно, может быть, только приморью,

Это свойственно только живущим в лесу,
Где оплеснуто сердце живящей лазорью,
Где свежаще волна набегаёт к подгорью,
Где ваш город сплошную мне кажется хворью,
И возврата в него — я не перенесу!..

1927, март

ЗЕЛЕНОЕ ОЧАРОВАНИЕ

Распустилась зеленая и золотая,
Напоённая солнечным соком листва.
Грез весенних вспорхнула лукавая стая,
И опять — одряхлевшие юны слова!

Снова — необъяснимо и непостижимо,
Обнадеженно, опыту наперекор —

Всё разлюбленное стало нежно-любимо,
Очаровывая разuverенный взор.

И недаром ты в парке вчера щебетала
О давно неистрачиваемой любви:
Ведь на то и весна, чтобы все, что устало,
Зазвучало, как тихие губы твои.

1928

¹ Д. А. Смирнов — русский певец.

В 1941 году Сергей Николаевич Марков был мобилизован в армию рядовым красноармейцем и попал в распоряжение 38-й запасной бригады, которая стояла сначала в Коломне, а потом в Муроме. В те суровые дни поэт много писал, углубившись в славные страницы отечественной истории. В Муроме им созданы баллада об Евпатии Коловрате, стихи «Поморяне», «Александр Невский», «Славяне», «Илья Муромец». После войны С. Н. Марков вспоминал: «Обращение к этим именам не случайно, потому что все эти герои изучались мною, а патриотический подвиг их, конечно же, должен был быть воспет и кого-то научить во время войны. Вот я и предпринял совершенно реальную программу воспевания этих героев русской земли».

В ту же пору были написаны и стихотворения, которые ныне публикуются впервые.

Галина Маркова

НА ДНЕ ПОХОДНОГО МЕШКА...

На дне походного мешка
Крыло сухого мотылька
Хочу найти... Глазам не верю,—
Перебрала моя рука
Пожитки, крохи табака...
Мне помогала лишь тоска
Поверить в нежную потерю.

Еще дышали в сентябре
Деревья в теплом серебре
И медлил утренник суровый,

Еще стояла тишина
И рос у нашего окна
Мак, одинокий и багровый.

Мне снились пчелы и цветы,
Багряный мак... И снилась ты
В сиянье майского простора.
Проснулся я. Нашла рука
Холстину грубого мешка
И лед ружейного затвора!

КОГДА НАХМУРЕН НЕБОСКЛОН...

Когда нахмурен небосклон,
Ползет и плачет грязь,
Смерть, как можайский почтальон,
Заходит, не стучась.

Но в дом ее я не пустил,
Потом созвал гостей
И показал им у перил
Следы ее когтей.

ДОЧЕРИ

Погляди на облако. Оно
Только по краям озарено;

В холоде прозрачном, не дыша,
Там моя скитается душа.

* * *

Кто в пронизательности зоркой
Мой скромный поощрял талант
И добрым словом и махоркой? —
Прищепов — старший лейтенант.

Поэт, в казарме не зачах ты,
Спасенье есть, в него поверь,

Льдинкой града, каплей дождевой
Пролечу над милой головой.

Да не крикнуть: «Помнишь? Это я,
Доченька кудрявая моя!»

Пока открыта гауптвахты
Душеспасительная дверь.

Ведь по стихам, а не по платью
Ты встречен только на «губе».
...Своеобразное понятие
О жизни, счастье и судьбе.

ТРУБАЧИ

Просигналила и пропела
Исковерканная труба.
Но кому и забота и дело
Разбирать, что в огне горела,
Под копытами сатанела,
В ржавом звуке была груба.

И летели тачанки и танки,
И топтали ее сапоги,
Пьяной удалю крыли тальянки
На мотив забубенной вьюги,
Что чертила кривые круги.

Западает серебряный клапан,
Меден звук, полупризрачен след,
И мунштук ее кровью закапан,

Ах, как нежен серебряный клапан,
Нашей смертью продут и пропет.

Но играют разбитые трубы
Не согласно, не в лад и не в строй,
Наши песни друг другу не любы,
И разбиты и пальцы и губы
Внешней силой и нашей игрой.

Но за что-то ведь вышла награда,
Если вдруг, из раздавленных труб,
Не сигнал на открытие парада,
Не призыв на захват цареграда,
Не чужого ключа серенада,
А побег из сожженного сада
Прорастает сквозь душу из губ.

Борис Слуцкий

МЛАДШИМ ТОВАРИЩАМ

Я вам помогал
и заемных не требовал писем.
Летите, товарищи,
к вами умышленным высям,
езджайте, товарищи,
к вами придуманным далям,
с тем голодом дивным,
которым лишь юный снедаем.

Я вам переплачивал,
грош ваш рублем называя.
Вы знали и брали,
в момент таковой не зевая.

Момент не упущен
и вечность сквозь вас просквозила,
как солнечный луч
сквозь стекляшку витрин магазина.

Мне не все равно,
что из этого вышло.
Крутилось кино
и закона вертелось дышло,
но этот обвал
обвалился от малого камня,
который столкнул
я своими руками.

ЛЕГКАЯ ПРОФЕССИЯ

Мало тяготящие законы
исполняйте: рифмы,
ритма,
строф.

Радостно креститесь на иконы
Пушкина и лучших мастеров.

Наши гении прочнее прочих.
Проще спеть, нежели устроить мир.
Где в истории всеобщей — прочерк,
Там в истории поэзий — пир.

Спрос на нас и с нас такой большой,
а задолженность — огромная такая!
Только с легкою душой
эти грузы все перетаскаю.

ВЕЗУЧАЯ КРИВАЯ

Приемы ремесла
с годами развиваю.
Но главное — везла
и вывезла кривая.

Отборнейших кровей,
зазорнейшего ритма,
она была кривей,
извилистей, чем кривда.

Но падал на орла
любой пятак мой медный,

когда она везла
дорогою победной,

когда быстрее коня,
скорее автомобиля
она везла меня
и все куранты били.

Она прямой прямой,
она правее права,
и я вернусь домой
по кривизне той
прямо.

ПЕРЕМЕНА СУДЬБЫ

Товарищи и начальники
не уважали его,
но это его не печалило:
ништо, говорил, ничего!
Ништо! — говорил, — обойдется.
Всему свой день, свой час.
Еще у вас найдется
и уважение для нас.

И вот под самую старость
незнаемо почему
уважение досталось —
целый кусок ему.

Он проходит по улице
сквозь вечернюю тьму.
Все кланяются, кланяются,
кланяются ему.

И все недоразумения
выяснились, утряслись,
и все прекрасного мнения
о том, как он прожил жизнь.
Бывшие недоброжелатели,
забывши неправый суд,
словно друзья и приятели
руки ему трясут.

ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО

Чуть больше, чем ничего,
чуть меньше, чем ничего,
собственно, для чего?
Никак не пойму ничего.

Вот если бы сразу все
(и это еще не все),
а так ни то ни се,
а надо — и то и се.

И я не знаю как
и пробую так и сяк.
Когда не выходит так,
я снова пробую так.

И кем бы я ни кажусь,
но я не откажусь
и не отдам ничего:
все или ничего.

КУЛЬЧИЦКИЙ

Васильки на засаленном воротах
Возбуждали общественный смех.
Но стихи он писал в этом городе
Лучше всех.

Просыпался и умывался —
Рукомойник был во дворе.
А потом целый день добивался,
Чтоб строке гореть на заре.

Некрасивые, интеллигентные,
Понимавшие все раньше нас,

Девы умные, девы бедные
Шли к нему в предвечерний час.

Больше часу он их не терпел.
Через час он с ними прощался
И опять, как земля, вращался,
На оси тяжело скрипел.

Так, себя самого убивая,
То ли радуясь, то ли скорбя,
Обо всем на земле забывая,
Добывал он стихи из себя.

ФИАЛКИ

Сток сена я ищу в иголке,
а не иголку в стоге сена.
Ищу ягненка в сером волке,
и бунтаря внутри полена.

Но волк есть волк необратимо,
волк — не из будущих баранов,
и нос бунтарский Буратино
не прорастает из чурбанов.

Как в затянувшемся запое,
я верю где-нибудь у свалки,
что на заплеванном заборе
однажды вырастут фиалки.

Но расцветет забор едва ли,
прогнив насквозь, дойдя до точки,
когда на всем, что заплевали,
опять плевочки — не цветочки.

А мне вросли фиалки в кожу,
и я не вырву их, не срежу.
Чем крепче вмазывают в рожу,
тем глубже все, о чем я брежу.

Ворота рая слишком узки
для богача и лизоблюда,
а я пройду в игольном ушке,
взобравшись на спину верблюда.

И, о друзьях тоскуя новых,
себе, как будто побратима,
из чьих-то лбов, таких дубовых,
я
вырубаю
Буратино!

Среди всемирных перепалок
я волоку любимой ворох
взошедших сквозь плевки фиалок
на всех заплеванных заборах.

И волк целуется, как пьяный,
со мной на Бронной у «стекляшки»,
и чей нахальный нос незванный
уже торчит из деревяшки?

Андрей Битов

ПЕЙЗАЖ

Закат не ведал, как он красен был,
Морская гладь не для себя серела,
Не видел ветер, как он гладь рябил,
И дерево на это не смотрело.

Они стояли, в ночь заточены,
Не веруя себе, свища, пылая,
Ни световой, ни звуковой волны
Не разгадав, но ими обладая.

Не знало небо, что звезда взошла,
Что солнце скрылось. Темнота густела.
Вокруг незнанью не было числа.
Никто не знал. И в этом было дело.

Ничто не для себя на этом берегу.
Зарозовела в небе птица... Что мне?

Куда бежать?.. Запнулся на бегу,
Стою сам по себе и силюсь что-то вспомнить.

Тень облак, сосен шум и шорох трав,
Напрягши ветер, вечер чуял кожей...
И умирал. И «смертью смерть поправ»,
Опять вознесся. И опять не ожил.

Кого свое творенье веселит?
Кто верует в себя? Кому ключи от рая?..
И волосы — лишь ветер шевелит
На голове слепца, что в зеркало взирает.

Кто строит дом — не тот в дому живет.
Кто создал жизнь — не ищет смысла жизни.
Мысль свыше — не сама себя поймет.
Пускайся в путь — и в нем себя настигни...

БАЛЛАДА О МОЛЧАНИИ

Был ноябрь
по-январски угрюм и зловещ,
над горами метель завывала.
Егерей
из дивизии «Эдельвейс»
наши
сдвинули с перевала...

Командир поредевшую роту собрал
и сказал тяжело и спокойно:
«Час назад
меня вызвал к себе генерал...
Вот, товарищи, дело какое:
там — фашисты.
Позиция немцев ясна —
укрепились надежно и мощно.
С трех сторон — пулеметы,
с четвертой — стена.
Влезть на стену
почти невозможно.
Остается надежда
на это «почти»...

Мы должны —
понимаете, братцы? —
нынче ночью — на чертову гору — вползти!
На зубах —
но до верха добратся!..»
А солдаты глядели
на дальний карниз.

И один,
словно так, между прочим,
вдруг спросил:
— Командир,
может,
вы — альпинист?..

Тот плечами пожал:
— Да не очень...
Я родился и вырос в Рязани,
а там
горы встанут,
наверно, не скоро...
В детстве лазал я
лишь по соседским садам.

Вот и вся
«альпинистская школа»...
А еще
(он сказал, как поставил печать!)
там у них — патрули!
Это значит:
если кто-то сорвется,
он должен
молчать.

До конца.
И никак не иначе...

Как восходящие капли дождя,
как молчаливый вызов,
лезли, наитием находя
трещинку,
выемку,
выступ.

Лезли,
почти сроднясь со стеной, —
камень светлел под пальцами.
Пар поднимался над каждой спиной
и становился панцирем.
Молча тянули наверх
свои
каска,
гранаты,
судьбы.
Только дыхание слышалось
и
стон сквозь сжатые зубы...
Дышат друзья.
Терпят друзья.
В гору ползет молчанье.
Охнуть — нельзя!
Крикнуть — нельзя!
Даже — слова прощанья.
Даже —
когда в озноб темноты,
в черную прорву ночи,
все понимая, рушишься ты,
напрочь
срывая
ногти!
Душу твою ослепит на миг
жалость,
что прожил мало...
Крик твой истошный,
неслышный крик
мама услышит.
Мама...
Лезли те, кому повезло.
Мышцы в комок сводило, —
лезли!
(Такого быть не могло!
Быть не могло. Но — было...)
Лезли, забыв навсегда слова,
глаза напрягая до рези...
Сколько прошло?
Час или два?
Жизнь или две?
Лезли!
Будто на самую крышу войны...
И вот,
почти как виденье,
из пропасти
на краю стены
молча выросли тени.
И так же молча —
сквозь круговерть
и колышание мрака —
шагнули!
Была безмолвной, как смерть,
страшная их атака!..
Через минуту растаял чад
и грохот короткого боя...
Давайте и мы
иногда
молчать,
об их молчании помня.

* * *

«Амурские волны» играет оркестр духовой.
Отсохла замазка, и стекла дрожат от напора.
Как весело дуть от избытка в трубу иль гобой
и слух напрягать, подчиняясь рукам дирижера!

А свет полосатый под окнами синь и румян.
А в клубе милиции с фикусом каждая кадка.
Как весело бить колотушкой в большой барабан
и в малый стучать на предмет озорства и порядка!

Не все же свистеть или пушку таскать в кобуре.
Пора и о духе подумать, о чем-нибудь прочном,

о том, например, как скрипит старшина во дворе
снежком деревенским, о совестном гнете полночном.

Не тяготы давят, а легкая тяжесть одна,
мелодия, что ли, которую на сердце носим.
С ней, может быть, тесен ремень и труба солона,
но небо другое, и воздух остер и морозен.

Ах, Горлов тупик, с хрипотцою трубящий рожок!
Крута наша участь, и как Пугачевская башня
крута, тугоуха. А выдох так чист и высок.
Вот-вот оборвется. И весело как-то и страшно.

ЗА СТРОКОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ ХРОНИКИ

648 г. до н. э. Затмение Солнца.
Расцвет поэзии Архилоха.

Э. Бикерман
«Хронология Древнего мира»

Опять эта зоркая злость,
и этот простор подневольный,
упершийся в горло, как кость,
с поры предвоенной и школьной,
и прежде того — с вековой,
еще до рожденья рожденной,
запавшей двойной синевою
у глаз, как нуждою огромной.

Князь Игорь вступил в стремена,
но мгла ему путь преградила,
и черного дня глубина
предвестья дурные явила,
и срам он найдет, и полон,
но песней, как долгая рана,
на вечий взойдет небосклон
безвестный Соперник Бояна.

А там, за раскатом валов,
чей натиск ликующ и горек,
обломки каких катастроф
и взлетов увидит историк?
Где знать! — но из пропасти лет
всплывет за строкою Эпоха:
— Затмение солнца. Расцвет
поэзии Архилоха.

Какая тяжелая цепь!
Галера скрипит в сорок весел,
скрежещет, как углая крепь,
судьба — и на гребень выносит,

чем круче волна — тем верней,
чем хлеще удар — тем чудесней,
и песня все кружит над ней,
как чайка над черною бездной.

Не наша с тобою вина,
тем паче не наша заслуга,
что нас обошли и война,
и плен, и большая разлука,
что этот простор не на нас
глядел, совмещая две точки,
что свет среди дня не погас
от бланка и вписанной строчки.

Но тот, кому Слово дано,
себя совмещает со всеми,
поскольку Оно зажжено
для всех, и в не лучшее время,
и если ты встал до зари,
в пустой не печалься печали,
но, радуясь, благодари:
какие мы звезды застали!

Глаза и слепому даны,
но я не о тех, что глядели.
Какие мы видели сны!
Какие мы лжи претерпели!
И, может быть, некий поэт
отметит среди помраченья:
— Затмение разума. Свет
страдальчества и искупленья.

СЕМЕН УСУД

— Во как! — обычно скажет Семен Усуд,
если вдруг кто-то где-то отколет штучку,
выпятит губы, словно найдет колючку:
— Я так и знал! — и сглотнет ее, как верблюд.

Что ни случится: в глаз попадет ресница,
и не ему, а соседу, на сеновал
малый затащит девку, а та девица, —
скорбно надует губы: — Я так и знал!

Все-то он знает, все-то он глазом точит,
словно нечистая сила ест мужика:
встанет перед забором, если доска
плохо прибита: — Во! — и доска отскочит.

Словно ребенок, а по летам старик,
не приложил он рук ни к чему и — дальний —
ходит среди людей, и худой кадык,
как у верблюда, пришлою дышит тайной.

Глянешь: куда его черти с утра несут? —
кепку надвинет и чешет себе, сердешный,
мучимый любопытством или скукой здешней? —
кто его знает. — Куда ты, Семен? — У суд.

Тем и живет. А кто? а откуда родом? —
тайна и есть. Работал ли где когда?
Словно однажды вышел с другим народом,
и по пути отстал и забрел сюда.

Сроки ли выйдут, на душу ль камень ляжет
как облегченье, войдет ли под карк ворон
Высший Судья: — А ну-ка скажи, Семен,
не за себя, за тех! — и Семен все скажет.

Как-то встречаю осенью — он идет
с сумкой пустой — и вспомнил он: —
В тридцать третьем
Я убежал. В деревне был недород.
Нам-то еще повезло. — И добавил: — Детям...

Во как! — потом сказал, помолчал чуток
и, не простясь, пошел городской пустыней,

* * *

Мы пили когда-то — теперь мы посуду сдаем.
В застольном сидели кругу, упираясь локтями.
Теперь мы трезвее и реже сидим за столом,
где нет уже многих, и мы уж не те между нами.

Пойдем по Бутырскому валу и влево свернем,
по улице главной дойдем до Тверского бульвара,
где зорко молчит, размышляя о веке своем,
невольник чугунный под сенью свободного дара.

И мы помолчим о своем... А денек серебрист,
и темные липы, морозный пройдя электролиз,

где на деревьях тающий тенькал иней
и под ногами мерзлый хрустел песок.

Я еще вижу, как он идет по скверу,
как он уходит, тая худой спиной...
Господи мой, не этому ли примеру
следовать наказал ты в страде земной?

Не потому, что дни его незлобивей,
чем у других, а ночи, быть может, злей,
не потому, что духом своим бедней,
а ремеслом да промыслом нерадивей,

а потому, что в мире больших невзгод
он, как дитя большое, в обидах страшных
не по обидам, а по вине живет,
больше того, врагов возлюбил вчерашних, —

может быть, он, когда выйдет его черед
перед лицом творца оправдаться в судьях,
хоть бы за то, что прожил верблюдом в людях,
в царство небесное как человек войдет.

горят белизною, и чудом оставшийся лист
трепещет на ветке, окалиной радужной кроясь.

Друзья дорогие, да будет вам в мире светло!
Сойдемся на зрелости лет в одиночестве тесном.
Товарищи верные, нас не случайно свело
на поприще гибельном, но, как и в юности, честном.

Я вас окликаю, хоть нет вас, быть может, нигде,
как юности нашей, теперь пребывающей в нетях.
Так что остается в заносчивой нашей нужде?
Коль выпито все, и посуду сдадим на последях.

Владимир Жилин

* * *

Со стоном, с бульканьем упиться дивным светом —
кадык пусть ходит, ибо Дант велел!..
Вот так, сломав иммунитет к сонетам,
меня недуг старинный одолел.

Тебя, мой джинн — роман мой с белым светом,
я в сей кувшин упрятать захотел.
И ходят слухи, вроде я «с приветом»,
а между тем — папаша двух детей.

Подумать только, я и впрямь забыл
про цену слова, совести и звука,
как девичью фамилию старуха —
запоматовал!.. А любил, любил...

Все уместились — бабка, Дант и джинн?
Что ж, изнутри захлопну я кувшин.

УРОК МУЗЫКИ

В небо выносимый
Падает смычок.
Подпирает сын мой
Скрипицу плечом.

Держит равновесье,
Как когда-то я —
Босиком на рельсе
Ба-лан-си-ру-я.

И доныне весь я
Вызноблен насквозь
При-бли-жа-ю-щей-ся
Музыкой колёс.

Дальняя дорога,
Детская мечта
Начата с порога
Взмахами смычка.

Над гудящим глухо
Опытом отца
Сын склоняет ухо,
Вслу-ши-ва-ет-ся.

Подпирает песня
Вековечный путь.
Надо только с рельса
Вовремя спорхнуть.

Андрей Дементьев

БАЛЛАДА О ЛЮБВИ

— Я жить без тебя не могу...
Я с первого дня это понял.
Как будто на полном скаку
Коня вдруг над пропастью поднял.

— И я без тебя не могу...
Я столько ждала и устала.
Как будто на белом снегу
Гроза мою душу застала.

Сошлись, разминулись пути.
Но он ей звонил отовсюду
И тихо просил: — Не грусти...—
И тихое слышалось: — Буду...

Однажды на полном скаку
С коня он сорвался на съёмках.

— Я жить без тебя не могу,—
Она ему шепчет в потемках.

Он бредил... Но сила любви
вновь к жизни его возвращала.
И смерть отступала: «Живи!»
И все начиналось сначала.

— Я жить без тебя не могу...—
Он ей улыбался устало.
— А помнишь, на белом снегу
Гроза тебя как-то застала?

Прилипли снежинки к виску,
И капли грозы на ресницах...
— Я жить без тебя не могу.
И, значит, ничто не случится.

ДРУГУ ЮНОСТИ

Не пишущий поэт— осенний соловей.
Как отыскать тебя среди густых ветвей?
И как истолковать твоё молчание?
От радости оно или с отчаянья?

Я помню, как ты плакал над строкой.
Не над своей, а над чужой, посмертнойю.
Я в нашу юность за тобой последую.
Ты душу мне тревогой успокой.

Для нас иное время настает.
Я знал тебя веселым и задиристым.

Ты говорил: «Вот, погоди, мы вырастем.
Дотянемся до самых высших нот».

А ноту, что назначена тебе,
Другим не взять—ни соловьям, ни соколам.
Не покоряйся лени и судьбе,
А покори-ка ноту ту высокую.

Мне твой успех дороже всех похвал.
Лишь только бы звучал твой голос снова.
Тебя твой дар в такую высь позвал,
Где нету ничего превыше слова.

ПУТИ

Жизнь — то будни, то праздники,
То летят, то плетутся.
Изменяются странники,
А пути остаются
Все такими же длинными
И до боли родными —
То речными долинами,
То холмами лесными,
Под снегами и грозами
Да по градам и весям,
С вековыми вопросами
И обрывками песен.
Чтоб ответить с достоинством
Да запеть по-родному,
Ох, великое воинство
Не вернулось до дому,

Песнопевцы и ратники,
Что вовек не сдаются.
Изменяются странники,
А пути остаются
Все такими же длинными
И до боли родными,
То тележно-надрывными,
То воздушно-сквозными.
Птицы кружатся вещице,
Словно память о долге,
Это нам ведь завещаны
Большаки да проселки,
Что ныряют в ольшаники
И железно несутся...
Изменяются странники,
А пути остаются!

МАРДАКЯНЫ

Наши слова — туманны,
Тени наши — длинные.
Древние Мардакяны
Дремлют в стране луны.

Свет до того рассеян,
Что нереален он.
Здесь проходил Есенин,
Персией потрясен.

Есть в Хорасане двери...
Но Хорасан не здесь!
В Персию можно поверить,
Если версия есть.

Жил между адом и раем
Русый святой человек.
Но мы-то ведь с вами знаем,
Откуда зимой тут снег...

Валентин Кузнецов

А БЫЛО ТАК

Я, видно, радостью зарос,
Совсем забыл, как пахнет горе.
Я все деревья перерос,
Которые срубил под корень.

Деревня. Тишь. Голубизна.
Пью воздух жадными губами...
Но мной снесенная сосна
Во мне живет как боль и память.

И, разрывая вены мне,
Как жилы рек сухая стужа,
Она о дальней стороне
Кричит и просится наружу.

И этой боли нет конца,
Я чувствую ее и слышу.
В плену Садового кольца
Себя ничем я не утишу.

Я не убийца и не вор,
Я гнул леса в крутые дуги.
Я сокрушил могучий бор —
В крови кедровой мои руки.

Я не какой-нибудь там хмырь,
Я человек с глухой печалью,
Про жизнь мою спроси Сибирь,
Простреленную магистралью!

Семнадцать лет. Пух на губе.
Тайга. Туман. И крик совиный...
Но, словно гайка по резьбе,
Я выбирался из трясины.

В далекой снежной стороне
Наш быт не ласков был, а грозен.
Но целый лес кричит во мне,
О, не рубите руки мне,
Не руки это — ветви сосен!

СРЕЗ

Пою ли, просто ли молчу,
Или брожу по лесу,
Грущу ли, плачу ли, кричу,—
Но кровь идет по срезу.
На маму старую гляжу,
В трамвай ли полный лезу,
В степи ли валуном сижу,—
Но кровь идет по срезу!
Когда же, господи, меня
Срубили, как лозину?
А я ведь родом от кремня,
Я сам рубил лесину.
В сырую глушь, в болото лез,
Снегами заносился.
Так почему кровавый срез
В моей душе открылся?

Быть может, друга предал я?
Товарища до гроба,
И совесть нечиста моя,
Одна сочится злоба?
Что я такого совершил,
Что вон из кожи лезу?
Любил,
Работал,
Трудно жил,
Но кровь идет по срезу.
В себя, как в пропасть, я смотрю,
На дно души упрямо лезу.
С ладоней жизни пью зарю,
Но кровь идет по срезу!

Хулио Матеу

ПРЕВРАЩЕНИЕ СОСНЫ

Не спрашивайте, почему
сосна обернулась змеею.
Скользнула — и слезы рекою
текли по лицу моему.
Не спрашивайте почему.

Нависла снегов пелена.
Но в дикой неведомой чаще
нашел я гнездо и участие.
Согрел меня лес... Не она.

Глухая была сторона.
Но зверь не набросился встречный.
Казалась тогда человеческой
мне фауна... Но не она.

Ко мне обратила весна
цветов миловидные лица.
Напиться своею живицей
мне флора дала... Не она.

Забывтой невестой луна
ко мне выходила ночами.
Меня целовала очами
ночами луна... Не она.

До моря дойду и вернусь,
как молния, что просверкала,
и снова сосной обернусь —
стоять над ручьем, как бывало.

Не спрашивайте почему.

*Перевела с испанского
Нина Бялосинская*

Моисей Цетлин

ВОЛЧИХА

На грани двух материков,
Меж Атлантическим и Тихим,
Стоит, как часовой веков,
Огромная гора — Волчиха.

И всем видна средь туч и рощ,
Покрывших всю ее до плечи,
Ее языческая мощь,
Ее жестокая усмешка.

Урал! Суровая краса,
Железо, медь и халцедоны,

И схоронённые в лесах
Нижнетагильские мадонны.

Здесь взор людей суров и прям.
От предков каторжных, упорных,
От Строгановых к нашим дням
Легли одной дорогой горы.

Здесь мира древняя межа.
О Азия! О мать родная!
И, добежав до рубежа,
Глядит Волчиха, не мигая.

ИМ НЕСТЬ ЧИСЛА

Они проходят, как виденья, в вечность,
Праматери и матери мои,
Им нет числа, они идут из тьмы
И вновь уходят в тьму дорогой млечной.

Нагих и диких Ев, обвитых волосами,
Не помнит даже Тацит, но вошла,

Как пущенная варваром стрела,
В меня о них пронзительная память.

Они идут из глубины сознания,
И будто вновь к исчезнувшему морю
Течет неандертальская заря
Через века властительного камня.

Владимир Карпец

ШИШКОВ В 1812 ГОДУ

«Люблю звучанье слов, их корни, их значенья,
И древний смысл в словах сокрытого свеченья.
Вот вьет ключом родник, вот он уже — река,
И вот уже струя родного языка
Течет среди лесов и пажитей, пока
Вдруг не откроет смысл и замысел теченья.

Судьба не в слове ль «суд»? Борьба не в слове ль
«бор»?

И нет ли в слове «вор» вороньих крыльев ночи?
Идет на древность новь — кто разрешит их спор?
Мы все осуждены. В столицу входит вор.
И вороны над ним летят по наши очи».

То думал адмирал, трясаясь в коляске под
Валдайским городком на полдороге в Питер.
Так сосны высоки, так низок небосвод,
Так мшисты валуны, но се не время од...
Он расстегнул мундир и лоб ладонью вытер.

Даль око — далеко. Близь око — близок срок.
Сей адмирал зело гневлив, но добронравен.
Летит из-под колес пыль мировых дорог,
А он все об одном, о древнем смысле строк...
Из облаков гремит над головой пророк.
Коляска мчится вдаль, и путь вселенной равен.

КОСМОНАВТ

Как по нити, как по нити,
Продолжая свой полет,
Все быстрее по орбите
Космоплаватель плывет.

А внизу — поля и реки,
Домны, трубы, города —
Подо всем смежает веки
Океанская вода.

Будет дождь стучать по лугу,
Будут пчелы воровать...
Кто пустил его по кругу
В беспредельности кружить?

Светят звезды ледяные,
Нету радуги-дуги.
Пусты околоземные,
Колоземные круги.

Безотзывным числит глазом
Он светил пути вдали —
Что там ищет чистый разум
В галактической пыли?

Только там, в полях эфира,
Отзываясь на полет,
Мира вдруг фальшивит лира,
Песнь безладную поет.

И тогда перуны с кручи —
Громы-молнии гремят,
Ходят тучи, бродят тучи,
Нивы тучные горят.

Мрет в пути внезапно птица,
Светят мертвенно холмы,
В сентябре горит грибница,
Снега нет среди зимы.

Но летит, летит землянин,
Воплощая зов мечты,
Был оратай-поселянин,
Стал насельник пустоты.

Выше неба, выше крыши,
Радость гордому уму —
Все вперед, а что там выше —
То неведомо ему.

100 лет со дня рождения Демьяна Бедного

«Страдания, борьба, подвиги и достижения восставшего пролетариата находили в Вас достойного певца. В Вашем лице поэзия, быть может, впервые в истории, так ярко связала свои судьбы с судьбами человечества, борющегося за свое освобождение, и из творчества для немногих избранных стала творчеством для масс. Ваше творчество мужало и крепло вместе с ростом сил революционного пролетариата и закалкой его воли...»

*Из обращения М. И. Калинина при награждении
Демьяна Бедного орденом Красного Знамени, 1923 год*

«Партийность Демьяна Бедного — прежде всего партийность безукоризненная, как стремление. Никогда Д. Бедный не говорил: «Моя художественная индивидуальность, мои мечты, моя психология, мое «я» должны быть свободны. Не мешайте мне творить». Он всегда говорил: «Я буду бесконечно счастлив, если мне удастся в своих художественных произведениях помочь партии в проведении в массы и уяснении ее лозунгов...»

А. В. Луначарский, 1931 год

«Он вышел из гущи народной и оттуда принес в нашу литературу горячую любовь к великому русскому слову. В русском народе Демьян Бедный почерпнул замечательные качества — его мудрость, ясность, преданность и любовь к Родине, черты, которыми отмечено все его творчество...»

Н. С. Тихонов, 28 мая 1945 года

Алексей Сурков

ПЕВЕЦ РЕВОЛЮЦИИ

...Тысяча девятьсот тринадцатый год. Петербург. Маленькая столярная мастерская при большом мебельном магазине на Караванной. Я, успев устать от чистки хозяйских пиджаков и ботинок и беганья по лавкам, принимался орудовать на плите с вонючими клеенками. Так каждое утро. И каждое утро появлялся приказчик и кричал:

— Ленька, слетай за газетами...

Около библиотеки на углу стоял газетчик. Худой. Усатый. Он уже привык ко мне и, не ожидая спроса, доставал из сумки нужные листки. В то беспокойное время «Правда» выходила часто под разными названиями. И чуть не каждую неделю были конфискации.

Я как ни в чем не бывало кричал демонстративно громко:

— «Новое время»!

Рука погружалась в водосточную трубу за спиной и извлекала оттуда объемистый номер «Нового времени». В нем была «начинка» — конфискованная «Правда».

В ней-то я впервые познакомился с Демьяном... Это были стихи. Чаще всего басни. Первую прочитанную басню я помню до сих пор. Это был «Хозяин». Стали мы с товарищем старательно вырезать все его стихи и басни и прятать подальше, в

стружки, чтобы хозяйка не пронюхала. Приходя к газетчику, я первым делом спрашивал:

— Демьян сегодня есть?..

Когда в 1917 году, в шуме февральского половодья, попался мне первый, еще пахнущий типографской краской номер «Правды», я, встретив на ее страницах в соседстве с «Интернационалом» злую эпигramму и увидев подпись «Демьян Бедный», обрадовался, как при встрече со старым другом.

Я встречался с Демьяном в читальнях агитпоездов, в теплушках за чтением газет. Да, стихи Демьяна вошли в биографию моего поколения, они неотделимы от нее. Листаешь Демьяновы томики, в памяти возникают воспоминания, эпизоды, случаи... Овеянные ураганным ветром героического времени, эти стихи предстают передо мной как записи из корабельного журнала революции, фиксирующие все перипетии трудного и славного пути народа в радостное социалистическое сегодня.

Много поэтов в нашей стране. Есть и были среди них хорошие, прекрасные мастера. Но сердцу людей моего поколения, моей жизни ближе, дороже Демьян, потому что он — зеркало нашей судьбы, летопись дней нашего рождения и возмужания. Ведь в лучших его строках, писанных кровью, есть и капельки нашей крови.

ЖИЗНЬ, ОТДАННАЯ НАРОДУ

Всю свою жизнь Демьян Бедный посвятил служению делу революции, делу партии и Советской власти. Старейший сотрудник «Звезды» и «Правды», он уже в предреволюционные годы заявил о себе как поэт рабочего класса и беднейшего крестьянства. Велика была популярность Демьяна в годы гражданской войны. В. И. Ленин высоко ценил самообытный, народный талант поэта, который своим пером активно участвовал во всех начинаниях молодой Советской республики.

Демьян писал пропагандистские агитки и фельетоны в стихах, политические эпиграммы к плакатам и патетическую лирику. Ему принадлежит заслуга возрождения жанра басни.

Прекрасный газетчик и публицист, Демьян завоевал уважение многомиллионной аудитории читателей. И я еще мальчишкой с интересом читал его новые стихи. У первую свою басню написал под его влиянием.

Конечно, я и не предполагал, что пройдут годы, и я не только познакомлюсь с Демьяном Бедным, но и подружусь с ним на правах младшего собрата по поэтическому цеху. Вспоминается мне и Первый съезд советских писателей в Колонном зале Дома союзов, и юбилейные торжества, посвященные Шота Руставели, в Тбилиси, где мы были в одной делегации с Демьяном Бедным, и наши многочисленные встречи в Союзе писателей. Не забыть его мощную фигуру, его умное, чуть насмешливое выражение лица. Весь его облик невольно внушал уважение, а едва начатый разговор давал понять собеседнику, что он имеет дело с незаурядной личностью большого человеческого обаяния.

Демьян Бедный во всем был самобытен и народен. Он любил пошутить и шутил порой грубовато, но всегда по-народному остроумно. Можно было часами слушать его рассказы, его байки, неизменно привлекали внимание его суждения о литературе.

До конца своих дней он оставался поэтом для народа. Он много писал, охотно откликался на политические события в стране и за рубежом, стараясь просто и доходчиво донести до читателя суть явления. Одно время мы жили рядом, в том же доме, часто встречались во дворе, на улице. Как-то я пригласил Ефима Алексеевича к себе в гости. В тот вечер Демьян был в хорошем настроении, удачно острил, глубоко и заинтересованно говорил о поэзии.

— Некоторые думают, что я не умею писать иначе, чем пишу,—смеялся Демьян.—Не нравится им, видите ли, мой фельетонный народный стих. Для них это мякина. А я ведь не хуже их знаю и чувствую форму. Но не в этом дело. Я пишу для народа, для масс, пишу для трудящихся, и моему читателю должно быть понятно каждое мое слово.

Демьян Бедный первый поддержал мои опыты в жанре басни и посоветовал продолжать эту работу. Он говорил:

— Басня не умерла, как это думают некоторые всезнайки. Она жива и будет жить как жанр, любимый читателями.



Грустно вспоминать, что в какие-то годы имя поэта исчезло с газетных страниц. Но грянула Великая Отечественная война, и читатель снова увидел на страницах «Правды» гневные стихи Демьяна Бедного.

Демьян Бедный навсегда останется для нас поучительным примером верного служения поэта своему народу. Он считал свое творчество частью общепартийного дела, не чурался трудной работы газетчика и, как никто другой, умел находить общий язык со своими читателями.

Дмитрий Придворов

КИПУЧИЕ ГОДЫ

Кажется, чего проще—писать воспоминания. Ничего выдумывать не надо. Никаких вычурных сюжетов не требуется. Садись и пиши о том, что помнишь! И тут возникает главная сложность—тщательно отобрать лишь то, что может вызвать живой интерес современника, а порой принести ему пользу. Одни факты я черпаю из памяти, а другие как секретарь комиссии по литературному наследию Демьяна Бедного—из его личного архива.

В воспоминаниях отец предстает передо мною удивительно энергичным человеком—постоянно работающим над стихами и статьями, спешащим на выступления и встречи, горячо обсуждающим с друзьями те или иные события жизни. Годы-то какие кипучие были! Но часто я вижу его и за чтением. Читал он много. Книги любил страстно. Не случайно, что его богатейшая библиотека, переданная им затем государству, составляла около 45 тысяч томов.

Кроме громадного количества советских газет и журналов, отец получал еще и многие зарубежные издания. Из них он черпал факты для своих острых и ярких пропагандистских произведений.

С содержанием материалов из буржуазных газет отец иногда знакомил своих слушателей—рабочих фабрик и заводов, где выступал. Комментарии его всегда были впечатляющи. Вот, например, несколько строк из стенограммы его выступления на партийной конференции Ленинского района столицы 4 января 1931 года:

«До чего буржуазия внимательно следит за нами, беда! Вчера получаю немецкую газету «Берлинер тагеблатт» от 27-го декабря. На первой странице громадная шапка: «Московский твердый кулак». Что за штука, думаю? Какой кулак? Оказывается, тот жестокий зажим, в который мы берем нарушителей трудовой дисциплины. Вот за кого заступает немецкий буржуа: за наших систематических нарушителей дисциплины. (Смех.) Это пишется там, где на улице находится четыре миллиона безработных, голодающих, умирающих, где происходят на этой почве массовые групповые самоубийства. Организаторы немецкой безработицы, пролетарского голода и самоубийства тех, кто не стал на единственную, верную дорогу, дорогу борьбы, эти жалостливые люди видят наш жесткий кулак в том, что мы намерены привлекать к суду тех, кто при нарушении труд-дисциплины обнаружил злостные намерения...»

В этой же речи, говоря об излишней опеке над предприятиями, отец привел случай, когда на одном заводе одновременно производили обследование... 14 комиссий. «Как вы думаете, товарищи делегаты?—спросил отец.—Если у семи нянек—дитя без глазу, то сколько же глаз останется при 14 нянках?» Зал ответил хохотом.

Закончил отец свою речь словами из газеты «Правда»:

«В нашем государстве мы—партия порядка. Этот порядок достался нам дорогой ценой. И мы обязаны всеми средствами охранять его против всех врагов—и внутренних, и внешних, которые посягают на него, разрушая то, что добыто с такими усилиями рабочим классом России».

С немецкой действительностью и с тем, что происходило в Германии накануне прихода к власти фашистов, отцу пришлось познакомиться лично. В 1928 году он заболел тяжелой формой диабета, и болезнь так прогрессировала, что доктора и партийное руководство сочли необходимым отправить его на лечение за границу, в клинику знаменитого профессора Нордена в Баден-Бадене.

Несмотря на то что отец хорошо говорил по-немецки, было решено отправить его с сопровождающим—красивым рослым латышом, фамилию которого мы, дети, не знали и называли между собой Карлушей. Так звал его и отец.

Ехать отцу пришлось под чужой фамилией—Коренева Дмитрия Алексеевича, так как среди эмигрантов, которые во время революции и гражданской войны слали в его адрес проклятия, а другие, как, например, Деникин, грозились повесить его на первом московском фонаре в случае свержения Советской власти, нашлись бы охотники рассчитаться с ним за границы.

В клинику профессора Нордена отцу пришлось ехать и в 1929 году, но если в первый раз он как-то мирился с необходимостью лечиться и временно расстаться с любимой работой и родиной, то во второй—он буквально изнывал от тоски и безделья.

В письмах за июль 1929 года он пишет домой:

«Сокращаю я тоскливые минуты чтением и чертовски хочется писать... можно бы и работать, но—я плохо здесь владею... русским языком. Мне нужно купаться в стихии языка, чтобы легко писалось. Здесь же все время немецкая речь лезет в голову. Понимаешь, жизнь здесь так стабилизировалась, зашаблонилась, все в такой пригонке одно к другому, что нет места никакому свободному выверту. Нет, у нас все-таки всеelse в смысле изобретательства, выдумки, неожиданностей. Начинаю понимать рвущихся обратно в наши палестины».

Но, побывав в Берлине на одном международном форуме, он вдруг загорелся:

«Заметь: ни много, ни мало пройдет времени, года три—и уламывать меня будут, чтобы я в Германию ехал на тот или другой съезд, потому что говорить я буду не по-русски, а по-немецки, и уж говорить буду—будь спокойна. Весь зал у меня будет по полу кататься...»

Словом, поживем, увидим. Меня просто забавляет эта возможность—ораторствовать по-немецки. У каждого свои странности. Пусть это будет моей странностью, моим чудачеством. Поучительным для многих».

Поэт посещает Гамбург, Дрезден, Берлин и другие города, видит много интересного и поучительного, но желание одно—скорее домой, скорее за любимую работу.

В одном из немецких городов отец заметил, что его преследует какой-то господин в темных очках. Крутятся по незнакомому городу, всячески стараясь оторваться от «хвоста», поэт на ходу ломал голову, почему за ним следят. В конце концов в одном из тупиков, где почти не было людей, господин в темных очках наконец догнал отца и, подняв их на лоб, радостно заорал: «Демьян! Да откуда же ты здесь взялся?! Ну и тикаешь, як коняга!» «Хвостом» оказался старый знакомый, партийный работник, который представлял здесь Советскую страну на одном из международных форумов.

После смерти отца, который назначил меня своим душеприказчиком, я обнаружил в его архиве любопытную книжку. Необычность ее не в том, что она представляет ценность как редчайший экземпляр уникального издания, за которым, например, охотился страстный библиофил и большой знаток книги, известный эстрадный артист Н. П. Смирнов-Сокольский—большой друг отца и в какой-то мере его ученик по собирательству книг.

Книга, о которой я рассказываю, представляет собой скромное малоформатное издание «Гамлета» Шекспира, выпущенное в 1896 году в Киеве. В конце

книги вплетено несколько страниц, исписанных рукою 15-летнего Ефима Придворова, ученика Киевского военно-фельдшерского училища. Так вот, на этих вклеенных страницах рукою юного Ефима Придворова переписана статья столь же юного Анатолия Луначарского, которую тот написал весной 1892 года. В статье будущий нарком просвещения дает краткую характеристику личности Гамлета, свое восприятие этого образа. Она называется «Ответ моему другу Козыреву» и написана живо, в искрометной манере, всегда свойственной Луначарскому. Где была напечатана статья? Откуда списал ее Придворов? Никто из литературоведов пока не знает. После статьи идут рассуждения самого Ефима Придворова о вечных темах: жизни, любви и смерти, навеянные «Гамлетом» и статьей Луначарского. Статья Луначарского о личности Гамлета кончается так: «И «милый принц» умер. Да и как бы он жил? Разве живут люди, не имея почвы под ногами? Разве может жить одна голова без тела?»

Вот об этом — о раздвоенности Гамлета и других вопросах, поднятых Шекспиром, и думает недавний деревенский мальчишка.

После долгих, иногда путаных мыслей он задает себе вопрос:

«Что такое счастье? — только душевный мир?» — и отвечает сам себе: «Нет! Счастье есть удовлетворение всех высших стремлений и страстей человека, не исключая и стремления к борьбе». И заключает: «От исхода борьбы зависит прогресс человечества, а следовательно, наше счастье».

Запись завершается карандашной пометкой: «Кончил, 1898 год, мая 20-го дня, в 7 ч. утра. Пароход. Ефим Придворов». Видно, отпустили ученика на каникулы, и он поплыл в родную деревню.

Вот так на страницах маленькой книжки встретились впервые образованнейший человек своего времени, будущий нарком просвещения А. В. Луначарский и будущий пролетарский поэт Демьян Бедный. Будущие соратники и друзья.

ТРАМВАЙ В ЧЕРКИЗОВЕ

Раз душа того захочет,
В детство двери открывай!
По Черкизову грохочет
Переполненный трамвай.
Не из фильмов, не из книжек —
Самолично видел я:
Средь заборов и домишек
Куролесит колея.
С воем, скрежетом и громом
Мчит трамвай сквозь свет и тень,
Вслед кренящимся вагонам
Машет гроздьями сирень!
Остановка. Крики. Взмахи.
Уговоры. Шутки. Мат.
И — трещат по швам рубахи,
К черту пуговицы летят!
Ну, и снова в путь-дорожку...
Может, жизнь не дорога?
Еле-еле на подножку
Помещается нога.
Сотрясает и качает
Сдавленных со всех сторон,
А кондукторша серчает:
«Не резиновый вагон!»
В тесноте, да не в обиде

НОВЫЙ ДОМ

Очень важно неунуло
Приходить опять сюда,
Вспоминая, что здесь было
В недалекие года.
И, на дом взирая новый,
Видеть, грусти вопреки,
Магазинчик продуктовый
И зеленые ларьки.
Непременно в ясном свете,
Непременно летним днем —
То, чего не видят дети,
Гомонящие кругом.
Оставайся однолюбом,
Но не будь на то сердит,
Что над нашим старым дубом
Кто-то в лоджии сидит:
Перед домом-исполином
Мал стоит он и несмел,
А давно ль над мезонином

* * *

Сел на скамью у залива,
Скомкал газету, прочтя.
Остановившись, пылливо
Смотрит в глаза мне дитя.
Взгляд его кроток и ясен,
Волосы ярко-белы.

Мчит столица, чуть не вся,
К стадиону — стоя, сидя
И на поручнях вися.
Не такие передраги
Пережили в дни войны
Офицеры, работяги,
Инженеры, пацаны.
Вот и «Сталинец» — по сути
Стадион второй в Москве.
Вышли все, не обессудьте,
С легким звоном в голове
И бегут гурьбою к кассам
С упоением молодым!
Мир настал.
И снова массам
Стал футбол необходим.
Это дар за подвиг ратный...

С переливчатым звонком
Покатил трамвай в обратный
Долгий путь порожняком.
...В первый год послевоенный
Возвратимся и давай
Втиснемся в тот незабвенный,
К счастью мчащийся трамвай!

Дома старого шумел?!
Уходи, душой не мучась,
Получая поворот
От невидимых ворот,
А какая все же участь
Новый дом в грядущем ждет?
И его однажды время
Уберет с лица земли,
Чтобы новые строенья —
Стоэтажные! — взошли.
Засияет чистым светом
Вровень со звездой окно —
Только нам узнать об этом,
Видит бог, не суждено.
Расстаемся с новым домом,
С тем, что видится за ним —
С переулком, нам знакомым
По домам совсем иным.

Облик, что чист и прекрасен,
Вышел недавно из мглы —
Той, куда нам понемногу
Двигаться время велит...
Зрелость глядит на дорогу,
Детство на зрелость глядит.

Жизненный путь человека,
К счастью, предвидеть нельзя.
Смотрят из нового века
Синие эти глаза.
То ли прощается, то ли
Вслед за собою зовет,—
Может быть, знает о доле,
Что впереди меня ждет?

Я не нуждаюсь в совете:
Лучше неведенья дым,
Но в двадцать первом столетии
Хочется встретиться с ним
Двадцатилетним, счастливым —
Пусть разглядят старика
Здесь на скамье, над заливом,
Два этих зорких зрачка.

МОСКОВСКОМУ НОВОСЕЛУ

Не думай о себе,
Не думай обо мне,
А думай об избе,
Где мать молчит в окне.

Глядит она на луг,
Глядит она на плес,
Ведь ты с собою, друг,
Все это не унес.

Освоив города,
Отвыкнув от полей,

Ты помнишь ли всегда
О матери своей?

Да, помнишь, но зато
С деревней — взгляд во взгляд —
Ты видишь то, на что
Глаза ее глядят.

Живешь ты, весел, мил,
Ни в чем не виноват,
Пока на этот мир
Глаза ее глядят...

Владимир Павлинов

ГРАНИЦЫ РЕЙХА

Еще не смыл с ладоней кровь
других и моего народа,
вы шумно требуете вновь
«границ тридцать седьмого года»
и о «Великом рейхе» снова
вздыхаете ночной порой...

Но почему — «тридцать седьмого»?
Мы помним тот, сорок второй!

Еще бурлят в окопах воды,
а пашня хлеба не растит...
Вернуть вам шахты и заводы?
А кто мне братьев возвратит?

Мир с каждым днем старей, старей,
проходят годы жизни шумной,
но всё горят у матерей
глаза надеждою безумной!
Ночной звонок, за сердце тронув,
швыряет мать мою к дверям...

Верните двадцать миллионов
детей отцам и матерям!

Чужой земли вы не щадили,
и это мы должны забыть?
Не мы, а вы по шерсть ходили —
так нам ли стриженными быть?

ЯД СЛАВЫ

Хочу спросить поэтов модных,
от всех оков давно свободных:
а где же главная строка?
Да, ваша слава велика —
и цель близка. Но, боже правый,
вслед за паденьем языка
извечно падали и нравы!
Разнузданность умов и чувств
ведет к гибели незримо:
так, за падением искусств
последовала гибель Рима...

Для дара божьего, поэт,
врага опасней славы нет:
гипнотизирующий взгляд,
ожог змеинного укуса —
и пробежит по жилам яд:
поверхность, утрата вкуса.
Дым славы сладок, но в дыму
недолго задохнуться, право!
При жизни слава ни к чему,
а после жизни — пусть хоть слава...

СТАНЦИЯ МЕТРО

«Маяковская» — самая строгая,
и ее потолки высоки,
и по мрамору струйки суровые
наподобье строки,
наподобье строки...

Здесь могу прислониться к стеклу,
никогда не обманет меня
эта дверь, запретившая мглу
и открывшая корни огня.
«Маяковская» — самая близкая,
в самом центре, в окраине,

поездами шумит, как листьями
и в Тбилиси и на Украине.
«Маяковская» — самая нежная,
многолюдная и одинокая,
самая, самая неизбежная
моя...

«Маяковская» — самая чистая,
следующая — всегда!
И когда мне сойти ни случится,
я на этой сойду
и исчезну меж плит, как вода.

Яков Козловский

ВОЙНА

Где-то снова идет война.
Кровь насильственно отворена.
Правит бал сатана —
военщина.
Женам не от кого рожать.
Не раздевшись, одна в кровать,
как в могилу,
ложится женщина.

Сыновья наперед отцов
сходят в царствие мертвецов.

ПТИЦЕЛОВ

Промышлял невольничьим товаром
Знаменитый Васька-птицелов,
Торговал толково, не задаром
Отдавая славок и щеглов.

Как никто,
везучий в ловчем деле,
Соловьев отлавливал весной,

Но зато в запойные недели
Сторонился заросли лесной.

И когда он умирал в больнице,
То над сердцем шарила рука,
Словно впрямь им пойманные птицы
Рвали грудь у левого соска.

* * *

Грустит он, вздыхая по Ньюшке,
Шлет письма ей издалека,
Хоть, как говорят, и понюшки
Не стоит она табака.

Но вспомните, пели гусары,
Достойные пылких побед:
«Оценивать женские чары
Глазами влюбленными след».

* * *

Помню, женщина сказала
Со склоненной головою:
— К бабам жизнь несправедлива,
Пожалеть бы надо их,
Жена мужа похоронит
И останется — вдовою,
А как муж жену схоронит,
Не вдовец он, а жених.

ЛЕЙТЕНАНТ ПОЛИТСОСТАВА

Б.С.

Лейтенант политсостава,
Агитатор полковой.
Молодой,
да что там, право,—
Кто он есть как таковой?

В плащ-палатке, на петлице
Два железных «кубаря».
Пусть бы он, как говорится,
Белый хлеб свой ел не зря.

Говорить — его работа.
Он стоит перед полком.
Ну не полк, положим — рота,
В построенье боевом.

Даже рота — это много.
Перед ним, допустим, взвод.
И томит бойцов тревога,
И тоска солдат грызет.

Им приказ уже зачитан:
Марш-бросок и с ходу — в бой.
И стоит он, и молчит он,
Видя всех перед собой.

Вот еще две-три затяжки,
Выдыхая горький дым.
Ну так что ж не по бумажке,
Лейтенант, ты скажешь им?

Говорить — твоя работа.
Должен что-то им сказать,
Так сказать, чтоб это что-то
Их с тобой могло связать.

Так сказать, чтоб все запало
В душу каждого бойца
Наподобие запала,
Что огнем ожжет сердца!..

ДЕРЕВЬЯ

Деревья, вы старыми стали,
Вы тоже, деревья, устали
Мотаться на резком ветру.
Какие вас ливни хлестали,
Как вам доставалось в жару!

А помню — земля сыровата,
Рукам не под силу лопата,
Входившая в землю с трудом.
Мальчишка, с отцом я когда-то
Рассаживал вас под окном.

Мощный залп артподготовки.
Гнет к земле тяжелый гул.
Лейтенант с дорожной бровки
Прямо во поле шагнул.

Только глянул страшным глазом
Да плечо — вполоборот:
«Взвод — за мной! Вперед!»
И разом
Взвод за ним шагнул вперед.

Голос хриплый с перекуру,
Под собой не чувствует ног...
Знает он литературу,
Всех поэтов — назубок.

А теперь — что строчки эти?
Смертный путь — и все забудь.
Лишь обойма в пистолете,
Лишь навстречу ветру грудь!

И всему иная мера,
Если слова глубина
Силой личного примера
До нутра обнажена.

Первым, грозно, без оглядки,
Слыша жаркие тела.
Полы жесткой плащ-палатки
Словно легких два крыла.

Вот она — его работа,
Агитатора полка,
По виску ручьями пота,
Струйкой крови из виска...

Черный танк застыл без башни.
Траки скручены кольцом...
Лейтенант на мертвой пашне —
Неподвижно, вниз лицом.

Вы встали зеленой гурьбою,
Тогда еще вровень со мною,
И радостно было с крыльца
Глядеть, как трепещут листвою,
Как тянутся ввысь деревца.

Порой ваши слабые ветки
Ломали мои однолетки,
Игравшие в тесном дворе.
И сам я зарубки-отметки
Оставил на вашей коре.

Все кажется просто вначале.
Мы вряд ли тогда замечали,
Какие идут времена.
А вы наши беды-печали
Уже понимали сполна.

Деревья, а вы разглядели
Сквозь годы, дожди и метели,
Какие надвинутся дни.
Вы словно подольше хотели
Укрыть нас в короткой тени.

О, как вы, деревья, спешили
Поднять островерхие шпили,
Стать деревом из деревца...
Вы слезы мои осушили,
Когда хоронил я отца.

Сцепившись ветвями, как братья,
Меня заключали в объятия.
Я чувствовал мощь ваших плеч...
Вот жаль, что не мог разобрать я,
К чему ваша клонится речь...

Григорий Корин

* * *

Что тебе небо, свобода, размах
Крыльев поющих,
Если ты их и не зрела во снах,
Даль стерегущих.

Глянешь в окно, там метель или дождь,
Светит ли лето,
Зернышко клюнешь, водички попьешь,
Вякнешь с рассвета.

* * *

Возгорайся у края, душа,
Открывайся, как птицам скворешник,
И прими всех, кто жил прегреша,
Этих сырых и тех безутешных.

О, смотри, не оставь никого
Без молитвы, без доброго слова.

Птица, рожденная в долгом плену,
Что ты умеешь?
Песенку только и знаешь одну,
С ней и седеешь.

Дать тебе волю, вернешься опять
В клетку свою же.
Ты разучилась свой хлеб добывать,
Есть ли что хуже?

Для себя не возьми ничего
Из реки, из амбара земного.

Ты подвластна судьбе мировой,
И, как облако, выйдешь из пара,
И, стезей уходя роковой,
Встанешь там, где награда и кара.

Владимир Карпеко

ЖИЗНЕННЫЙ ОПЫТ

Вот—приобрел я опыт жизненный.
С ним путь ровней как будто...

Но

Уж никуда тебя не вызовет
Сирень, проникшая в окно.

И пусть порой еще проскальзывал
Лукавый чертик в душу...

Но

Он, этот опыт, мне подсказывал,
Что—нет! Нельзя! Запрещено!..

А мне б опять былые хлопоты,
Ошибки лет веселых...

Но

Еще от жизненного опыта
Лекарств не изобретено!

Сергей Поликарпов

* * *

Пучок последний хвороста
Пылает в камельке...
Боли не потворствую,
Хоть весь в ее руке.

Она, казня, изложет,
Поизведет, казня...
Прокрустовому ложу
Обрекли меня!

Не уещаюсь в рамки
Понятий прописных,
Мне пуританки-мамки
Все назидают их...

А х, мамки! —
Я ведь тоже
Не лыком вроде шит,

Смекаю, что мне гоже,
А от чего першит.

Вам сласть, коль все —
По полкам,
Дорога—гладь да тишь...
А что,
Когда на колкий
Проселок угодишь?

Мне вышло по такому
Босым всю жизнь шагать...
Оно, на печке, дома,
Куда бы! — благодать

Лежать, задравши ноги,—
Ни боли, ни тоски
Да всем — свои дороги,
А к ним — и посошки...

Кирилл Ковальджи

* * *

Все началось с разлуки и смятенья:
почувствовав, что больше не могу
терпеть, молчать, я передал тоску
стихотворенью, а стихотворенье,
которое на славу удалось,
тоску, как эстафету, передало
через года, и ты затосковала,
а я забыл, откуда что взялось...

Натан Злотников

НИКОРЦМИНДА

Я о тебе не ведал, Никорцминда,
Когда бы не воспел Галактион.
И бронза строк, как с океана рында,
Была слышна в горах со всех сторон.

Наверно, не забуду я до гроба,
Как гул мотора смолк пред крутизной,
И вверх пошли мы, ежась от озноба,
Хотя еще пылал в долине зной.

Орел над головой скользил кругами,
Как будто некий охранял рубеж.
И стало жаль нам снега под ногами,
Столь первозданно был он чист и свеж.

Сквозь лес пробились мы, и нам казалось:
Снег — это пена, а под ней — поток,
Летающий с гор, и всех взяла усталость,
И каждый сердцем трижды изнемог.

Какая ожидала нас удача?
Шум славы иль забвения покой?

Храм надвигался, впереди маяча,
И до семи небес — подать рукой.

То справа заходили мы, то слева,
И вдруг пред нами выросла стена.
Нагое тело так возносит дева,
Над грешною землей восстав от сна.

Орел, как молчаливая охрана,
Кружилверху с надеждою на мзду,
И словно в клюве он держал звезду;
И вместе с ним кружила тень от храма

И с робостью ступили мы под своды,
Где сумрак в час полдненный умирал,
Припоминая дни свои и годы,
В слезах внимали, как звучал хорал.

И двинулись назад, от храма к соснам,
Не то чтоб порознь, а по одному.
Найти следов своих не удалось нам,
Как будто шли по воздуху к нему.

В ВЕЯНЬЕ ТИХОГО ВЕТРА

В веянье тихого ветра
времени новый отсчет.
Ивы плакучая ветка
цветом каштана цветет.

Сдавленные веками
в кладке — неслыханный клад —
обыкновенные камни
заговoryт.

В веянье тихого ветра
щепку опустишь в ручей —
вдруг почковаться несметно
станут кристаллы на ней.

Жизни невзрачную прозу
руша, латая, кроя,

другу прозрачную розу
вынешь из бездны ручья.

В веянье тихого ветра
мы не в себя влюблены.
Необъяснимого цвета
волосы у жены.

Разве нас с ней повенчали
молнии — в море тоски?
Не было света в начале.
Не было первой строки.

В веянье тихого ветра,
только его одного,
явится все незаметно
из ничего.

БЫТОПИСАТЕЛЬ

Что видит, то поет:
деревья, клумбу, ноги,
гнездо, гусей полет,
скульптуру при дороге.

Починенный шезлонг,
облупленные своды.
Играющих в пинг-понг.
Жующих бутерброды.

Пускай полезно нам
знать про гнездо сорочье,

но взгляд по сторонам
растаскивает в клочья.

Вот в кадре голова
мелькнула, как корова.
Сплошь полые слова
мятутся, как полова.

И не поймет чужак,
всегда идущий мимо,
что видимое — знак.
А главное — незримо.

Николай Зиновьев

ГОЛУБЬ В МЕТРО

Голубь залетел в метро
и в сквозном тоннеле заблудился.
Вниз, крутясь, летит его перо.
Он от неба, видимо, отбился.

Был полет высок, а стал глубок.
Тыкаться в плафоны нету мочи.
Ты зачем поверил, голубок,
ложному дневному свету ночи?

Третью ночь мне шорох крыльев снится,
будто птица я в тоннеле том,
где в конце опять светло, как днем...
Страшно, страшно от земли отбиться,
затеряться в космосе пустом.

ГОСПИТАЛЬ В СЕНТ-ЛУИСЕ

Ему бы помощь оказать,
но врач не хочет чеки брать,
мол, что за парень — просто с улицы.
С ножом в спине по рукоять
попал он в госпиталь Сент-Луиса.
Час отстучал... И входит мать.
Но мало долларов опять.
Он так не хочет умирать!
А люди все еще торгуются...

С тех пор приходит сон ко мне —
мертвецкий холод из Сент-Луиса...
И ты, Земля, в крови, в огне,
летишь с ракетой в спине!

А люди все еще торгуются...

Юрий Шавырин

* * *

Нас невидимой межой
Время разделило.
Ты чужая, я чужой,
Как до встречи было.

Обручались налегке,
Да не на беду ли?
Обожглись на молоке,
А на воду дули.

Как собой гордилась ты,
Как легко плясала!
И дареные цветы
За окно бросала.

Тех цветов в помине нет,
Не купить на рынке.
Где их аромат и цвет,
Пестики, тычинки?..

Владимир Демидов

* * *

Серый берег. Желтая палатка.
Синяя осенняя волна.
Смуглая от солнца, как мулатка,
Смотрит в море женщина одна.
Я не знаю, лодка или птица
Приковала долгий синий взор.
И дымит у ног ее костер,
Как старик,
Которому не спится.

Вадим Ковда

* * *

Там в столице живу ли? дышу ли?
Горечь в сердце, таи не таи.
Арзамасы, Касимовы, Шуи—
золотые, родные мои.

Вот и езжу по средней России,
где на сырых полях воронье,
где просторы гудят ветровые,

где грустят деревеньки ее,
молчаливые, темно-кривые,
как мое бытие.

Для чего мне сюда так стремиться?
Разве жизнь эта так хороша?
Лес, да небо, да редкая птица.
И душа...

ТУНДРА

На пустом берегу океана
с пол-Европы мерцает поляна.
В наползающем мареве лет
чуть маячит Уральский хребет.

Вверх и вниз перекрестно летящий
над поляной взвихряется снег.
И песцовый нервический след
пробежит, исчезая навек.
Только льется загадочный свет,
из глубин бытия исходящий.

ХЛЕБ

Я жил от хлебзавода невдали
В те годы очень трудные земли,
Когда послевоенный недород
С разрухою нас брали в оборот.

Я в школу шел, портфель к груди прижав,
А запах хлеба, он за мной бежал,
А запах хлеба, теплый, аржаной,
Как невидимка, в класс входил за мной.

А запах хлеба плыл, чуть рыжеват,
Над головами стриженных ребят.
Тот запах добрый хрупок был, как мел,
Учитель географии мрачнел.

И сглатывала слюнки от тоски
Отличница Наташа у доски...

Ах, запах хлеба, дух жилой семьи!
Шел от меня, а может, от земли.
Его на переменке Ванька Клест
Перебивал дымком от папирос.

Он говорил: — Ты пахнешь хлебом, брат,
Наверно, ты и твой пахан богат...—
Попробуй вот ему, Клесту, вдолби:
Живу от хлебзавода невдали.

А папка служит в танковых частях.
Но слово застревало в челюстях.
И шел домой и плакал я в тоске
С замерзшею чернильницей в руке.

Владимир Пешехонов

БЕЛКА НА ПРОХОДНОЙ

Я один на проходной,
Где вертушка из железа,
С белкой—рыжею душой
Потревоженного леса.

От окна и до окна,
Не найдя знакомой ветки,
Горько мечется она
По чужой бетонной клетке.

Под беленым потолком
Изнывать—не много чести,
Если ты не на своем,
На бегу забытом месте.

И спешит она к себе
В бор далекий и свободный
Не по ветке—по трубе
Заводской, водопроводной.

Михаил Синельников

СТАРЫЙ ТАШКЕНТ

Старый Ташкент, пепелище седое,
Где, пробираясь на запах и дым,
Толпы текут, как стада к водопою,
По закоулочкам белым, седым.

Здесь на развале повсюду харчевни,
Город, пустынею став колдовски,
Съехав с основы кремнистой и древней,
Жарит и жарит свои шашлыки.

О, как лицо холодеет при звуке
Стонущей песни, и плещется мгла,
Ходят танцовщицы цепкие руки,
Ходят бойцовые перепела!

И, навсегда удивившись цветенью,
Там, где урюки слегка отцвели,
Ходит Ахматова легкою тенью
В реянье пепла, в ташкентской пыли.

ПОД ГРОЗОЙ

Пыль, проселок, небо грозное
да столбы, как вежи, по полям.
Молния над самой головою
расколола небо пополам.

Ярый свет — ни копоты, ни дыма.
Я оглох, ослепнул от огня.
Хорошо, удар пришелся мимо —
в телеграфный столб, а не в меня.

Шаровары, кепка, рубашонка —
почитай, защиты никакой.
Живо-два сразило бы мальчонку
огненной небесною клюкой.

Живо-два пропал бы...
Не забуду:
обмер я — себя не узнаю, —
все еще не верится покуда
в то, что я не рухнул, я стою...

Молния в какой-то дикой злобе —
как только спасла меня судьба! —
все столбы перещепала

ЗА РАБОТОЙ

Засекая и угол и радиус,
ты вникаешь в мудреный чертеж
и, чему-то заранее радуясь,
подходящий напильник берешь.
Видно, это не мертвые линии
и в зажиме не мертвый металл,
если теплыми переливами
он так нежно затрепетал.

Игорь Ляпин

* * *

Мой первый мастер на работе
Сказал мне жесткие слова:
— Стихи стихами. Я не против.
Но ты, брат, план давай сперва.

И вслед за тем из благородства
Добавил: — Все же здесь не клуб,
А, понимаешь, производство —
И не поэзии, а труб.

И, взглядом пробежав по стану,
Вздыхнул с досадою опять:
— Не будет плана, что я стану, —
Стихи начальнику читать?

в обе
стороны
от этого столба.

Крепкие, а все поразвалила,
и щепу далече отнесло...
Года три округа говорила:
мол, парнишке шибко повезло,
вон — бежит он радостно и шало,
пузырем рубашка на спине, —
жив-здоров!..
А времечко бежало —
долго ли, корóтко ли —
к войне.

Может, предвещал мне этот случай,
что и в годы грозной мировой
я не сгину, раз уж я везучий,
жив останусь...
Вот я и живой.

Ты и впредь не сгадывай, Косая,
мне про свой нещадный поцелуй:
коли уж в рубашке родился я,
смерть — и неминуемая — минуй!

Он под стать светляку-светильнику
замерцал-рассиялся вдруг...
И вот-вот под смычком напильника
народится напевный звук.
И работа в одно мгновение —
ты и сам не заметишь как —
обернется самым вдохновением
и певуче зальется в руках.

Так он, брат, столько снимет стружки,
Что буду бледен и багров.
Он прямо скажет: — Знаешь, Пушкин,
Я не Державин, я — Багров.

И всплыли все упреки эти,
Когда, устроив нам разнос,
Велел мне мастер в стенгазете
Поднять о качестве вопрос.

Он был суров тогда предельно,
Не выбирал помягче слов:
— Вот напиши хоть раз про дело,
И лучше, если без стихов.

Я сроду не был безответным,
Хоть память цепкая хранит,
Что вдоволь мной при всем при этом
Молчком проглочено обид.

Но тут судьба и впрямь хранила.
Мне мастер стал как в горле кость,
И чувство страха победила
Моя отчаянная злость.

Являя личную отвагу,
В конторке маленькой, в тиши
Сижусь я, комкая бумагу,
Грызу в сердцах карандаши.

Мне наплевать, что мастер скажет,
Я вижу сразу десять тем.
Пусть на меня рукой он машет,
Но на поэзию зачем?

Я еле сдерживаю слезы,
Зато какой напор строки!

Я гневно мщу: ни слова прозы,
Летят стихи, стихи, стихи.

Идет высокая атака,
Стараюсь бить не в бровь, а в глаз,
Рифмуя «Клавка» и «оправка»,
«О вас» рифмуя и «аванс».

Я стих под классику не лажу,
Пишу в гордыне до конца
Про крановщицу тетю Машу,
Про дядю Федю—кузнеца.

Теперь забыты те куплеты,
И все же помнится итог:
Веселый шум у стенгазеты,
И смех, и дерзкий хохоток.

И над созвучьями не властен,
Металлом в голосе звеня,
На всех летучках наших мастер
Уже цитирует меня.

Джеймс Паттерсон

КИНОСЪЕМКА

Стягивает с тела гимнастерку,
отлепляет липкий грим с лица.
Кто же он по фильму?
Вася Теркин?
Прототип веселого бойца?
На меня он смотрит с хитрецою,
как и я, немало удивлен,
и припудрен фронтовой пылью
он, перешагнувший грань времен.
Мы знакомы с ним еще по школе.
Помню, как играли мы в войну.

Тридцать лет прошло?
Да нет, поболе.
Дай, дружище, на тебя взгляну!
Долетает острый гари запах.
Где от пиротехники спастись?
Жаль, нельзя помолодеть внезапно,
в детство прошлое перенестись.
Кто-то рядом говорит негромко,
реквизит готовит персонал.
Если бы не ложь, не киносъемка,
я б его, пожалуй, не узнал.

Павел Морозов

ДРЕВНИЙ ОГОНЬ

Странная память огня.
Вдруг сквозь багровые блики
Чьи-то далекие лики
Глянут в упор на меня.
Полузабыт и суров,
В горле мотив шевельнется,
Отзвуком их голосов
Шорох огня отзовется.
Словно сквозь тысячи лет
Звякнет каленое стремя,
Словно в доспех ты одет
И накатилось время
Добрых коней оседлать
И— по дороге бессонной!..
Эх, во степи раскаленной
Нам ли впервой пропадать?!

Петр Катин

* * *

Птиц, поднявшихся в испуге,
Трепет в воздухе возник.
И при этом новом звуке
Я узнал, всего на миг,—

Эти улицы пустые,
Этот дождь, пошедший вдруг...
Будто дожил не впервые
До своих двадцати двух.

Распахнув мое сознание,
Привели меня сюда

Трудные воспоминанья
О не бывшем никогда...

Но не есть ли пробужденье
Неожиданное их —
Только некое сцепленье
Вечных звеньев мировых?

И в сырой аллее сада
Что-то с нами, в свой черед,
Как запомнилось когда-то,
Наконец произойдет.

Александр Шаталов

* * *

Моя—краснодарская хата
и мой—палисад под окном,
где рос виноградник крылатый
и лук с семенным чесноком...

Но так же зовутся моими,
хотя вспоминаю с трудом,
сарайчик с клетями худыми
и старый воронежский дом...

А как быть с украинским пылом
и с кровью, пролившейся всласть,
которую дед под Тагилом
отдал за Советскую власть?

А как же Москва, без которой
уже и не мыслю себя,
где столько и старой и новой
несхожей родни у меня?

Повсюду дядья или тетки,
сеструхи, братья, племяши—
эстонцы, казахи, литовки,
евреи, мордва, чувашаи.

Все те, без кого и не мыслю
ни жизнь, ни судьбу впереди,
кого обоснованно числю
по высшему рангу родни.

Мамед Фаик

ДЕВУШКА ИГРАЕТ НА КЕМАНЧЕ

Взгляни: от лунного луча
Светлеют в небе облака,
И ночь прозрачна и легка.
О чем ты плачешь, кеманча?

Моя соседка так мила,
Струятся косы по плечам...
Так трепетно тебя взяла
За тонкий гриф, о кеманча!

Поет, поет она: весной
Любовь как солнце горяча...
О чем ты плачешь, кеманча,
Скажи мне, кто тому виной?

*Перевел с азербайджанского
Виктор Забелышинский*

СОСНА

Когда ночь без сна,
О тебе, сосна,
Я не думывал никогда.
Без того, сосна,
Голова тесна,
За бедой у меня беда.

На тебя, сосну,
Лишь клонясь ко сну,
Я гляжу, отплывая в тишь...
И весной-красной,
И зимой седой
Зеленым-зелена стоишь.

А вчера во сне
На кривой сосне
Я врага своего узнал—
Черна ворона
На ту сторону
Света белого я погнал.

Ты скажи, сосна,
Ты откройся мне,
Что твоя означает тишь?
То ли век без сна,
То ли век во сне,
Не от мира сего стоишь...

Аркадий Каныкин

* * *

Один чабан до лет преклонных —
хозяйский недреманный глаз —
всегда сам-друг в горах студеньих
отары княжеские пас.

Семьей не стал обзаводиться,
но из равнинного села
в неделю раз ему вдовица
чуреки пресные несла.

А летом некоего года
поднялся нарочный к нему,
растолковал про власть народа
и про колхозы — что к чему.

Во исполнение наказа,
в людскую кипень, как в туман,
с немотствующих скал Кавказа
сошел с отарами чабан.

Ему под восемьдесят было,
когда горяночка одна
зажгла очаг и наградила
тремя сынами чабана.

И суетиться не пристало,
но о вещах, известных всем,
пытал он, как ребенок малый:
— А это что? А то зачем?

Такая детскость симпатична.
И надо думать, не со зла,
как о диковинке комичной,
о нем окрест молва пошла.

А юноша с орлиным взором
в стихах поведал всей земле,
что по заоблачным просторам
чабан затосковал в селе.

Вновь, дескать, рвется в поднебесье,
где воля, где на огонек
слетали со своею песней
к нему лукавый или бог.

Поэта старец седоголавый,
растроганно обняв, спросил:
— Сынок, а кто такой — лукавый?
— Черт! — А, понятно... Этот — был!

Сабит Мадалиев

ЗЕРАВШАН

Шоколадного цвета поток,
не вода, а горячий кисель.
Вымывает бурлящий песок
возле берега зыбкую мель.
Думу думают древние вороны.
Солнце Азии смотрит в лицо.

Ходит русло из стороны в сторону,
как расшатанное колесо.
Волны вздулись, как мышцы натруженные...
В золотые вступаю сады,
где иного богатства не нужно,
чем тепло этой мутной воды.

ВАН ГОГ

Ах, земля моя!.. Шрамы, ссадины
И разбитые колени.
Все воронки твои, все впадины —
Это словно глаза мои.
Хлеб горел от грубого зноя —
Только там тучнели поля,
Где дыханье мое земное
Напоило тебя, земля.

Изнывали в тоске бесплодной
Твой суглинок, твои пески —
На руке моей плодородной
Золотились твои ростки.
Я прощаюсь. Пускай подсохнут
Эти краски и мой закат...
На холсте моем — твой подсолнух.
Возвращаю его назад.

Игорь Кобзев

РЯБИНОВЫЙ ЖАР

Мгла висит, как сизая холстина,
Ствол березы сер на холоду.
Грусть взяла бы — кабы не рябина,
Гроздь разметающая в саду.

Как заря кораллового цвета
Или как вишневое вино,
Куст рябины радостью рассвета
Льется в запотелое окно.

С изначальных лет — не без причины,
А чтоб бодрость духа удержать, —
Любит Русь рябины да калины
Да еще боярышник сажать.

В небе хмарь, таящая угрозу.
Стынет в бочках ржавая вода.
Жар рябины, говорят, к морозу.
И пускай к морозу! Не беда!

Виктор Коркия

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА

Ночь монотонна. Тянется поезд в ночи.
Черно и просторно. Что делать! Ни слова — молчи.
Ну что, деревеньки, ну что, огоньки и поля!
Земля притаилась. Как будто родная земля.

Колеса стучат иль срывается сердце с цепи —
нет сил оторваться от этой холодной степи,
нет сил оторваться — овраги, низины, мосты —
от этой глухой, нечастной ко мне пустоты,
и смутно дрожит отраженье мое на стекле,
и мчится, и мчится по спящей, безмолвной земле.

Несоединимость, оторванность и беспредельность!
Как жадно хотел я почувствовать эту отдельность.
Темно впереди. И такая же тьма за спиной.
Как странно лицо проступает из бездны ночной!

Все дальше, все дальше!.. Уже от меня отделима
прошедшая жизнь — и товарный проносится мимо,
и снова, и снова — поля, перелески, лощины —
все глубже, все тверже у глаз проступают морщины
на желтом лице, отрешенно летящем по склонам,

как будто живом и, однако, уже застекленном,
и омут пространства, и дрожь отдаленных огней
сливаются с ним и становятся жизнью моей!..

Смотри же, смотри!.. В предосенней пронзительной
стыни

грохочет состав посреди среднерусской равнины,
и мимо — шлакбаумы, мимо — поселки, разъезды,
и снова лицо одиноко выходит из бездны —
не жизнь и не смерть, а какое-то их пограничье,
ломается время: не знаю, как завтра, а нынче —
лишь то и осталось, что вовремя прахом ушло,
и что убивало — в конечном итоге спасло!

Грохочет состав по холодной железной дороге.
Все наше при нас остается в конечном итоге.
Черно и просторно, и ночь беспредельная длится,
и ветер знобящий, и страшно к стеклу прислониться,
и — вот он, рубеж, вот он, час мой, и вот он, черед.

Иду по вагону назад — пролетаю вперед!

В МУЗЕЕ МАЯКОВСКОГО

Грядущим гражданам Вселенной
в музее, стоя у перил,
о Маяковском вдохновенно
старик преклонный говорил:
«Когда-то с Пресненской заставы
ходил к «филипповцам» один,
такой, как вы, высокий, бравый
юнец — «товарищ Константин».
Подпольщик, большевик упорный.
О чем ни спросишь — даст ответ.
А было от роду в ту пору
ему всего пяднадцать лет!
Ему б влюбляться в гимназисток,
переходить из класса в класс,
а он пошел в пропагандисты,
чтоб просвещать рабочий класс!
Его запомнил с первой встречи.

И вот, в Октябрьский юбилей,
в двадцать седьмом попал на вечер
в Политехнический музей.
Один поэт, всех ростом больше,
читал стихи.

«Гляди-ка, сын! —
вскричал я. — Это ж наш подпольщик,
в былом «товарищ Константин»!
Возобновили мы знакомство,
и он мне сразу доложил,
как жил, как словом стихотворца
народу преданно служил!
Да! Он служил народу славно,
и ростом и душой велик!»
Вот что рассказывал недавно
в музее старый большевик.

Дмитрий Смирнов

ПАМЯТИ Н. С. ТИХОНОВА

Навечно вычеканить строй
Железных строк в ночи железной.
И пусть по городу герой
Шагает огненною бездной!
Пусть взглядом Киров осенит
Бойцов железной обороны —
Железной выковки сыны
Не дрогнут, как в стволах патроны...

А сам творец из штаба шел.
Пойдет и завтра тем же сквером,
И с той же дерзкою душой,
И с той же закаленной верой.

Сквозь тьму смотрел перед собой —
Так, чтоб ни влево и ни вправо:
Как будто даже не тропой,
А шел канатной переправой.
Он знал: на лавочках сидят
Или лежат не люди — трупы...
Не отклонись, не дрогни, взгляд!
Еще плотней сомкнитесь, губы!
Реальность. Сквер. Вблизи — застава.
И наконец — желанный дом.
Два-три часа провальный отдых.
И пробивается с трудом
Сквозь подсознание мысль о звездах.

Борис Романов

* * *

В природе раствориться —
в сырую землю лечь.
Водою просочиться,
по жирной глине течь.

Вздыхать в глухом овраге
из глубины земной
и заполнять бочаги
в распадине лесной.

Ночами отражая
луну и облака,
как будто жизнь чужая,
мерцать издалека.

В этом году исполняется 75 лет со дня рождения поэта и переводчика Владимира Державина. «День поэзии 1981» познакомил читателя с оригинальными стихами этого самобытного мастера, которого высоко ценили Горький и Федин, Тихонов и Ахматова, Волошин и Пастернак. Мы намерены продолжить это знакомство, публикуя поэму В. Державина «Первоначальное накопление». Ее автору в пору создания поэмы было немногим более двадцати лет. Почти полвека это произведение не переиздавалось, а единственная прижизненная книжка «Стихотворений» В. Державина (1936), где оно было впервые напечатано, давно стала библиографической редкостью.

Думается, современный читатель заново откроет для себя эту поэму и по достоинству оценит «первоначальное накопление», вклад Владимира Державина в русскую поэзию.

Редколлегия

ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ НАКОПЛЕНИЕ

Поэма

«Это был величайший прогрессивный переворот, пережитый... человечеством, эпоха, которая нуждалась в титанах и которая породила титанов по силе мысли, страстности и характеру, по многосторонности и учености. Люди, основавшие современное господство буржуазии, были чем угодно, но только не буржуазноограниченными. Наоборот, они были более или менее обвешаны авантюрным характером своего времени. Тогда не было почти ни одного крупного человека, который не совершил бы далеких путешествий, не говорил бы на четырех или пяти языках, не блистал бы в нескольких областях творчества...»

Энгельс, «Диалектика природы».

«...В то время как буржуазия и дворянство еще ожесточенно боролись между собой, немецкая крестьянская война пророчески указала на грядущие классовые битвы, ибо в ней на арену выступили не только восставшие крестьяне... но за ними показались начатки современного пролетариата с красным знаменем в руках и с требованием общности имущества на устах».

Энгельс, «Диалектика природы».

«Но подражать в величии отцам бесславные сыны не научились...»

Байрон, «Чайльд Гарольд», IV, XXXIX

ПОСВЯЩЕНИЕ

I

В чернильнице моей поют колокола,
Склоняются дубы над крышей пепелища,
В ней город затонул — где прежде ты жила;
Нырять кит, судов проламывая днища;
И каплет кровь с ветвей, где ночь любви вела
В кабаньих зарослях осенние игрища.
И гекатомб венец в сто сорок кораблей
Антоний утопил в чернильнице моей.

II

Где тополя шумят над красной черепицей,
Клен черный с яблоней сплетаются в окне,
Где смотрит дом в закат чердачною бойницей,

Там было суждено взглянуть впервые мне
В нагую глубь озер той скорби темнолицей,
Той властелинши, чей напев звенит во сне
Глухом, младенческом (лишь бурю догадки
Вздувает памяти чудовищные складки).

III

Как желтых туч пласты — осенние леса
Хоругвью шелеста твое клубили имя.
Со dna сознания преданий голоса —
На алых лошадях, под гребнями седыми —
Им смутно вторили... Песчаная коса
От волн хохочущих дрожала. Будто — в дыме
Ночном чуть видима, хватаясь за кусты, —
С большой толпой подруг идешь купаться ты...

VIII

Кровавый зодиак наживы... Подорожник —
Крещенских стариков водивший по снегам
В семейной библии — погас. И сын-художник
Несет в охапке жизнь к шпателям и горшкам,
Чтоб холст дышал и жег. А внук его — безбожник:
Дивятся города чудным его речам.
Он проклят папою и выгнан из Сорбонны,
Но под его рукой качаются короны.

IX

Был первый — бурями дубленный мореход,
Чья страсть была живой подпорой мироздания;
Второй — провидец душ, чей обожженный рот
В горящей песне лил итоги и желанья,
Не помня сам себя, им говорил народ.
А внук был фаустом, и тайное дознание
Пылало фонарем и шпагою стальной
Звенело под его перчаткой боевой.

X

...Читал я хронику семейства великанов.
Был поздний час; их круг ожил передо мной,
Тянулись пальцы их подобием таранов,
Казался разговор мне пушечной пальбой,
И благовонный пар над бочками стаканов
Мешался с чадом свеч и сыростью ночной.
Ночь замирая шла. Шипели вязы в парке.
И я прочел: «Телем» на обомшелой арке.

XI

Тонул огромный двор в листве. Оконный свет
Мелькал сквозь дерева. И сад гремел и цокал
Мильоном соловьев. Вот окна в кабинет,
Учитель за столом, где в клетке дремлет сокол:
По лбу ущельями пролег сомнений след;
Вот башня книг пред ним, бутылъ и пыльный цоколь
Монтеня медного. И я вступаю в дом,
Дивясь на статуи и живопись кругом.

XII

Столетний лак потух, но давка и движенье
Десятков сильных тел сверкают на холстах.
Наморщенные лбы и шейных вен сплетенья
Показывают мощь. В лес мчатся на конях
Охотники. И труд былого поколенья,
В корзинах, девушки проносят на плечах.
Там спорят старики и толстой книгой в споре
Стучат об стол. А там — корабль спускают в море.

XIII

Везде я знак трудов любимых отмечал,
Должно быть — радости жилище эти своды,
И в зыбке океан строителей качал
У молодых сосков смеющейся свободы.
...Косматой пыли слой на оспе стен лежал,
И с моря теплое дыханье непогоды,
Курлыча ставнями, дырявыми давно,
Швыряло капельки в разбитое окно...

XIV

Тогда в огромный зал вошел я. Был он полон
Толпою шумной. Стол под серебром дрожал
Снопом огней. В окне, гася звезду за молом,
Бриз надувал кошму, как парус. Свет сбегал
По желобам колонн, по женским шеям голым
И на щеках, зарей обрызганных, плясал.
Выл контрабас, кишки на пузырях гнусели,
Тарелки медные сшибались и звенели,

XV

Даль отражая. Пол жужжал от каблучков.
Меч поднят. С ним другой скрестил, горяч и ловок,
Неуязвим от шпор до выблеска белков.
То погружаясь в тень румянцем лиц безбровых,
То снегом плеч горя, сквозь коридор клинков
Шли в танце девушки. И жир из туш воловьих
Лизали с блюда псы. И шумно, как гроза,
В проломы музыки врывались голоса.

XVI

Граненых кубков треск, их женщин громкий хохот,
Чьи веки взрезаны причудливым ножом,
А выем губ в густой крови смочила похоть,
Прибоя колокол, гудящий черным дном,
В листве прилива шум и ливня смутный грохот,—
Все разом в капище сшибалось звуковым,
Где эхо у стропил, как филины, гнездится
И перекошены во мраке статуй лица...

XVII

Но младший, — чьи виски жевательным тяжом
Утолщены, а взгляд горит умом и злобой, —
Там не был. Он сидел за письменным столом,
Где в башенном стволе воняет сырью гроба
Пасть библиотеки... Уж брызгала вином
Заря над головой его широколобой.
На коже слюдяной писал он: ...в чаше букв
Шел человек. Про жизнь шумел корявый бук

XVIII

Над люлькой; под семьей, как под судном, подпору
Подшибли; руль трещит в потоке бытия.
Вот рынки Гоа, где Камознс с богом в ссору
Вступил, разбойникам судом судьбы грозя.
И в Гоа, в долговой тюрьме, в лицо позору
На каторжной скамье глядит он как судья.
Лишь голова его, на стебле сильной шеи,
Под грузом выводов склонилась тяжелее.

XIX

Над домом королей, окаченным зарей
Двух Индий; над венцом, что выковал вчера лишь
Торговец неграми! Над библией глухой
Трех океанов, где сочится кровью в залеж
Страниц топор отца!.. Не так же ль золотой
Добычей трудных дней ты черный трюм завалишь,
Но, волей сил слепых иль дьявольской руки,
Бочонки дома вскрыв, увидишь черепки...

XX

...Расколотыми в ночь затылками обляпав
Ступени, волоса приклеив к косякам,
Спят города. В снегу летящем гари запах
Пугает коней. Здесь князьям и бочарам
Попойку дал раздор. В окостенелых лапах
Эфесы сломанных клинков, осколки рам
Возле веранд. Кругом дома пылают. Меди
Трезвон на ратуше... Здесь меряли соседи,

XXI

Чьи гири тяжелей у жизни на весах,
Чья молодость буйней, чья истина моложе.
...Вот звезды сыплются с мечей. Столы впотьмах
Повалены. И гость заколотый в рогоже
В сад вынесен тайком... А полночь в воротах
Стучит в подвальный люк. Под задранною кожей
Синеют мышцы. В труп украденный свой нож
Пытатель истины вонзил, чтоб первый грош

XXII

В копилку мысли лег рублем... Он как ребенок
В ночном лесу, когда под северной трубой
Ревет листва, и страх коню на перегонах
В кровь раздирает рот закрученной уздой.
Он бьется, как в цепях, в отеческих законах;
Рвет их и, цепь крутя с прикованной скамьей,
Бьет ею в купола судилищ, в лица судей,
И в череп неба бьет, уж не прося о чуде!

XXIII

Джордано Бруно рос в монастыре. Тайком
Читал Ван-Гельмонта и Регио-Монтана.
Кадильниц хриплый звон и гул органа днем
Он слушал. Ночью труд и мысль. А утром рано
Поет животное вселенной за окном,
Смеется девушкой, жужжит листвою платана.
Столетий лопасти проносит колесом
Неисчерпаемый, живородящий дом.

XXIV

...Тогда он в ереси был обвинен. Но вскоре
Он свищет плетью в лад неслыханным словам
О небе и земле. То в школе, то в соборе
Громя попов, а то — рукой, сквозь копыя рам,
Нагнувши клен планет к скамьям аудиторий,
Он весть свою понес торговым городам,
Где шкуру мир менял, где мысль роилась гуще.
И был сожжен живым, чтоб вслед за ним идущий,

XXV

Сжав горсть его золы в суровом кулаке,
Поклялся быть неукротимым!.. У другого
Отец был мужиком. Ребенком на песке
Пред замком, с головой отца чернолиловой.
Вчера отрубленной, сидел он... Налегке,
Охлестан ужасом, бежал. Но каждый новый
День бил его в лицо и в душу лапой гроз.
Так стал он Мюнцером. Зрчков крутой закос,

XXVI

Из-под надбровных дуг, зажегся злом и силой;
Стал боевой трубой косноязыкий рот.
И ужас, вырытый в мозгу сплошной могилой,
Поднялся разумом, чтобы вести народ.
В те годы хлеб дотла Германия свозила
Обозом податей у замковых ворот.
Нужны баронам шерсть и золото. Крестьяне
Остались без земли. Глухой набат восстаний

XXVII

Ударил!.. Лапами лесистые хребты
Тянулись. Волоском на них — двухвековая
Сосна. Внизу лежат книг меловых листы,
Разбухшие тома в ущельях раскрывая,
И старцы ледников бросают с высоты
Седины падунов... Ушла вода дневная.
На перевалы пар ползет, по глыбам скул
Шум водопадов слит в сквозной, всеобщий гул.

XXVIII. XXIX

Горят на башенках разбойничьи костры.
Туманною звездой мигает горный город.
Дымится кузница в лесу. Возле дары,
Где ищут серебро, скрипит бадейный ворот.
Бегут стада овец на графские дворы.
Под ветром расстегнув корой засохший ворот,
Вдавлив кожух в плечо тяжелою киркой,
Идут забойщики усталые домой.

XXX

Несутся облака, нагруженные солью,
И сыплют белых искр осиплый звон в лесах,
Качая лапы хвой, стуча дубовой голью,
Срывая камни с крыш и воя в рудниках.
И стонут путники, томясь трудом и болью,
Застигнутые тьмой и бурей в облаках.
И песню прежних дней в пастушеской лачуге,
Под лютни вьюг, поют за прялками подруги...

XXXI

Раскачивая гул тревоги по горам
Глухого Шварцвальда, ходил он, подымая
Деревни, рудники и города. И там,
Где Мюнцер шел, в волнах пожаров, расшибая
Ворота замков, бунт взрывался! Пополам
Расколото ярмо. И, шею разминая,
Каким еще никто не знал его, народ
Поднялся до неба затылком! Целый год

XXXII

Пятисотлетние гербы со стен крошились
Под ломом мужика впервые на земле.
Попы бежали в Рим. Монастыри дымились.
Шли усмирители по пеплу и золе,
И на обломки гнезд разбойничьих катились
Повстанцев головы. И замок на скале,
Раздавленный ногой войны, по нищим кровлям
Рассыпал кирпичи и вновь не восстановлен.

XXXIII

Пал Франкенгаузен. Последней голова
Вождя обрублена. И хомутище новый
Сжал деревень кадык. Но медные слова
Легенд гудят в веках под заревом становий
Как почернелые колокола. Едва
Взойдя, крестьянский рай обуглен. Лишь грозовой
Туч полосой в горах еще дымится он,
Где ржавой трещиной расколот небосклон...

XXXIV

...Глаза навывкате в припухлых веках. По лбу
Оврагом пролегли скитанья. Вырез губ
По-жабьи крут. Рука в ожогах, словно колбу
На колдовском огне он грел. Мореный дуб
Лица, и грубый плащ, в каких ячмень и полбу
Отцы на барщину возили. Бронзой групп
Скульптурных перед ним в глуби ночных подвалов
Теснится нищета. На желобах кинжалов

XXXV

И на раструбах дул рассвет блеснул. Тот день
До полдня свечерел... Опять блестящ и жуток
Войн карнавал пылит; и цокает под сень
Ворот Антверпена, в шпалерах проституток,
Под старшим Габсбургом опененный игрень.
На полпудовый шлем с гвоздикой фландрский лютик
Угрюмо нацепив, своих купцов покой
Сам Альба отстоит костлявою рукой...

XXXVI

Всем бортом грянул залп. Фальшивый жемчуг пены
Всклубился под кормой, высокой как собор.
За бледным берегом, мерещась, всплыли стены
Руана и Кале. Звездой блеснул Кагор.
И кожу англичан обмазал жир Сиэны,
Пока сошлись войска плавучие в упор.
День облака гасил. Шла ночь лиловым паром.
И целый век одним потоплен был ударом.

XXXVII

...Так позже: пушек дым и моря синий пар,
Клубясь, мешались над взмыленной водою.
Вот адмиральский борт сигнальный дал удар;
Ядро запрыгало по волнам.— Люки, к бою!
— Матросы, по местам!—И дрогнул Трафальгар
Отгула кольцами. А буря шла стеною
С каемкой розовой... и лесом костылей
Был дома возмещен потопленный трофей...

XXXVIIa

Зачем? Их смысл один: то двое сыновей
За океан дрались, как свиньи за корыто.
Король и Шейлок там, здесь выскочка Вольсей
Давно просеяны сквозь золотое сито.
Не цепь Алариха, не двадцать королей,
В придачу к трону нос с горбинкой знаменитой
Дававших сыновьям: в руках держала власть
Колоды торгашей оранжевую масть.

XXXVIII

Гез повалил столбы Испании торговой.
Ей выбил пивовар последний крепкий зуб.
Кастилец, брякая раскованной подковой,
Рвет конский бок, спеша за пограничный дуб.
И Ламме отразил в поту щеки багровой,
Как в блюде, стол обжор, снег между женских губ,
Большой фонарь луны над миром, как над домом
Веселых баб, под треск фужеров схожий с громом

XXXIX

Салюта дальнего с фрегатов молодых,
Что реют мотыльков многопудовых стаям
На взморье! В погребке, в кругу друзей своих,
Иль книгу городов и стран ногой листая,
Он слышит лет судов. На доски палуб их
Оперлась родина, за горизонт шагая!
И, до звезды плеща, под воротами ног
Седой Атлантики мурлыкает поток.

XL

И он стирает пот со лба, как утомленный
Работой землекоп. Он сваи бытия
Врыл для родной страны, как дед крепил наклоны
Держащих море дамб, где— что ни горсть— своя
Лопата погнута. Над ним бушуют клены,
Что в детстве он сажал. С ним пьянствуют друзья—
Ткачи, пирожники и кузнецы,—солдаты,
Вчера лишь на чердак забросившие латы.

XLI

...Из шлюпки на берег выходят гости. Их
Здесь ждут уже. «Пора!» И в срок они успели
Бежать из миртовых лесов и от своих
В навозе гуннских орд зарытых колыбелей,
Где выпестован Рим, где раньше их самих
Эллада нянчила. Их лица огрубели
Под ветром тех земель, что только поутру
Прошибли в скорлупе яйца времен дыру...

XLII

Не южный городок, затянутый зубчатым
Ремнем стены, а вся страна, смеясь, цветет
Ветвями рек! Суда, багря крыло закатом,
Скользят, как бабочки, над зеркалами вод,
Торговым грамотам, наместничьим печатям
Дал силу городской, пронирыливый народ,
Чтобы республика окрепла молодая,
Законным грабежом свободу подпирая.

XLIII

Вновь колесом контор и сданных в рост корон,
Где папой—дисконтер, а Колизей—как барка
На отмели веков, и старый Авиньон—
Тавром позорища, что вжег ему Петрарка,
Закатывался Рим—денница двух времен.
Как поп из Франкфурта, с гаагским Суперкарго,
В плотине севера поворотив навой,
Течь помогли годам дорогою другой.

XLIV

В домах с балконами справляют новоселье
 Сыны и дочери с двузорьем на щеках.
 Пылают фонарей и плошек ожерелья,
 Грызутся кобели цепные в воротах...
 А за проливом ночь, и брезжит лоб Кромвеля
 Над гробом короля, в дворцовых зеркалах.
 Проходит часовой, мерцая протазаном,
 И даль дождливая гудит бродильным чаном.

XLV

Расшивой Конунга врубившись в берега,
 В мель, как топор, всадив нос корабля горбатый,
 Завоеватель снял с нашламника рога.
 Под замком высохли широких рвов раскаты.
 Туман над Гастингсом. И тонкие снега
 Лесоторговых шхун вздувают холст косматый.
 Над морем Северным задумавши лететь,
 Они в ночных волнах свою сжигают сеть.

XLVI

Там корабли плывут к далеким и соседям,
 Под горло Арктики, к неизвестной реке.
 А Лондон окупел свирепым домоседом,
 Псалтирь и мушкетон держа в сухой руке.
 И мещанин-боец под бляенье обеден
 Бряцает шпорою на толстом сапоге.
 Стеклашками блестя сквозь испитую маску,
 К колету он прижал прорубленную каску...

XLVII

Как скряга, по грошу он копит рода мощь,
 Сперва боясь рискнуть и медяком щербленим,
 Подпертым библией. И двухсотлетний дождь
 По мордам каменным и трубам искривленным
 Течет с Вестминстера. Из опустелых рош
 Ушла Титания. Лишь кипением зеленым
 Бушуют клевера — кормежка для овец,
 Да plomb дверных блестит под фонарем свинец.

XLVIII

Не тучи, древней лжи стоярусные своды,
 Казалось, старая Европа подняла.
 Вдоль пристаней текли ноябрьской Темзы воды,
 Дробя скупой огонь кабацкого стекла.
 Кричали флюгера под лапой непогоды.
 На много миль толпа к позорищу текла.
 В тот вечер был Дефо к столбу привязан стоя,
 И по щеке его текло яйцо гнилое.

XLIX

Дант, сжав подковы губ, лица не обернул
 На драный манускрипт пожарища, развитый
 Над крышею родной. Плавающих тюрем гул
 Камознса рукой, древком весла разбитой,
 Возжжен в листы зыбей! Быть может, потонул,
 Как Кларенс, в бочке, тот, чье имя позабыто,
 Кто назван Шекспиром. Иль откатил палач
 От шеи головы его тяжелый мяч?

L

Но как его весна под затхлым дном шумела!
 Соленых солнц круги на бочке золотой...
 Пучина по ночам ломилась в стены мела,
 Столичный тракт пестрел торговою толпой.
 Жизнь через край он пил, и дно ее горело
 Любви, убийств, легенд и судеб теснотой,
 Как океана дно в чудовищном отливе,
 Флот захлестнувшего в своей бегущей гриве.

LI

Аббатства черный кряж, где рос он, одичал.
 На свитках со шнурков осыпались печати.
 Покрылись плесенью столбы заветных зал.
 Он рос отверженцем. И мимо, в желтом чаде
 Наживы, денежным потоком грохотал
 Его отвергший день. Одна щека в закате
 Столетнем, на другой — багровый утра блик:
 Так, в Воротах Двух Зорь он поднял темный лик.

LII

...Кружились полночи; в померкшей ли эмали
 Морского купола, в крещенских ли снегах,
 Веселья пушками и пропастью печали
 Дыша и отклики будя в ночных горах,
 Чтоб крепче бунта цепь друзья его сковали...
 И утром не перо, а меч блеснул в руках,
 В отсветах песни той, что пела мать над зыбкой,
 Под гипсом двойника с трехвековой улыбкой...

LIII. LIV

...Антоний губит флот за поцелуй. Во вздутых
 От злобы венах крудь Кориолана. Меч
 Кольчугу Глостера прорвал. И Шейлок в путах
 Берет врагов как рыб. А в днище Рима течь;
 Но цезарь пал... И вот, кольцом волшебных суток,
 Все бытием кружась, в базарах, в гуле сеч,
 Как на оси земля — на пальце великана
 Несется хоровод Причуды и Обмана...

LV

А в море, воротник зубчатый отогнув,
 На кожаный камзол под шеей, побурелой
 От кулака удач, разбойник выгнув клюв,
 И стадо парусов как стадо птиц шумело,
 Как пушки хлопало над палубой, вдохнув
 Простора. А в тугих снастях — все та ж — звенела
 Лет ярость. Лишь у ней учетверилась власть,
 Чтоб каторга миров громаднее неслась.

LVI

Он слышит: сквозь века трубят над океаном,
 Подняв до облаков уступы серых шей,
 Как вавилонский столп огромные, туманом
 Обвитые, дома далеких сыновей...

 А дальше все темней,
 Все непонятнее времен идущих голос.
 Как будто мир сгорел и небо раскололось...

LVII

Где шел он — векселя и деньги из ларей
Текли и города прекрасные вставляли,
Империи росли и падали; темней
Густела ночь, солнца багровей освещали —
Чем прежде — пыль дорог. И, в лязганье цепей
На неграх, табаки под ветром бушевали.
Стал сыну тесен дом отца; лишь океан
Не тесен был ему. Восьми морей туман

LVIII

Его околдовал. Над ним клубились тучи,
Как перья в двести миль на шляпе! А плащом
Ему был ураган и складки водной пучи.
То в небо черное швыряясь кораблем,
То бросив с облаков, с десятиверстной кручи,
Чуть киль не ободрив блеснувшим слизью дном,
Где города лежат и волочится тина,
Как мамка — баловня баюкала пучина!

LIX

О, мамка естества! То миллион грудей
Вздымая до звезды, то днище оголяя,
Ты пенным молоком вспоила сыновей,
Их головы судьбой и славой озаряя!
И говор твой, как мир, то мягче, то грозней
Им души наполнял... О, пьяная, седая
Кормилица семи умолкнувших веков!
Твой шепот слушал я в проломах детских снов.

LX

И мне мачтовый лес ревел над колыбелью,
Сгибаясь до земли под западной трубой
Дыханья твоего! В степях шума метелью,
И настежь, в кольцах бурь кружась над землей,
В горячий лоб хлеща соленою капелью,
Ты грушей Арктики склонялась надо мной,
Где прыгают в зыбях киты, где сквозь туманы
Траулера плывут и сети-великаны

LXI

За ними тянутся, как облака... Пора
Настала, и меня ты подняла на пенном
Хребтище. День тонул. Завыли рупора
Ненастья. В брызгах бот нырял под сильным
креном.

Далеко в дымке птиц курились траулера
И плыли льдины. Ночь ползла к норвежским стенам.
Ты ж обняла меня и обнесла такой —
Как мира молодость — отвагой и тоской,

LXII

Такою памятью огромной, что и в капле
Ее я утопил бы землю и зарю
И душу!.. Роя зыбь дубовой носа саблей,
Бриг диссидентов плыл, раскрывши сентябрю
Все паруса. От волн бока его ослабли,
И брызги клочьями текли по фонарю
Над черною кормой, где выдолблено имя:
«Майфлауер». Облака тонули в медном дыме

LXIII

Заката. Под бортом, вся в пузырях, плеща
И в днище бухая как в колокол, хмелела
Вода. Подняв из волн отлогий горб плеча,
В заре Америка неясно засинела,
И чайки к кораблю слетались крича,
Как буря снежная. Убийца, поседелый
На каторге, закрыв рукой глаза, рыдал,
Упав на палубу. А материк нырял

LXIV

В заре, как синий кит, и близился! Так дважды
Был Новый Свет открыт. Толпою каторжан
Они взошли на борт; сошли семьею граждан
Великой родины... Их золотой обман
Погас. Со лба вре́мен, скоробленный от жажды,
Венок осыпался. Сквозь утренний туман
Ворота новые горят багряной аркой,
И день встает, и в них земля всплывает баркой.

А ТЕПЕРЬ ВОЗВРАЩАЮСЬ НАЗАД...

А теперь возвращаюсь назад — и всю книгу обратно листаю,
Ибо новых страниц у земли уже нет для меня.
И у старых своих пепелищ в эти строки золу собираю,
Согревая свой дух у былого огня.

* * *

Допою свои песни земные,
Догляжу свои сны до конца.
Ах, плывите вы, струги резные,
С моего золотого крыльца!

Устремляйтесь, жемчужные реки,
С ворожейных ступенек моих.
Запевайте, варяги и греки,
У раскрашенных весел своих.

Не желаете ль меда и хлеба?
Не хотите ль моих соболей?
Под лучами российского неба
Дорогих принимаю гостей.

И едва лишь на званом соборе
В золоченые гонги пробьют,—

Восподнимутся лебеди с моря —
И по этим струнам поплывут.

Только выгнутся белые шеи,
Засияет луна под крылом,—
Заходите, любезные свеи,
Не скучайте за нашим столом!

Пронесемся на берег урманский,
Вознесемся на желтый хребет.
Под навесом моим шемаханским
Ничего невозможного нет...

Ах, плывите же, струги резные,
С моего золотого крыльца!
Допою свои песни земные,
Догляжу свои сны до конца.

* * *

Деревенька была небольшая, совсем небольшая.
За полсотню дворов — на пригорке, поросшем травой.
В два порядка дома. Дом родителей — с самого края.
Вот он смотрит на юг. Там — овины и клин полевой.

А за нами — сарай в извечных метелках пырея,
И в поленницах дров, и с пометом от кошек и птах.
И под солнцем весенним сушились веревки и шлеи,
Хомуты и седелки, и дровни при всех копылах.

А кругом — все поля, да луга, да уголья лесные.
И хлеба колосились буквально — у самой избы.
И могу повторить, что родился я в сердце России,
Это так пригodiлось для всей моей грешной судьбы.

И в густейшем укропе тонули все наши усадьбы,
И в пасхальных качелях звенели все наши дворы.
А по свежим снегам проносились веселые свадьбы,
И пестрели на санках дерюжные наши ковры...

До чего же давно прошумели все эти забавы!
И давно уже нет на земле деревеньки моей.
Там весною теперь зацветают покосные травы,
И в густом ивняке запекает в ночи соловей.

Но живут в моем сердце все те перезвоны ржанные,
И луга, и стога, и задворки отцовской избы.
И могу повторить, что родился я в сердце России,
Это так пригodiлось для всей моей грешной судьбы

* * *

Года идут, года идут,
А мы всё ближе к вечности.
А люди пляшут и поют,
Не чуя быстротечности.

Тари-рарам! Тари-рарам!
И ни к чему нам сонники.
И только жмут по вечерам
Гитары и гармоники.

А годы пляшут и поют,
Хрипят в рога железные.
И через хладный мой закут
Прорвались вихри звездные.

А с ними звездные миры
Сквозь сны мои проносятся,
И рвутся лунные шары —
И в эту песню просятся.

Тари-рарам! Тари-рарам!
Поет гитара милая.
А солнце меркнет по утрам
Над каждою могилою.

Глядится солнце в мой закут
Застылым оком Млечности.
А струны пляшут и поют,
Не чуя быстротечности.

Тари-рарам! Тари-рарам!
Звезда моя! Вероника!
А слезы скачут по струнам,
А за окном — гармоника.

И только ходят под рукой,
Хрипят лады железные.
И только рвутся со струной
Рыдания бесполезные.

ИМЯ ТВОЕ

Даже былье
Станет травой,
Станет рябиной.
Имя твоё —
Вздых вековой,
Зов лебединый.

Столько прошло! —
Что не молю
Я о прощенье.
Болью прожгло
Память мою
По возвращенье.

Где ты была—
Знал ли боян,
Вещий к тому же?
Или пошла
Ты на древлян
С местию за мужа?

За острие
Верю копьём...
Верю преданью!
Имя твоё
Не отдаю
На поруганье!

Корнем в золе
Ищет трава
Выход к столетьям.
А на земле
Мати жива
Именем этим.

Мати жива!
Честь и хвала
Белому свету.
Славят молва,
Ставит хула
Черную мету.

Крепнет родство,
Длится мое
Воспоминанье.
Не колдовство
Имя твоё,
Не заклинанье.

Не волхвовал
Ни на крови,
Ни на водице.
Не сплеховал:
Прежде любви
Я не родился.

Врет воронье,
Будто таю
Верное средство.
Имя твоё
Я отдаю
Дочке в наследство.

Вьётся былье
В наше окно,
Гаснет рябина.
Имя твоё
В мире — одно
И триедино.

РАЗЛУКА

Какие вёсны
Скрылись за излукой
Степной реки!
Всплеснули весла
Над моей разлукой,
Как две руки.

И берег прежний
На глазах растаял —
Размылся вдруг.
И много строжней
Позади оставил
Смоленный струг.

Нельзя же вечно
Верить в наважденья
И в чох, и в чёт!

Но бесконечно
Сквозь твои владенья
Река течет.

И только гуси
Слезно прокричали
И высоко,
Как будто гусли
Всколыбнул в печали
Хмельной Садко.

Поплыли звуки,
Силу набирая,
В слепом дожде.
У той разлуки
Нет конца и края,
Она—везде!

* * *

Я белой ночью встал и к Северу пошел,
поскольку не спалось от местной бормотухи,
и тусклым был мой взгляд, и был мой шаг тяжел,
и мне глядели вслед поморские старухи.

Я поднялся на холм — стучала кровь в висок,
и я замедлил шаг, чтобы окинуть взором
пристанище для тех, кто улеглись в песок,
за много тысяч лет намытый Белым морем.

Могилы без имен. Трухлявые кресты.
Старославянский шрифт раскольниковых заглавий...
Чем дольше я глядел в размытые черты —
тем слышалось ясней с кустарных фотографий:

— Как должное прими, что нет венков и лент,
что смыты имена рекою быстротечной,
лежим в одной земле — кто заработал крест
и кто навек укрыт звездой пятиконечной.

* * *

Пахоты коричневая мякоть,
мелкий дождь да бесконечный путь,
чтобы не упасть и не заплакать,
надо о другом о чем-нибудь...
Чтоб из мглы не выплывали лица
всех ушедших медленным путем,
всех сумевших с пахотою слиться,
с травами, закатами, дождем...

* * *

Я приехал проститься с тобой —
страшно вымолвить слово! — навеки,
потому что нельзя, чтобы боль
слишком долго жила в человеке.

Я люблю эту теплую дрожь,
что в пространстве под вечер струится,
но ты видишь: серебряный ковш
над хребтами бесшумно кренится!

* * *

Звезды над головою,
пыль над овечьим стадом...
Кто там бредет тропкою
прямо под звездопадом?

Шерстью, костром и мясом
пахнет земля во мраке...
Где-то в селенье рядом
лаем зашлись собаки.

Ковш семизвездный сверху
льет серебро на землю.
Птица качнула ветку
и промелькнула тенью.

Здесь северная жизнь, здесь ветер и снега,
здесь дерево гниет и сталь ржавеет споро,
а тот, кто устает, — уходит навсегда
и попадает в мир забвенья и простора.

Лежи себе, как все, да слушай моря шум,
да тяжкий шорох льда во время ледохода,
лежи и не смущай людских забот и дум,
как не смущает их безмолвная природа.

...Светлели небеса, и солнце на волне,
едва коснувшись вод, уже опять всходило,
и, шею изогнув, кобыла на холме,
как изваянье, вдруг торжественно застыла.

А волны все шумят, а рыба все идет
в холодной глубине на неизбежный нерест,
а гуси все летят, и под ногой цветет
сиреневый цветок — неистребимый вереск...

* * *

Надо сигарету в зубы сунуть
и на мировую смуту плюнуть,
а иначе душу съест печаль,
только жаль тебя, моя подруга,
только жаль беспомощного внука,
только красоты и жизни жаль...

Видишь сам — побелели хребты,
предвещая ненастье и стужу...
Я не знаю, что чувствуешь ты,
но прошу: отпусти мою душу,

чтобы воспоминанья не жгли,
а бесшумно и медленно плыли,
поднимаясь от влажной земли
к звездной стуже, к искрящейся пыли.

Сядь в ореховой чаше —
нужен покой уставшим...
Яблоку не сыщешь слаще,
чем в саду одичавшем.

Пусть одичает память,
пусть зарастет дорога,
воля пускай устанет,
чтоб отдохнуть немного.

Тянь-Шань.
Сентябрь 1982

Игорь Шкляревский

* * *

Смотри, овраг еще живой.
И кладбище пока живое,
хотя уже со всех сторон
его зажал микрорайон.
Смотри, уже холодный свет
нигде преграды не встречает.
И старый ворон облетает
наш дом, которого уж нет...

* * *

Навеки оторваны двери!
В автобус рванулась толпа,
как в малые реки плотва.
У дядьки глаза озверели.
Кричит: — Обождите! Пойдите! —
Пролез. И орет: — Отправляйте... —
А тетка взывает: — Пойдите!

* * *

Был нож золотым от сияний.
Я красную рыбу вспорол,
и шлепнулась тушка в рассол.
Сквозила тоска расстояний...
От счастья все тело тряслось.
Мошка мою жалила спину.
Но твердое сердце лосося
с обрыва я бросил в стремнину.

* * *

Стучат в голове поезда.
Пронзительно воют турбины.
От страха бледнеет вода
и падает с криком с плотины.
Железо гремит и несется!
В каких-то мелькнувших кустах
Пульхерья Ивановны прах
трясется, трясется, трясется...

Ведь надо же всех подобрать. —
Пролезла. Орет: — Отправляйте. —
Затиснули. Нечем дышать.
А я с дорогой папирсой,
в немятой одежде своей
сиду в холодке под березой,
как будто я лучше людей.

Удачей клянусь, я не знал
старинных нормандских обрядов.
Но если в струе водопада
лосося тайком добывал, —
я сердце реке возвращал!
Потоку «спасибо» кричал.
И как бы случайно на камне
что-либо свое оставлял...
Откуда я все это знал?

Сергей Алиханов

* * *

Завсегдатай задворок, заворачивая за углы,
Ты в любых городах находил переулочки такие,
Где запах олифы и визг циркулярной пилы,
Где товарные склады и ремесленные мастерские.
И со сторожем ты заводил разговор не пустой,
И настырно просил в его жизни открыть подоплеку.

А сторож молчал: он смотрел на огонь зимой,
А летом — на реку, протекающую неподалеку.
Ты сшивал лоскутки разношерстного бытия,
Радовался, что мозг впечатления копил.
И, быть может, впустую шумела надежда твоя,
Что отсутствие знаний заменят привычки и опыт.

НА СЪЕМКАХ

Недостаток воды наложил на людей отпечаток.
Как ты с нами суров, зверолов!
Мы просили тебя, чтоб ты был, по возможности,
краток,

Но сказал бы хоть несколько слов.

Только зря режиссер стал сулить тебе скорую славу,
Ты пресек его сразу, любителя северных тем.
И сказал то, что думал:

кто ехал сюда на халяву,

Тот уедет ни с чем.

ЗЕМЛЯ С КУРГАНА СЛАВЫ

Мне капсулу с землей
Вручили на кургане.
Священная земля
Теперь в моем кармане.

Я капсулу разжал
И высыпал крупички...
Земля должна рожать,
А не сидеть в темнице.

Ник. Новиков

ГОРЬКИЙ ДЫМ

Нет, я не буду говорить
про порох и свинец.
Отца не стану я корить,
хотя и пьет отец.

Зато какие ордена
у нас в шкафу лежат!
Как благородна седина
фронтовиков-солдат!..

Однако жить да поживать,
добра и денег наживать
нет у солдата силы.
И тяжело ему стоять,
невыносимо как стоять
у собственной могилы.

Он пьет дешевое вино,
глочет острый дым.
Двух жизней людям не дано.
За что две смерти им?!

Я стисну зубы и спрошу
с мучительной тоской,
да, стисну зубы и спрошу:
— Зачем ты мне... такой?

Он покачает головой,
глочет свой горький дым,
и скажет: — Нужен... Для того,
чтоб не был ты таким.

Иван Савельев

* * *

Весна. Половодье. В деревню уже не пройти...
Как смело весенние реки спрямяют кривые пути!

Не зная, где русло, забыв тесноту берегов,
Увозят на льдинах кусты и остатки стога.

Среди ликованья земного я сяду на мшистый пенек,
И к горлу подкатит внезапной печали комок.

И сам не пойму, отчего это я — жизнелюб,
Услышу соленость на краешке вздрогнувших губ.

Я буду на льдины невидящим взглядом смотреть
И стану кого-то — себя ли, другого ль — жалеть.

Пусть ветер колыхает антенны прибрежных кустов —
Я их не услышу, я к музыке их не готов.

И пусть жаворонок обрушит небесную песнь —
Ей слуха не тронуть. Сегодня я — зрение весь.

Сегодня сижу я с весною — один на один,
Глаза прикипают к сплошному движению льдин.

Плывайте, плывите, закат различая вдали,
Веселые льдины и лучшие годы мои...

ДЯДЬКА

Дядька мой, живя у леса,
Лес пилил, рубил, сажал.
Но всегда любил железо,
Как «рабочий матерьял».

У него на каждый случай
Инструмент налажен, чист...
И дрожит в руках гремучий,
Тонкий, нервный и певучий,
Ладно выкроенный лист.

То ли это просто донце?
Шестеренка? Колесо?
То ли это выйдет солнце
На заветное крыльцо?

Золотые руки редки,
Как известно искони.
Просят вдовы соседки:
— Василь Федрыч, загляни!

Крыша ржавая нас мучает.
Кто поможет, как не ты!..—
И опять поют певучие
Под киянкою листы.

И при виде дела сущего
Бабья скажется тоска:
«Кабы мне не сильно пьющего,
Делового мужика...»

Лишь работу он заканчивает —
В потолок пары от шей.
И хозяйшка стаканчиком
Полным потчевает: — Пей!

Принимает дядька это,
И — зелененьким лучком!
...Щи, до пыли разогретые,
Поначалу ест молчком.

— Вот курятина, вот рыба.
То, что крупно, сам порежь.
Василь Федорович, спасибо!
Василь Федорович, ешь.

И в отплату интереса,
Дядька, сделав долгий вздох,
Говорит: — Я из железа
И рубашку сшить бы мог.

И хозяйка в полной мере
Рада, что мужик речист.
— Василь Федорович, верю:
Ты у нас — специалист!

Он встает: — Живи, не мокни.
— Я в долгу.
— Мы все в долгу.
— Неужель рубашку можешь
Из железа сшить?
— Могу!

Анатолий Богданович

НОЧНОЙ ПРУД

Луну проткнули камыши,
Как будто щит червлёный стрелы.
Вокруг ни звука, ни души,
Лишь мрак, окутавший пределы.
Скользя по спинам рыбьих стай,
Возникла лодка ниоткуда.
И кто-то выдохнул: «Бросай!» —
И сеть ушла в глубины пруда.
На плавниках следы зари,
Что волны расплескали с ветром.
И пруд светился изнутри
Чешуйчатым бескровным светом.

Мошкой кидаясь, как песком,
Метались тени в тесной хляби...
Огни деревни косяком
В сиреновой тянулись ряби.
Казалось, догорят они —
И мир замрет — ни слез, ни смеха.
Огни во мгле. В пруду огни...
Времен негаснущее эхо.
Цветут костры на берегу,
И ночь в безмолвье искры студит.
И пруд — волною на бегу —
Все отразит и все забудет.

Сергей Надеев

* * *

Прислушайся: иглою патефона
свистит октябрь по ряби небосклона:
пружина, диск, короткие щелчки...
Безлюден двор. Лишь на сырой скамейке
сидит старик в собачьей душегрейке
и теребит железные очки.

А жизнь в глазах как тусклый свет пучины.
Чем он живет? Не юности картины,
но тень свою он видит по ночам,
и слушает транзистор на коленях,
детей зовет, ссутулясь, на ступенях
ключи роняет, тянется к ключам.

Он пережил ответы и вопросы —
пять-шесть имен осталось, папиросы
да, невпопад, досадные звонки,
квитанции на стершейся булавке,
размытый контур полусгнившей лавки,
воспоминаний шучьи позвонки...

А жизнь — свербит гудком автомобильным
ночным дождем, тревожным и обильным,
глядит в глаза, трясет за рукава
и что-то тараторит без запинки:
трещит пружина, крутятся пластинки,
роняя полустертые слова...

Юрий Денисов

* * *

А на дворе метельно и темно!
Там стонет ночь почти по-человечьи.
У бабушки в руках веретено
сучит кудель. Поет сверчок в запечье.

Стучит о ставень ветка. Каганец
свой язычок мне кажет в отдаленье.
На стенах бег теней, а я, малец,
как на кино, смотрю на эти тени.

Большая тень от бабушки моей —
от вздоха! — снова кинулась в погоню
эза скопищем изломанных теней
по образам, портретам, подоконью.

То в тень уйдет, то высветлится вдруг
георгиевский кавалер на фото.

Сейчас войдет он в хату, слышен стук —
дед оббивает чуни, — видно, что-то

добыл для печки — хворост ли, сучье.
Я начинаю в хате куролесить.
Сейчас мы печь растопим горячо:
а ну-ка вон из хаты, хладь и несыть!

Сейчас в двери он свой покажет лик
с немыслимой корягой на оплечье.
Метнутся тени по углам;
на миг
испуганно замрет сверчок в запечье.

На деда взглянут с лаской и теплом
в причудливой игре и тьмы и света
и молодая бабушка с портрета
и эта, что в руках с веретеном.

Иван Даньков

* * *

Что за песни в конце октября!
Вы написаны белым по серому.
Я услышал, как гуси трубят
По далекому дикому Северу.

С крыльев сыпался медленный снег
На дорогу мою и на голову.

* * *

Медный отсвет от сосен литых,
От песка, что струится сквозь пальцы,
Хорошо ль проживать постояльцем
В этих избах глухих и пустых?

И глядел я на гаснувший бег
По небесному тусклому олову.

Опустела осенняя синь.
Побелели, рассыпались волосы.
Только песни горчат, как полынь,
Только гуси трубят в моем голосе.

Хорошо ли незримой стеной
Оградиться от бывшей деревни,
Где обычай и вещий и древний
Птичьей тенью скользит над тобой?..

ЦВЕТOK ЗВЕЗДЫ

В лесной тиши, в глухом затоне
речной воды
я взял в холодные ладони
цветок звезды.
Вонзился в руку, словно жало,
ее огонь,
звезда, шипя, в затон упала —
прожгла ладонь.

Тогда, склонясь над зыбкой глубио
ночной воды,
я свел ладони и пригубил
глоток звезды...
И мне с тех пор во тьме кромешной
светло всегда,
в моей душе, земной и грешной,
горит звезда!

ДВЕ ЖИЗНИ

Не прячь потухших глаз,
понять себя заставь:
у каждого из нас
две жизни: сон и явь.

Огонь не по летам
из сердца вышел весь.
Оно томилось там,
оно страдало здесь.

Две смерти — не найдешь,
две жизни — проглядишь.
В одной из них — бредешь,
ну а в другой — летишь!..

Но будет ночь без сна.
Последний час придет.
Погубит нас одна.
Другая нас спасет.

* * *

Ночь тиха и невесома,
только ходики кого-то
переспрашивают сонно:
— Кто ты, что ты? Кто ты, что ты?..

А вдали пейзаж осенний,
ветер листья носит, воя.
У окна стоит Есенин,
повторяя: — Кто я? Что я?..

Владимир Максимцов

ПАМЯТИ ДЕДА

— Скорей бы дождик этот перестал! —
Сказал мой дед, ворочаясь на печке.
А ливень крышу ветхую хлестал
И в лужах под окном гонял колечки.

Вода лилась по потолку и стенам,
Дремала кошка в глиняном горшке,
Вареной кукурузою и сеном
Дышала хата в теплом сквозняке.

* * *

На дьявольской скорости мчался состав.
Был шум его тела подобием стопа.
Отчаянно руки свои распластав,
Лежал я на крыше стального вагона.

Почти забывая мелькавшие дни,
Прижавшись к летящему в бурю железу,

А я еще так мало понимал,
Что дед на печке мне казался богом.
Он на руки меня приподнимал,
И я его седые космы трогал.

И помню свет: неяркий, теплый свет,
Что охранял вечернюю беседу.
Шипела печь, и кто-то много лет
Костяшками воды стучался к деду.

Шептал в никуда: догони, догони,
Сорви с моих глаз дымовую завесу!

И мчался состав, и по ветру слова
Летели в гудящем подобии стопа.
А тонкие руки держались едва,
Боясь оторваться от плоти вагона.

БЕЛЫЕ КОНИ ЛУНЫ

Опускаются крылья заката,
У холодной речонки измятой,
Под высоким шатром тишины.
Не гагары сторожкие кричат,
Не туманы кудлатые скачут,—
Скачут белые кони луны.
Кони! Кони! Метельные кони!
Синий сумрак блестит на уклоне,
Белогривый туман у копыт.
Млечный Путь шелестит на угоре,
Звезды яркие пляшут во взоре,
Под ногами дорога кипит.

Откопытили, встали у древа,
Светлоокая юная дева
Белогривых коней распрягла.
Спелых лунных лучей накосила,
В белостволье коней отпустила
И по легкой тропинке ушла.
Но, едва лишь лучи заиграли,
Кони лунные вдаль усаkali
За околицу солнечных дней.
На опушке у лунного древа
Ходит светлая-светлая дева,
Ждет умчавшихся лунных коней.

Михаил Скуратов

СОБОЛИНЫЙ МЕХ

Не пушнина, а пышнина
Соболиный мех.
Так он слыл в Руси былинной,
На устах у всех.

По собольей шкурке дунешь—
Пробежит волна.
Раз увидишь—не забудешь.
Им казна сильна.

Было так в Руси Московской—
Слыл валютой он.
Лях увидит: «Матка Бозка!
То ж не мех, а сон!..»

И другие европейцы
Тоже без ума,
Всего света ротозейцы—
Азия сама!

За моря хвосты соболей,
Сорок сороков

Уплывали боле, боле—
Дольше трех веков...

Говорилось: бровь соболя!
Лучшей нет хвалы.
Из тайги он Притоболья,
Из ангарской мглы.

Самый лучший—баргузинский
Да илимский слыл.
Шелк китайский, сарацинский—
с ним сравнять нет сил...

По собольей шкурке дунешь,
Ахнешь—будь здоров!
Для Груняши или Дуни
Лучше нет даров...

Не пушнина, а пышнина
Соболиный мех.
Так он слыл в Руси былинной,
На устах у всех.

Борис Авсарагов

* * *

Вот и кончилось время мое,
И в глазницах пустых поселилось
Неземное мое бытие—
Все, что снилось.

Оказалось, что это—не я,
В ком еще безмятежно витает
Ветер жизни, сквозняк бытия.
Так бывает.

Владимир Фролов

СЛЕПОЙ

Рука повисла, шаря в пустоте,
Ведь рядом были стул и папиросы,
Одни теперь в кофейной густоте —
Всесильные и грустные вопросы.

Под пальцами утеряны следы,
Висит судьба в пространстве без опоры,
Стекая тяжело каплями воды,
Стирая путь и разрешая споры.

* * *

Вместе горе собирать нельзя —
Может проломиться твердь земная,
С ним я не хожу к своим друзьям,
А судьба у радости — иная.

Каждый тянет лямку своего,
Зачастую даже и не зная:
Это горе — вовсе не его,
И судьба у радости — иная.

Олег Тапешко

* * *

Под небом, быть может, столичным,
Неважно теперь уже где,
Я думаю снова о личном,
Вернее, об этом дожде.

В колеблющемся полусвете
Собою он так упоен,
Что кажется, если на свете
И есть что-нибудь — это он.

Он прошлую жизнь занавесил
И будущую от меня.

А мне без знакомых и песен
Прожить невозможно и дня.

Покончено с легкой игрою
И спором с ненастной судьбой.
Глаза я ладонью прикрою —
Так все-таки легче с собой.

Так все-таки легче услышать,
Ручьи не стирая со лба,
Как всходят все выше и выше
На родине светлой хлеба.

Валерий Горский

ОСЕННИЙ ПТАХ

Одиноко блуждает взгляд
По соломе и черепице.
Вместо листьев на ветках дрожат
Безголосые серые птицы.

Дым печей на него летит,
Дремлет птах,
Качаясь над домом.
Ну о чем он, о чем грустит?
— Все о том же — зеленом, зеленом...

* * *

Стояла ты, наспех одета,
Руками лицо заслоня.
И голос доверья и света:
— А ты не забудешь меня?

Я ехал...
За поясом пояса
Мелькали огни, города.

С присвистом и лязганьем поезд
Меня уносил навсегда.

Сощура тяжелые вежды
На солнце озябшего дня,
Шепчу я уже без надежды:
— А ты не забудешь меня?

* * *

В окно к желанной женщине
заглядывает август,
заглядывает август,
застенчивый, как агнец,
и мяты зябким запахом
он спальню обдаёт,
отстегивает запонки.
И лунной ночи запахи
волнуют душу женщине
и голову кружат.
А муж её в дороге,
и на вокзалах бреется,
а женщине все бредится,

все бредится и бредится,
что там он—не один.
И агнец все настойчивей,
поди же ты—настойчивей,
и все неудержимее —
бороться нету сил.
Сопротивленье пальцев
единственно-последнее...
Что делать ей со сплетнями
и с запахами летними,
когда исчезнет август
и явится сентябрь?

СОЛНЕЧНОЕ ВОСПОМИНАНИЕ

Запах сена, знойный и густой,
затопил поляны и посечи.
От жары медово-золотой
замолчали птицы, стихли речи.

В тишине кузнечики одни
горячо стрекочут, не смолкая.
Увидал тебя издалека я
у копны, в отчетливой тени.

Редкими глотками из брустицы
воду пьешь и, на меня кося
сквозь белесые свои ресницы,
так и светишься улыбкой вся.

И такое солнышко повсюду,
и такое солнышко во мне,
что об этом золотистом дне
я, пока живу, не позабуду.

ПОЭЗИЯ ОБРАЗА

«Поэзия образа» есть традиционная русская поэзия, вершиной которой, несомненно, был «пушкинский канон». Этот вид формы обнаруживает в себе удивительные не формальные черты. Известно, что форма — выражение авторского «Я». Так вот, в «поэзии образа» каждый поэтический элемент саморастворяет свою индивидуальность в общем. Что это? Безликость? Напротив — высшая форма личного. Надличность. В этой эстетической иерархии высшая индивидуальность эстетического знака заключается не в самоценности, а в большем вкладе в «общее» — созидание образа. А ведь это запечатление высшего идеала искусства — объединение людей, символ служения, а не «самовыражения» и в то же время символ проявления национального самосознания, которое обнаружил у Пушкина Достоевский, разбирая проблему с иной стороны. Таким образом, эстетика «поэзии образа» является не только «законом красоты». Форма такой поэзии есть этико-эстетический акт личного и общественного самосознания.

«Общее» как поэтическая сущность заложено в подсознании любого подлинного поэта. И, строго говоря, лично поэту не принадлежит. Это — сущность человечества в явлении своего народа.

«Общему» противостоит личное, индивидуальное. Концентрацией индивидуального является талант. В своем «чистом» виде (без «общего») талант выражает страсти конкретного человека от впечатлений (явлений) окружающего мира. В произведении это эквивалентно «чистой» форме, «чистой» эстетике. «Чистая форма» — это поэтическая форма, имеющая свою индивидуальность, неповторимость. Это обнаженное «эго» творца, заявляющего себя, представляющего себя миру как личность.

Но должно быть некое третье качество, духовный смысл которого состоит в слиянии личного и «общего» и превращающее конкретного талантливого человека в некую субстанцию — ПОЭТА.

Определить это качество одномерными понятиями невозможно. Это целая этико-мировоззренческая система поэта, в которой талант преобразует возможность «общего» в действительность искусства. В произведении система находит свое выражение в самоуничтожении формы во имя «общего» — содержательного образа. Этот акт искусства я бы назвал «этикой формы». В «этике формы», в ее высшей этической точке (самоуничтожении) происходит абсолютное слияние «чистой» формы и содержания (личного и «общего»). А точнее — растворимость личного в «общем».

Небезынтересно хотя бы кратко рассмотреть эволюцию русской поэзии с точки зрения «поэзии образа» в основных тенденциях современного поэтического процесса.

«Поэзия образа» противостоит «поэзия фактов» (здесь «факт» имеет смысл иной, чем во времена Лефа, когда «факт» был не элементом поэтики, а содержанием-символом активного, преобразующего, революционного). Это творчество без «этики формы». Стихотворение здесь как бы рассыпается на самостоятельные смысловые (звуковые) факты, которые скрепляются одномерной (не многомерной) мыслью. Есть три главных источника «поэзии фактов». Первый — бесталанность. Стихи демонстрируют мастерство (навыки, обученность).

Причины второго источника гораздо более глубокие. Они кроются в самой природе мышления XX века, которое становится все более дифференцированным, аналитическим, рационалистическим. НТР, информационный взрыв породили неслыханную «эскалацию» фактов. Значимые еще вчера факты «дробятся». Мельчают. Становятся обыденными. Такой «динамизм фактов» затушевывает сущность явлений. Нередко художники количество и новизну ярких фактов принимают за сущность. И тогда не образ складается, а излагается мысль. Излагается фактами. Причем талантливо. Но при этом утрачивается эстетическое ощущение образа стихотворения как *связи* фактов в многомерное смысловое пространство. В лучших произведениях подобной «поэзии фактов» просматриваются, однако, попытки, и порой небезуспешные, стремления к «образу».

И, наконец, третий источник «поэзии фактов» — новаторство. Этот тип творчества предполагает установочный отказ от «этики формы». Еще Тютчев пророчески выразил предчувствие индивидуализма в поэзии. Философию

человеческой разобщенности, распада «общего» отразил он в своем знаменитом «Silentium!». Это был творческий диалог с «пушкинским каноном». В этом произведении поэт установочно разрушал цельность образа: стихотворение разбивалось на самостоятельные «микроструктуры-двуступицы», в которых не просматривается даже попытки созидания образа. Пророчество поэта сбылось. Модернисты начала века сделали смысловые и звуковые «микроструктуры» — ядром поэтики. Однако мы опускаем анализ этого явления и перейдем к современным стихотворцам. Речь пойдет об «эстрадной поэзии». В ней хорошо просматривается системная установка в создании «микроструктур». Это, во-первых, ярко выраженная самостоятельность «микроструктур» без попыток их объединения в образ (метафоры, афоризмы, локально значащие газетные клише, прозаизмы, вульгаризмы, жаргон, новые словообразования, броские слова и т. д. и т. п.). Привлекающие к себе внимание «микроструктуры» лишают стихи эффекта «ожидания» — психологической основы в созидании образа. Во-вторых, рифменное «ожидание» переводится в разряд «ожидание рифмы», то есть беспредельные неточности рифмы отвлекают эффектным созвучием читательское внимание. В-третьих,вольность ритмики приводит к ущербу «мелодичности» в пользу акцента. Все это скрепляется «горячей», «современной», но одномерной мыслью, которую можно пересказать обычным речением.

«Эстрада» была ярким социальным событием в 60-е годы. Она восполнила в ту пору острую потребность в «аналитике». Пожалуй, в ту пору эту задачу «поэзия образа» попросту не выполнила бы. «Эстрада» пробудила в читателе невиданный интерес к поэзии. Именно на этой ниве читательского интереса, впоследствии дифференцированного, и выросла вся современная поэзия. Однако подмостки эстрады в соответствии с психологией жанра выработали в поэзии дух конкуренции, состязания. В поэтике «эстрады» как в зеркале отразился этот спортивный дух: вторая метафора должна быть лучше первой, третья — лучше второй и т. д. Поэты острого, страстного, большого таланта — они в тесных рамках самоутверждения (без «этики формы») невольно и естественно, высвобождая недюжинный духовный заряд, «исцеляются» в «форме индивидуального». Интуиция поэтов возбуждает подсознательную тягу к «общему». Но чем она больше, увы, тем больше инерция самоутверждения, тем шире «разломы» формы.

«Тихая» поэзия и была той реакцией, которая реконструировала и возродила «поэзию образа». Мне кажется, что наиболее полно и «программно» она выразилась в творчестве Василия Казанцева — самого «тишайшего», по оценкам критики, поэта. «Тихая» — спорный термин, но, думаю, Л. Лавлинского, который ввел этот термин, интуиция не обманула. Созидание образа и чувства от него есть процесс интимнейший и тихий.

Сразу необходимо оговориться, что при упоминании Казанцева речь идет не о лидерстве в поэзии, а о творчестве, наиболее полно возродившем традиционную эстетику.

Василий Казанцев, думаю, не только недооценен критикой, но и не понят до конца. Эти традиционные «сдержанность», «тенелюбовность»! Но отчего же поэт так бежит от желания «выставляться» напоказ? Да ведь это же очевидный протест против самоутверждения. Все его творчество от формы до смысла, все решительно соткано в единый нерв антииндивидуализма. Есть у поэта «программное» стихотворение «До чего же разительно сходство». Это прямо-таки апофеоз «надличного»! «Общее», воспроизводимое в содержании произведений, является несомненным достоинством поэта.

А форма? Лапидарный сдержанный стиль, — только бы не вырвалось что-нибудь кричащее, личное. Но если вдруг прорывает — поэт укрощает напор самовыражения любимым знаком — тире (есть стихи, где этих знаков необычайно много). (А. Белый полагал, что тире — знак модернистов.) Стихотворения на редкость невелики по объему, — не надо-сть бы, сказать что-то самое главное, сокровенное, только необходимо всем. Могут возразить — это тип человеческого характера. Возможно, что на бытовом уровне это так. Когда же талантливый человек становится поэтом, он уже выражает определенное явление. Литературного и общественного характера. Поэтому случайные личностные черты Казанцева

проявились в этом явлении с необходимостью, как реакция на «поэзию фактов». И, наконец, единодушно признаваемая всеми гармония стиха. Уже сказанного достаточно для понимания того, что «этика формы» является определяющей чертой поэтики Василия Казанцева.

С точки зрения творчества поэта (а не читателя, как мы рассматривали выше) образ есть образование интеллектуально-эмоционального синтеза. Можно сказать, что в создании многомерного *смыслового* (!) пространства значительную роль играет интеллект. Это можно доказать и от противного: распад образа сразу высвечивает значимость интеллекта: если при этом эмоциональная часть не только не ослабевает, напротив, — усиливается, то многомерное смысловое пространство вырождается в одномерную мысль (образ слагается, мысль излагается). То есть акцент от интеллектуальных эмоций смещается в сторону первой сигнальной системы. Поэтому «поэзия фактов» неинтеллектуальна в глубоком понимании этого слова.

Пишущие о «сдержанности» поэта не замечают одного очень важного признания его, «что эта резвая веселость... не дочь души, не сердца голос — усилие гордого ума». Стало быть, «сдержанность» — дар управлять страстями не волей, а умом, способным преобразовать эмоции в многомерное смысловое пространство. А это и есть интеллектуализм в творчестве — признак не частый в современной поэзии. Казанцев в полной мере одарен им.

Таким образом, поэтика «сдержанности» в творчестве Василия Казанцева есть художественное выражение «поэзии образа», проявляющееся весьма своеобразно в «общем», «этике формы» и поэтическом интеллектуализме.

Эстетические принципы Василия Казанцева, самодовлеющие в современном поэтическом процессе, естественно, не определяют творчества поэта, а только отражают содержательное мировоззрение его. Поэтический мир Казанцева — это и есть сердцевина «надличного». Взять хотя бы главную тему творчества — природу.

Природа в творчестве русских поэтов и писателей (пожалуй, за исключением Пришвина) всегда рассматривалась в фокусе взаимосвязи человек — природа. Здесь раздельное тире есть символ глубокого художественного и философского значения, который в той или иной степени, но всегда подразумевал два расторгжимых понятия. Василий Казанцев — один из поэтов, создающих художественно-философское единство — «человекоприрода». Это мог сделать только ху-

дожник, почти болезненно осознающий действительность как живую нераздельную общность. Идеей единства человека и природы была проникнута психология первобытного человека (тотемизм). Однако там она рождалась от незащитности перед природой, а здесь — от незащитности ее перед человеком (сострадание ко всему живому — наиважнейшая черта в этике поэта, так просветляющая все его творчество). В общности «человекоприрода» людские чувства обретают первозданность и подлинность, ибо идут, как все живое на земле, от любви. Отсюда и почитание природы, как кормилицы-матери; сыновья любовь и ощущение кровной связи с землей, где родился, то есть ощущение родины как самого себя. Достоверный образ подлинного искусства таким образом обретает жизненные, «земные» и, если угодно, современные черты по глубинным, сокровенным, а не по поверхностным признакам. И вот здесь-то мы подошли, пожалуй, к самому важному моменту разговора.

Эстетическая реакция, как отмечалось выше, возможна, когда происходит скачок от факта к образу. Суперсовременные и сверхэффектные одномерные факты этой задачи не решают, если нет качественного скачка, ибо в этом случае нет глубокого и целостного эстетического чувства, а есть возникающие независимо друг от друга эмоции при восприятии «микроструктур» (метафор, например, которые содержательно никак не связаны друг с другом). Психологи, изучающие проблемы искусства, со всей определенностью утверждают, что сложное эстетическое переживание не может возникнуть как сумма отдельных эстетических удовольствий. Иными словами, только через мир образа, как многомерного пространства, возможно художественное освоение действительности эстетическим чувством, способного в свою очередь преобразить человека, пробудить в нем совесть, заставить «мыслить и страдать». От факта современности к непреходящему образу — таков путь художественного познания действительности поэтом, от образа к факту — путь читателя.

По формальным признакам стиль Казанцева — законченный «модерн» по отношению к «пушкинскому канону». В строгих рамках «общего» и «этики формы» поэт выразил свой талант, свою личность — Василия Ивановича Казанцева — в неповторимой «форме индивидуального», полнокровно в себя вобравшей к тому же черты современности. И в этом, по-моему, суть освоения эстетических традиций.

* * *

Может быть, не было этого? не настоящее—
руки мои, на гранитном барьере лежащие,
крупные руки мои, руки жницы, не женские,—
долго лепили их предки мои деревенские.
Плыли плоты ледяные, чернели проталины.
В гору взойдя, по глухим переулкам плутали мы.
К ночи Москва затихала за темными стеклами,
улы людские казались уютными, теплыми.

Может быть, не было этого? не настоящее —
строки стихов, в тишине перед нами летящие,
ветка дубовая, что изогнулась подковою,
белые крыши — платки снеговые, пуховые.
Выше еще — неожиданное, предвесеннее
небо в подснежниках, звезд золотое цветение...
В душу мою словно что-то высокое дунуло.
Может быть, не было этого, все я придумала?
Было...

* * *

Мне дорога туда заказана,
словно выросла там стена,
что боярышником обвязана,
барбарисом оплетена.
Отвергающая, колючая,
закрывающая пути,
чтобы люди ни в коем случае
не могли сквозь нее пройти.

Даром неба куски лазоревы,
обузорены стекла вод,
даром нежно поет лазоревка,
зяблик трели, забывшись, вьет.
Век шагать мне тропкою выгнутой,
не приду по ней никуда.
Город, в сердце моем воздвигнутый,
пропадает на дне пруда.

* * *

Я была и останусь бакинкой,
хоть живу от Баку вдалеке.
Вот я в гору иду Шемахинкой,
папка с нотами в левой руке.

Мой учитель, чьи предки вписали
в Книгу славы свои имена,
отодвинется вдруг от рояля,
и я с музыкой буду одна.

Так потом — на каспийском просторе —
золоченные солнцем друзья

будут с лодки бросать меня в море,
чтоб отважней плавала я.

О мой город, меня отовсюду
беспокойно зовущий домой;
никогда, никогда не забуду
твои улицы с синей каймой!

Со стихиями не порывает
пересохший, витой амонит.
Бури тайные в нем завывают.
Приложить его к уху — гудит.

* * *

В конце коридора — зеленая бочка.
Хранит ее в целости память моя.
Колодца дворового рослая дочка,
водой налитая почти по края...
В ней был неутраченный привкус деревни —
ручья говорливого, щедрой земли.
Она без отказа поила деревья
и грядки, что в садике деда цвели.
Сюда, доброту ее издали чуя,
крутой и безлюдной дорогой ночной

с надеждой несли свою жажду большую
ежи, черепахи в застойчивый зной.
Воды теперь вдоволь в широком канале,
и в городе нет недостатка в воде,
и старые скважины все закопали,
но ищут их, ценят еще кое-где.
Глубокий колодец отруйте, отroyте! —
чтоб глянуло синее небо со дна.
Тревожную душу мою успокойте,
как будто камнями забита она.

* * *

Жизнь прошла как будто мимо—
то легка, то тяжела.
Без снегов я помню зимы,
вёсны, полные тепла.
Девочка, семьей хранима,—
разве это я была?
Весела, неуязвима—
разве это я была?

А потом—полет с обрыва.
Ни двора и ни кола.
В сторону куда-то, криво
неудача повела.
Нелюдима, некрасива—
разве это я была?
В сарафане из крапивы—
разве это я была?

* * *

Мое окно—широкое.
В нем неба синева.
Проезжею дорогою
за ним шумит Москва.
Грузовики, автобусы...
Под солнцем, под луной—
кусок живого глобуса
всегда передо мной.

Мое окно—веселое.
Возня детей в снегу...
Как будто снова в школу я,
опомнившись, бегу.
Две женщины, командуя
цепочкою ребят,
цветочною гирляндю
проводят детский сад.

Сквозь холодные торосы
лодка лунная плыла,
и в глазах, глядящих косо,
был холодный блеск стекла.
По снегу шагала смело—
разве это я была?
Над костром ладони грела—
разве это я была?

Сад растила—не сажала
дерева добра и зла.
Яблока, что боком ало,
с низкой ветки не брала.
Верила, воображала...
Разве это я была?
Дикая пчела без жала—
разве это я была?

Мое окно—рабочее.
Имея цель свою,
не камни я ворочаю,
а все же устаю.
Куда глядела раньше-то,
что поздно так пришлось?
День гаснет. Даль оранжева
от солнечных полос.

Мое оно—закатное...
Соскучусь быть одна—
вмещу душою жадною
вселенную окна.
Следя за вечной гонкою
оседланных минут,
Плеяды звездной горкою
над городом плывут.

ОБЛАКО

Среди туч обожженных
(гневен солнца заход)
голубой верблюжонок
одиоко плывет.
Голова голубая,
рыхлый горб голубой...
Он плывет, оставляя
ветра вздох за собой.
В небе нет ему равных!—
горд, вынослив, упрям.
Может быть, это правнук
тех, что шли по утрам
мимо нашего дома—
караван гордецов—
и будил мою дрему
птичий звон бубенцов.
Среди туч обожжённых
холод вдруг засквозил:
голубой верблюжонок
над Москвою проплыл.

* * *

Это я, это я, а не кто-то,
О грядущем совсем не скорбя,
На любительском выцветшем фото,
Не стыдись, обнимаю тебя.

Сердце радостью краткой наполнив,
Как заклятье твержу: «Полюби!
Полюби меня, добрый мой полдень,
Злая полночь, меня погуби!»

Все, что было потом, позабыла...
Черный ангел в трубу протрубил.
Злая полночь меня полюбила,
Добрый полдень меня погубил.

* * *

Идеи неведомой ради,
Покуда живу и дышу,
Я в тонкой заветной тетради
Свое поминанье пишу.

Уж вписаны в то поминанье
И этот озябнувший лес,
И это мое прозябанье
Под холодом здешних небес.

Все те, кто был темен иль светел
Средь сумрака пройденных лет,
И писем их трепетный пепел,
Доныне летящий вослед.

И эти мечты о заботе
Среди одиноких путей,
И эти огни на болоте,
Над темным бродилом страстей.

* * *

Это и есть судьба:
Над головой—огневицы,
Над головой—гроза,
Над озаренностью лба—
Угольные ресницы,
Пепельные глаза.

ВОРОНЬЕ ПЕРО

Зачем я себя не хранила,
Когда по окраине шла?
Ворона перо обронила,
А я его подобрала.

Для легкости создано полым,
Оттенками мрака пестро,
В руке моей странно тяжелым
Лежало воронье перо.

Лежала чужая утрата,
Лежала чужая печаль,
И я, обретенью не рада,
Глядела в открытую даль.

И я обреченно глядела
Туда, где закат отцветал,
Где стая воронья галдела,
Где сумрак над миром витал.

Глядела и знала—отныне
Уж мне никуда не уйти,
В окраинной этой пустыне,
На этой земле отцвести.

Глядела и знала—собою,
Хочу ль я того, не хочу,
Окраинной темной судьбою
За это перо заплачу.

ЦВЕТOK БАГУЛЬНИКА

Цветок багульника лиловатый
В банке с водой (и с наклейкой «Томаты!»)
Напоминает мне о затоне
И о дожде на лесистом склоне.
И о древесных грибов резине...
О дубе с мокрой отставшей корою,
В дикой подснежниковой низине
Срезанном молнией шаровую.

Корни багульника с пузырьками.
У банки доньшко — под зеркальник.
Вода зеленая, прутья буры,
Стекло волнисто — и вьет фигуры,
Напоминая в своих изломах
Улицы городов незнакомых,
И тот, запрятанный между часами,
Час, когда песни приходят сами.

...Час, когда летние сумерки чысты,
На мостовых нарисованы рожи,
А ноги бродяг на мосту — волнисты,
На отраженья в реке похожи...

Зато и стройны, и так прямы сами
Их тени в качающейся воде!
О, время между часами!
Час, не ученный нигде!

Как тот, седьмой, в часовом футляре,
Козленок, спрятавшийся от нас,
Или — в старинном воздушном шаре —
Накачка воздуха про запас, —
О, странный, нигде и никем не записанный час!
Когда, вздыхая душисто-влажно
И рупорами сложив ладони,
Дали тебя окликали протяжно
Через багульник в банке с водою!

Когда луна под мостом ночевала,
А ветер тщетно искал привала,
Когда натура воображенью
Повиноваться повелевала.
...Цветок багульника лиловатый,
В банке с водой и с наклейкой «Томаты», —
Ты сам не пахнешь, но в аромате
Других растений — ты виноватый!

В часе, какой выпадал, неровен,
Не ты виновен!
Но ты замешан в цветенье смелом
Растений многих и мира — в целом!
Цветок багульника розоватый
На утре белом.

МОЕ ОТНОШЕНИЕ

Навстречу мне, не помню, сколько раз,—
Вы подымали пару мрачных глаз,
Тяжелых и увесистых, как гири.
(В каком-то смысле вы штангистом были!)

Вы подымали каверзный вопрос:
Как отношусь я к нациям?
Всерьез.
Ревниво и неравнодушно смалу
Я отношусь к Интернационалу.

Быть может, дело в том, что прадед мой
На русском судне фельдшер был морской;
Он переслал мне — в гибком кругозоре —
Всеврачеванья мысль и образ моря.

И парусник прадедовских времен
В глазу моем с тех пор отображен;
Он подбирает почту. Но и, тоже,
Всех тонущих. Любого цвета кожи.

Я всех приветствую наперебой,
Кто мне не предназначил быть рабой.
Но тем, кто надо мной желает власти,
Я говорю не «Здравствуйте», а «Здрасте»!

Когда я вижу: кто-то плут и псих,—
Я не спешу обидеть малых сих.
(Гм... Дюжих малых сих... Сих дюжих малых,—
Прожженных бестий и пройдох бывалых!)

Кто я, чтобы сурово их судить?
Я та, в чьем арсенале могут быть
(Уж я не говорю про недостатки!)
Пороков неосознанных десятки.

Но и мое терпенье не гранит:
Мне жизнелюбство пошляков претит,
И с пылом протестантов убежденных
Я не терплю
 повелевать рожденных!

Как?! Вечно пальму первенства искать,
А дивной пальмы равенства не знать?!
Не ощущать речения блаженства
С старинным ударением «Равѣнство»?!

По счастью, мне решительно плевать
На всех, «родившихся повелевать»:
Там, где они приказывать родятся,
Не всяк родился им повиноваться.

Хоть не созрел для воспарений тот,
Кто злобствует, ворует или лжет:
Смешно, когда из-под небесной тоги
Обычные выглядывают ноги!

Обыкновенность, впрочем, всех лютей
Стремится спятить; допинг нужен ей;
И факелам тем пуще дурни рады,
Чем суше в зной пороховые склады.

Таким великовозрастным! — нельзя
«Детишкам» спички оставлять! Не зря
Их жестких глаз прожилки кровавые
Перетекают в зарева степные!

Им жалость непонятна. Трус и смерд
В их представленье тот, кто милосерд!
И вы согласны, чтоб вандалы эти
Людьми считались первыми на свете?

Кто сам себя избрал — не суть мудрен,
Хоть и ловкач! Расизмы всех времен
С бордюриком романтики по краю
Я «бабым экстремизмом» называю.

ТАЙНА ПРАВОВ

...Сто девять тайн раскрыть,
Сто зерен в землю бросить.
Перед невзгодами не опростоволосеть
И вспомнить ста вещей простые имена.
Свои у лирики и льготы и законы.
Но, жанра обойдя жестокие препоны,
Всю пестроту натур обдумать я должна.

Роман писать? Увы! О нем, за недосугом,
Мне разве что мечтать с восторженным испугом!
А в непослушный стих так трудно влить рассказ
О лицах без числа, как бы несомых бурей,
О тертых калачах с очами райских гурий,
О сдобах с парю железно-хитрых глаз,

О слабонервности, о прямо голубиной
Многочувствительности молодца с дубиной:
Ты на него дыши
Сквозь паклю! А не то удар страдальца хватит!
А ежели сам кого сплеча дубиной хватит,
То... лишь по редкому изяществу души!

О сомнения губительный маночек!
Свиненок с крыльями! Звезда во лбу козла!
Избранничество есть заскок не одиночек,
А необъятных толп несметного числа!

В какой козявке не сидит наполеончик?
Какого слизняка следок — не полигончик

Юнна Мориц

БАЛЛАДА О СТАРОМ ОДИНОКОМ ДРАКОНЕ

1

У него ужасно раскаленное прошлое!
Босоногий, огненнокудрый, с пылающими
глазами,
он с детства кузнечил, помогая отцу и старшему
брату
гнуть, ковать и калить зигзаги для молний.
В пылкой юности — он работал истопником
и раскошегарил для всего человечества

Зачем за бесноватеньких душой
Вступаться вам? Эх, на крови чужой
Цветет «прекрасный юноша» Нарцисс-то!
Что с вами?! Я обидела нациста?

Когда же я смолкаю, все сказав,—
Зачем у собеседника в глазах...—
Нет, не протест, не вызов, не обида:
Нож и огонь! Гроза и Немезида?!

Зачем в конце столь справедливых слов
Он... Ба! — да он убить меня готов!
В припадке яростного, как пиранья,
«Национального самосознания»?!

Властолюбивых нужд
И титанически-плохих поползновений?
Кто не владыка сфер? Какой дурак не гений?
Который лавочник бонапартизма чужд?

Где просто человек? Какой пошляк не демон?
Глянь: солнцеравные уж сыплют, как ячмень...
Как будто этот мир не из молекул сделан,
А из заносчивостей всех, кому не лень!

На равенство ни в жизнь дурак не согласится:
Сам хочет быть «как все», сам — на Олимп
косится;
«Что, дядя, все уж там?» — «Не все!» — сказал
Финдлей.
Представь-ка лучше, брат, что в горнем царстве
неком
Жил... кто? Да хоть портной. Был... кем? Да
ЧЕЛОВЕКОМ!
Вот часть блаженнее, чем состоянье фей!

О, Клио! Дай мне мощь и несторов терпенье!
Дай, Полигимния, мне силу песнопенья,
Чтоб родственную связь
Меж бомбой новенькою, вылупленной спело,
И сомненьями — я проследить успела
И от юдольных нужд в мечтах не унеслась.

немало знаменитых вулканов,
например Везувий, Этну и наш Карадаг.
Он буквально горел и сгорел
на творческой этой работе.
За слишком огненный хвост
его перебросили на подогрев
теплых течений и минерально-целебных источников:
Гольфстрим, Нафтуся, Боржоми, Саки.

Это довольно-таки скушная и прохладная
служба
для такого пышущего жаром дракона.
От обиды он так распалился,
что уволился по собственному желанию.
Но жгучее творческое воображение
и драконья способность пылать негасимо
не давали ему никакого покоя.
И ни секунды он не валялся в унынии
кверху огненным брюхом, сложа обожженные
лапки.

Нет, он метался в пожарном огне!
Ослепительно яркое пламя
трещало в его мозгу и жгло ему душу.
Он мечтал. Искрометно. В раскаленной его
голове
проносились испепеляющие открытия всех
выдающихся драконов: закон Фарадея, закон
Ома,

закон Бойля — Мариотта...
И однажды его озарило!
В пылу вдохновения он открыл
драконовские законы — их было много!
Он тщательно проверил их действие,
ставя эксперимент за экспериментом
в домашних условиях. Он описал
жгучие результаты своих безупречных опытов
и вывел огненную Формулу,
общую для всех драконовских законов.
За такую работу дают
Нобелевскую премию в пожарном порядке!

2

Но кипучая деятельность
тлеющих от зависти коллег,
изготавливающих дым без огня,
страшно изгадила научную репутацию
испепеляющего душу открытия!
Жульнически подливая масло в свой чахлый
огонь,
завистники раздули тогда коллективный заговор
и обвинили автора драконовских законов
в плагиате, в подгонке задачи под ответ
на основе псевдонаучных экспериментов
и темных вековых предрассудков, а также —
в грязной клевете на идею чистой науки.
Разгорелась бумажная война,
в огне которой выросло и слетело
немало буйных голов.
Все вы знаете с раннего детства,
что у воюющих драконов
головы отрастают молниеносно — по мере того
как их отрубает. Чем больше отрублено —
тем больше их вырастет.
Но если в битве лопнет желчный пузырь —
все кончено! У дракона остается одна желтая
голова,

которая с годами превращается
в одну желтенькую головку —
и дракон становится одуванчиком!
Все другие драконы еще кипятятся,

легко теряют головы и обрастают новыми —
пока не лопнет в бою желчный пузырь,
маленький такой пузырек. Фитюлька.
Его удаляют под общим наркозом,
и дракон уходит на пенсию,
сушит грибы, варит варенье —
ведь от пламени что-то всегда остается!

3

Мой одинокий дракон встает в шесть утра
и скребет когтями затылок и брюхо —
до красного и белого каления. Потом
он накачивает тайным жаром
свой длинный кольчатый хвост
и жарит на нем яичницу, а также варит себе
овсяную кашу и кофе «Здоровье»,
наживистывая хулиганскую песенку:
«Горячие были денечки, и жаркие знали мы
ночки!»

В глазах у него — зеленый огонь, изо рта —
красное пламя, но это уже в переносном смысле,
метафора. У него осталось всего два зуба,
между ними — два языка: один был когда-то
для всех одних, а другой — для всех других,
теперь он без конца их путает. Старость —
не радость! Было у него три жены,
все сгорели с ним на работе, тогда
женщины были — не то что теперь!
Детей у него нет совсем никаких —
к сожалению, времени не хватило,
земля под ногами горела, а надо бы,
не мешало бы, не повредило бы...
внуки были бы, правнуки, дракошки, драконы,
все — в дракоже дракогенной.
Может, кто из них бы в науку ударился,
книгу бы написал «Матанализ и Х-синтез
драконовских законов в бесконечной
геометрической прогрессии драконовских
порядков».

Так думает мой старый одинокий дракон, глядя
утром
на зимнее небо, где пылает румяная наша заря.

4

Иногда он в долг берет у меня пятерку
и напивается. Тогда он сам себе вызывает
пожарную команду и кричит в телефон:
«Я весь горю, не пойму от чего!»
Брандмайор вешает трубку и улыбается:
«Спокойно, ребята! Это наш старый одинокий
дракон
опять назюзюкался. Ух, и раскаленный же
был он парень! Бывало, его гасили...»
Но весь наш дом не спит в эту ночь до утра,
потому что из окон пьяного одинокого дракона
вываливается черный ужасный дым и ручьями
струятся слезы —
ведь от пламени что-то всегда остается!

ВЕРЛИБР

Клен раздувает жабры.
Швабры осенних сосен
шаркают в Конотопе.
Еще не топят. Сен-Санс
тоже любил лебедей.
Слезится романс у соседей —
он стар, как Большая Медведица.
Гололедица. Мумии впадают в безумие.
Куй железо, пока горячо!
Один старик нашел сердолик
величиной с помидор.
Другой старик нашел помидор
величиной с сердолик.
А третий — выловил краба

и съел его с пивом.
Курсивом называется почерк Петрарки.
Все остальное — верлибр.
Он бывает без рифмы и с рифмой,
но это уже не существенно,
как цвет волос или глаз
у скульптуры.
Ведь нет колбасы на Луне,
и все же она остается планетой.
Любимая! Даже троллейбусы без
кондуктора — это троллейбусы. Даже
деревья без листьев, Венера без рук,
будильник без стрелок...
Но куры не знают, что я — не зерно!

Инна Кашежева

* * *

Повернусь лицом к истоку,
обернусь к своей заре...
Сколько строк еще исторгну
в этой жизни на земле?
Разве люди это знают:
кони времени быстры...
Но, как маяки, пылают
рода-племени костры.
Там, у давнего истока,
у родного родника
из любовного восторга
родилась моя река.
Далеко мне до итога,
ну, а если близко, что ж:

вспять до светлого истока
тоже быстро не дойдешь.
Пусть сольются,
пусть совьются
в древе жизни дни кольцом,
чтоб к истоку повернуться
нестареющим лицом.
Я хочу еще — и столько! —
и восторга и беды,
чтоб добраться до истока,
чтоб испить живой воды.
Только если вдруг до срока
жизнь окончит бег свой... Пусть!
Повернусь лицом к истоку,
благодарно улыбнусь.

Наталья Попельшева

* * *

Мужьям — война, железная игра.
Какие хитрые небесные машины!
А говорят: «Не те уже мужчины.
Где мужество? Увы, не та пора».

И с женами неладно. Им претит
Поддерживать огонь, сидеть с иглою.
Дом раздобрел, но ослабел душою:
Цветок без сердцевины — недошит.

Но кто хоть раз не замер, поражен,
Когда, внезапно каменно-спокоен,
Из-под бровей знакомых глянет воин,
И жестом воздух будет подожен?

Кому не слышно: тайно шепчет кровь
Жене законы древнего искусства,
Чтобы она своей рукою грустной
Войну перешивала на любовь...

ПУТЬ НА СЕВЕР

Начинается эта страница
оттого, что вовек не со мной
крымских роз по стене вереница,
сине море под крымской горой,
что белеет в подлеске кислица
бело-ландышевой головой;

и певец желторотой раките
что-то звонкое в душу кричит:
что, мол, вешнее солнце — в зените,
что лужок так медово горчит,
что протянуты струнные нити,
по которым пчела прожужжит.

По которым и я наудачу
прокрадусь белокурой весной,
воспаленную голову спрячу
в огороде за ближней горой,

в молодом синеватом укропе,
в мотыльково-капустной пурге —
в сердце родины, в светлой Европе,
в золотой от купальниц реке!

И за мной припускаются махи
с козьих склонов, с кизилевых троп.
По дороге из греков в варяги
обнимает их майский озноб.

По дороге, где вóлок на Ламе,
где тверские богатые льны

* * *

А по осени вышли грибы.
На пеньках — молодые опята.
И у крайней, замшелой избы
в огороде — лиловая мята.

Я, наверное, тут поселюсь.
Чистой тряпкой протру половицы.
Буду слушать осеннюю грусть.
Припасу себе пряжу и спицы.

Припасу себе в íзбу кота,
припасу себе в подпол мышонка.
И — прощай, ты, моя маета
да разлука, чужая сторонка!

Потекут молчаливые дни,
в лес клубочком покатится пряжа.
Вот носки — для внучонка они,
вот башлык — для праправнука даже...

Вот и вам, дорогие мои,
то ли присказка, то ли побаска.
Вот зимы голубые огни,
вот и старости хмурая ласка.

Вот и несколько строчек моих
по складам кто-то тихо читает.
Сколько в поле чужих и родных,
никогда он из них не узнает!

переливными дрогнут шелками —
зелены, точно очи весны...

И колышется тайное пенье,
мерной речи задушенный строй.
Это там — где лопух и сирени,
это здесь — под еловой трухой...

И вплетаются темные розы
и шиповники в тонкий платок...
Ничего-то не вижу сквозь слезы:
как отселе мой путь одинок.

Как отселе распахнуты дали
ненаглядной моей стороны,
про которую деды певали,
бабки видели вещие сны,

будто нету просторней и краше,
чем на Север, под парусом, путь,
подымаются волны, как чаши,
бьются чайки в балтийскую грудь;

и когда от московских окраин
электричка бежит по лесам,
ладим лодку за старым сараем,
чтобы плыть по курчавым овсам,

чтоб, развесив веселые флаги,
через вóлок да волжский ручей
плыть из ласковых греков — в варяги
всею кровью и памятью всей!

Сколько в поле упало цветков,
сколько кос у российского лета...
Мой косарь и подавно готов,
разнаряжен, да что уж про это!

Я о том, что оставлю тебе
золотую и синюю краску,
дармового мурлыку в избе,
желудей колокольную связку

на дубу... Им бы в пахоту лечь —
и пробьется зеленая поросль!
Но гляди: уплывает за печь,
и седеет, и молкнет мой голос.

Он дымком домовитым плывет,
пахнет жаркою корочкой хлеба,
залетает листом в огород,
достигает далекого неба.

Опускается медленно вниз,
жадным хмелем шуршит у окошка.
И глядит: грибники подались
в лес, а сами-то меньше лукошка.

И глядит, что картошку копать
понукают сентябрьские зори...
Никуда не хочу улетать —
ни в приветное небо, ни в море!

* * *

Жгло солнце, платье липло к телу,
Ребенок северный и белый,
Питомец подмосковных дач,
Скорей спокоен, чем горяч,
Скорей надменен, чем восторжен,
Со взглядом «никому не должен»,
Вышагивал неторопливо
К Феодосийскому заливу
В сознание своего значенья
За пять секунд до восхищенья,
За пять секунд до первой страсти,
Когда никто уже не властен.
«Смотри, Марина, это—море».
И вздох зашедшийся: «Какое...»
Рывок из рук, стремглав, бегом,
Прыжок с обрыва—напролом
Через соблазн—фруктовый сад,
Сквозь синяки—булыжный град,
Сквозь кровь—засохшие колючки,
Скользя на жгучем и сыпучем
Песке, не держащем следа,
Туда, где мощная вода

* * *

Из-под облака цвета зарева,
Из-под рваных его краев
По могучим стволам ударило
Смертоносное острие.

Расколело и в землю черную
Утопило мгновенный бег,
И распалился на три стороны
Три ствола, пережившие век.

* * *

Было в маленькой комнате тесно и душно,
Все сидели впритирку, о стол опершись,
И какой-то неведомой силе послушна,
Я искала в тебе свою новую жизнь.

Я искала в тебе то, что просто не будет,
Заклинаньем твердя, да пребудет вовек!

* * *

Стихи останутся стихами,
Любовь—меж строчками—в пробелах,
Упало счастье между нами,
Но даже краем не задело.

И мы испуганно застыли,
Сорвавшись с заданного круга,
Пока оно стеною пыли
Нас не сокрыло друг от друга.

Раскинула свое господство
В священном праве первородства.
И—в синь, в великолепье брызг,
В волну, ожегшую, как хлыст,
Распавшуюся на плечах,
Захлебываясь и крича!

Волна-гора! Волна-стена!
На крутизну вознесена
И... свергнута в озноб, в провал,
Да так, что дно поцеловал
Мой лоб, исполненный гордыни.
Хрустя песком, хлебнув полыни,
В восторге дерзости своей,
Что по колено сто морей,
Пружиной нового броска—
В хмельной и пенистый раскат,
В единственную без измен
Любовь щеки, локтей, колен,
Любовь души, что ввысь вознес
Кипящий, взмыленный утес.

Под рукою кора шершавая
Чуть дымится—еще тепла,
И стекает полоской ржавою
В обожженный разлом смолы.

А над деревом искореженным
Птица мечется и кричит.
Вот и кончено, вот и прожито,
Вот кому-то огонь в печи.

А вокруг хохотали и спорили люди,
И была тишина—лишь один человек,

Голоса заглушая, молчал и курил
В приоткрытую форточкой зимнюю стужу,
И спокойно сидел, и не знал, что творил—
У безверья и лжи отвоевывал душу.

* * *

То ли злоба меня одолела,
То ли сжала крутая тоска,
Только яростно и оголтело
Кровь ударила в жилы виска,
Так забила, что небо качнулось,
Так ударила, разум дробя,
Что когда наконец я очнулась,
Уже не было в мире тебя.

ИЗ ОТЦОВСКИХ ЗАВЕТОВ

Знал отец, как честно отвечать
На мои наивные вопросы:
«Дважды два—четыре, а не пять,
Дважды два—не шесть, не семь, не восемь».

...Тихие ручьи в лесной тени.
Облака неспешного полета.
Мне в традиционном бытии
Чудится отеческое что-то:
Очевидность коренных основ,
Несуетность опадания листьев;
Делом, без высокопарных слов,
Утверждение безусловных истин.

Долго ль все порушить, поломать,
Вплоть до веры в творчество исконной!

Но не повернутся реки вспять,
И не станут горы бить поклоны!

Может пылью сделаться гранит,
Атмосфера—концентратом яда,
Все же мирозданье сохранит
То, чего доказывать не надо:
Аксиому ту, что предо мной,
В данный миг,—в упрямой стати клена,
Непреложность ту, что в мир иной
Гонит лист с обрывистого склона.
...Не спеши минуты отсчитать.
Выпадают в срок дожди и росы.
Дважды два—четыре, а не пять:
Лето и зима, весна и осень.

НЕПОГОДА

Непогода моя, непогода!
То метели, то ливни навстречу.
Все суровой она год от года,
Все железней ложится на плечи.

Погибаю от старого горя,
Прославляю неожиданную радость.
И все время как будто бы в горы
По бугристой тропе поднимаюсь.

От дождя заржавели коряги,
От снегов скособочились ветки,
В каменистом лиловом овраге
Трепыхается речка, как в клетке.

Непогода моя, непогода!
Заостренный пронзающий ветер —
Будто кинулись буйные орды
В современность из глубы столетий.

Никакого дорожного знака
В непогоду клубящейся чаще.
Но тропа из дремучего мрака
Все же вырвется птицей летящей,

Потому что моя непогода
Ярким солнечным дням параллельна,
Потому что гудит непогода
Лишь в душе моего поколенья.

ПО ХОДУ ДИСКУССИИ В СТРАСБУРГСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

Ах, как отшлифованы —до глянца
Тезисы научного свидетельства,
Что зашла в тупик цивилизация,
Что себя погубит человечество!

Но позвольте, господа хорошие,
К вам без протоколов обратиться:
Вы же не принцессы на горошинах
И не очарованные принцы;
Не разнежены перинной ленью,
Не подвержены лукавым чарам,
И медалью «За Соппротивление»
Храм науки награжден не даром!

Я познала за неделю в Страсбурге
Красоту готической крылатости,

В коей, словно в семицветной радуге,—
Проявление горести и радости.

Неплоха у вас цивилизация:
Автострады скоростные, ладные,
Телевизоры, «системы», рации.
И Вогезов склоны виноградные.
Из аудиторий современности
Видно и Грядущее и Прошлое;
Вы—хранители бессмертных ценностей,
Стражи Жизни, господа хорошие!

Не престижными чинами-рангами,
Не искусством кабинетных встрясок —
Вы владеете разумной магией
Для спасения великих сказок!

Нина Константинова

* * *

И снова мне в глазах твоих прочесть,
Что ты свидетель глаз моих незрячих
И падающих на спину, горячих,
Коротких, как дыхание, ночей.
Да, ты свидетель голода, когда
Кровь туго скручена, как провода,
Когда удушье вызовет любой,
Нечаянно дотронувшись до локтя,
Когда июль, от синьки голубой,
До самого упал до изголовья.
Когда смолою плавилась жара,
Свеченьем глаз меж сдвинутыми лбами,
Когда сухими, жесткими губами
Выучивают линию бедра.

* * *

Дай же содрать с себя этот негожий
К коже пристывший наряд.
Видишь, хочу ли, могу ли умножить
Хилых умельцев отряд.

Не погляди безнадежно и тускло—
Спрашивай, взыскивай вновь.
Дай устремить в пересохшие русла
Артериальную кровь.

Как я спешила обогатиться,
Только пришлось— обнищать.
Дай, Христа ради, не постыдиться
Снова начать.

Людмила Нешкова

* * *

Зарницею в ночи,
Зегзицею во мраке,
Дано ли озарить
Незримое во мгле?
Холодный блеск ручья,
Журчащего в овраге,
Истлевшее в золе,
Сокрытое в земле.

Ты слышишь?
Слабый звук
Пронзил пространство ночи—
Как будто плеск реки,
Как будто писк птенца—
Пульсируют сердца
И рвутся оболочки
У тысячи начал,
Созревших для конца.

Мгновения летят—
Всё мимо, мимо, мимо...
Иль ветер верховой
Пронесся по траве?

Решился наш удел
Давно, неотвратимо,
И наши имена
Нам слышатся в молве.

Нас попрекнут потом
Поспешностью рожденья,
Нас попрекнут теплом
Дымящейся земли,
Забыв, что так порой
Мучительно движение
На белый слабый свет
Над нами, там вдали.

Дано ли одолеть
Земное тяготенье,
Дано ли не сробеть
В свой поздний звездный час
Той силой роковой
Безумного хотенья,
Неведомо зачем
Заложенного в нас?

Антонина Баева

СОБИРАТЕЛЬНИЦА

На полюдьё соберусь,
на подворье.
Обойду родную Русь,
переспорю
все молчание свое
затяжное,
да сама про самое
и повою
в голос, в голос, в перепад
с причитаньем,

и найду хороший лад
для сказаний,
а еще— хороших слов
в строчки-лады,
с корешков, с самих основ,
чтоб как надо
говорилось и звалось
слово в слово,
был чтоб ясен смысл насквозь,
до основы.

Ты, полюдьё, помоги
дань собирать —
не меха, не пироги —
смех с полатей,
байки с печки, с чердака
и с повети.
Про Ивана-дурака
все на свете
вызнай сказки
да еще
поговорки,
и пословицам подсчет
на задворках,
на завалинках, али
под окнищем,

чтоб язык не довели —
он — не нищий.
Он покажет всю красу,
всю украсу,
соберет с листка росу
в бочку с квасом,
отряхнет с цветка пыльцу
в три лукошка...
— Неуж слезы по лицу?
— Есть немножко:
ведь приучены с пелен
в радость — плакать.
Слову б цвезть, как летний лен,
вызреть злагом.

Александра Спаль

* * *

Скажите, разве немота
Не порождает дивный голос,
Как смерть зерна — пшеничный колос?
Из недр земли встает вода
И вверх идет невероятно,
Не вниз, а вверх — туда, туда,
Где зелени есть в ней нужда.

Я вижу древних лет рассвет,
Безгласен он, но полон пенья,
Молчанье полно нетерпенья
И вопрошает, но ответ
Не нужен, ведь вопрос невнятен...

Все начиналось с белых пятен
И неизвестных величин,
Все начиналось без причин
И только просто обрастало
Значеньем, числами, виной.
И вот, как только жизнь устала, —
Она случилась и со мной,
Она случилась с поколеньем —
Как сказка старая нова!
Жизнь уставала, — и права,
Из смерти выходя рожденьем,
Возникновеньем новых волн.
Кораблик жизни, легкий челн,
Да будешь ты непотопляем.

Ирина Волобуева

СЕДЫЕ БЕРЕЗЫ

Лес ярко-зеленый, лес темно-зеленый,
Весь в утреннем солнце с макушки до пят.
Навстречу мне клены. «Откуда вы, клены?» —
«Из детства, из детства!» — они шелестят.

Дубовая роща у старой запруды,
От бури в ожогах и в шрамах стволы.
«Дубы, вы откуда, гиганты, откуда?» —
«Из юности!» — мне отвечают дубы.

А вон в оперенье игольчато-роосном,
Меж зарослей хвойных не прячься в тени,
Высокие сосны. «Откуда вы, сосны?» —
«Из зрелости!» — так отвечают они.

ЛЕТО

Опять меня, как реку в море, тянет
В разливы лета, в шелесты и хруст,
Где в травах, словно инопланетянин,
Какой-то странно незнакомый куст.

В леса, где я бродила б, как в потемках,
Когда б в их глушь не просочился зной,

По жизни иду ли — по лесу густому...
И вдруг, как видение, издаലെка
Березы, в туманный затянуты омут,
Белы — как метельных заносов снега.

И ветер, со свистом по лесу кочуя,
При виде берез неожиданно стих.
— Березы, откуда вы? — тихо шепчу я...
Но грустно седое молчание их.

А в травах, а в травах цветы и стрекозы,
Закат горизонта чуть стер полосу.
...Седые березы, седые березы,
Еще я побуду в зеленом лесу!

К тем обелискам в дождевых потеках,
Оплаканных душевной тишиной.

Когда же тишь и облаков паренье
Таранит гул, далекий от тебя,
Напомнит вдруг июльское томленье,
Что лето лишь глоток отдохновенья
От бьющих в сердце молний бытия.

ТРИ ПЕСНИ

1

Уговаривал миленок:
— Ничего, мол, не жалеи!—
Я сожгла бы корабли,
да только нету кораблей.
Только лодочки чинёны
щеголяют каблуком.
Черт с тобой! Сожгу, попробую—
походим босиком.

Подошел и посмотрел
на меня босую.

2

Пусть не ливни, пусть не росы.
К ветру влажному лицом
бабье лето или осень—
все равно, в конце концов.
Лишь бы только не зима.
Лишь бы только я сама
размела метель— посмела
раз еще сойти с ума.
Вышибаю в хате крышу!
Разогнусь.
В сизом небе—
то ли аист, то ли гусь.
То ли лебедь с лебедицей.
То ли утки загребли.
То ли я свою синицу
отпускаю в журавли.

— До чего святая ты!
Пред тобой пасую.
Я,— сказал,— имел в виду
в переносном смысле.—
Потоптался с полчаса
и куда-то смылся.

Все забыла— не могу
забыть его походочки...
Ах, кабы были корабли,
сберегла бы лодочки.

3

Мы не строили дома.
Он вырос над нами.
Мы его не обжили—
рушили сами.
Проклинали
свой кровный, родной уголок:
— Провались, этот пол!
— Обвалясь, потолок!—
Но когда показалось,
что дом на песке,
мы с тобой на одной
оказались доске.
На доске остались.
Значит—
не расстались.

Людмила Копылова

* * *

Тает снег, как сумасшедший.
Дождь срывается с небес
и побегом поспешной—
через луговину в лес.

Надо, надо торопиться,
без работы день мой пуст,

и ныряю, точно птица,
в просыпающийся куст.

Много ль капель, много ль снизок
до заката соберешь?

Дочка спрашивает снизу:
— Мамочка, а ты умрешь?

Валентина Творогова

КОЛОДЕЦ

Ты меня и не знал никогда—
Только контур, неверный и ломкий.
Так в колодце мерцает вода,
Но ты смотришь— и видишь потемки.
Сядь на сруб, загляни в глубину!
Но тебя глубина не заметит.

Вместо солнца увидишь луну,
Но тебе и она не ответит.
Погоди, не пугайся, побудь,
Не разматывай цепи звенящей—
И твоя отраженная суть
Пусть посмотрит в глаза настоящей.

Алла Кириллова

* * *

Коль зашло за сорок, значит, цветъ увяла,
Значит, надо суметь остыть.
— Быть последнему пиру!— себе сказала.—
А потом хоть волчицей быть.

Кто решил, что тоска вплетает в осень
Серебристые нити седины?..
Наша свадьба была у таинственных сосен,
Гостем был только месяц один.

Тамара Жирмунская

* * *

Любовь сорокалетних женщин
все своенравней с каждым днем.
Ровесника трудней зажечь им,
чем юношу: «Да что мне в нем?
Так! Чтоб подруги подивились
на джинсы мейд и н юэсэй,
на молодой, на хищный вырез
не знавших пороку ноздрей».
Ровесник... Лестница карьеры
ему, похоже, не далась:
лифт отключен, ступени серы,
на них окурки, мусор, грязь,
и неодетые перила
уводят в никуда.
А та,
что о любви в слезах твердила,
реальна и не столь крута...
Но как ведет себя престранно,
неосторожно, неумно,
нашлась мне тоже Донна Анна,
или кликуша в кимоно,

или на всех подмостках мира
под паровозные огни
бросающаяся... «Квартира
подруги—ты уж извини...»
То при дележке львиной доли
желает: всё — мое, всё — мне,
то о чужом печется доме
и гонит к детям и жене.
То заглушает страсть, как насморк,
то не в бреду и не шутя,
назло рассудку, курам на смех,
запросит у него дитя...
Любовь сорокалетних женщин
и счастье и тяжелый крест.
Смертельно верной метой мечен
их каждый взгляд и каждый жест.
И, в сумерках неразличимы,
закутаны в пары и дым,
сорокалетние мужчины
не знают, чем ответить им.

Светлана Гершанова

ОМУТ

Тихий омут, темная вода,
Камень кинешь—канет без следа.
И опять стоит, не зная дна,
Черная речная глубина.

Ранним утром я сюда приду,
Брошу в омут горькую беду,
И над ней сомкнется навсегда
Тихий омут, темная вода.

Спрячет речка горькую беду,
Но себе я места не найду,

Будет сниться долгие года
Тихий омут, темная вода...

И свою горючую беду
Я сюда оплакивать приду,
Но, увы, я знаю наперед:
Тихий омут тайн не выдает.

Скажет речка: поздно ты пришла,
Голова твоя совсем бела...
Тихий омут, вечная вода.
Не ходите, девочки, туда!

Нина Орлова

* * *

В краю, где валят с ног метели,
Как русским бабам не желать,
Чтоб обнял — косточки хрустели,
А поднял — звезд не обобрать.

Зимой рябину целовала
Я сладко в горькие уста.
Сама природа обвевала
Дыханьем зимнего куста.

Дивятся, что люблю такого:
— Он из тебя веревки вьет.
Согнет играючи в подкову.
Не прогуляет — так пропьет.

Я говорю: — Сама все знаю.
Но что нашла — не потеряю!

Людмила Оспищева

* * *

Нежный, снежный сад и поле,
серебрящийся магнит.
То ли ты хохочешь, то ли
небо зимнее звенит.

Поцелуя полный кубок
дай мне выпить за двоих.
Ничего на свете нету
дальше этих губ твоих.

Подниму ресницы. В небе
лисы белые летят.
И во мне волшебный стебель
превращается в дитя.

Татьяна Реброва

* * *

Да неужто все будет сначала?!
Время нежно горит, как свеча.
Черной бабочкой затосковала
кровь.
И кожа зажглась, как парча.

Словно спирт на березовых почках,
настоялась к вам нежность моя
на сырых желудях
в женских мочках,
на цветных бриллиантах репья.

Но не помню, глаза ваши были
цвета звезд или цвета земли.
На окошке в осколке бутылки
перья птиц, облака, ковыли.

И гремит, словно музыка, горе
быть без вас.
И быстрее, чем копье,
жизнь летит. Рокот новое море.
Ткут шелка.
Гибнет сердце мое.

Ираида Потехина

* * *

Все надеялась.
Все ждала еще.
Ветром выкрутился из рук.
Не нужны глаза
умоляющие,
плечи плачущие... И вдруг:
— Не бросай меня,—
умоляю.
В ноги падаю.
— Стой...— кричу.
Умоляю тебя — удаляю...
Возвращения
не хочу.

ЗРЕЛОСТЬ

Что жадностью злые коверкаешь скулы?
Звезда со звездой не о нас говорит.
А юность чужая несет караулы.
А страсть моя жжется, и пепел — горит.

Зачем ты спрямляешь пути мои круто?
А на перепутьях — кострища и дым...
Зачем, отлетая, пронзает минута
Насквозь запредельным безмолвьем своим?

Гудит, словно тело, небесная бездна.
Да мне ль это звездное стадо стеречь!
Ведь все, что сияло светло, бесполезно,—
Теперь научилось и жалить, и жечь...

И жадность на души кипит под сосками,
И музыка тела мне сердце печет!
И между глазами и между руками
Клокочущей пеною время течет.

С МЕЧТОЮ О ЛЮБВИ

Устали плечи
От забот.
От горьких слов
Увял твой рот.
Но ты живи,
Держись,
Живи
С мечтою
О любви!

Друзья давно
Ушли к другим,
Где блажь речей,
Успеха дым...
А ты живи,
Трудись,
Живи
С мечтою
О любви!

Твой сын
Остыл к тебе душой,
Спит
В женских кольцах
Лжи большой,—
А ты все жди его,
Живи
С мечтою
О любви!

Убог твой дом—
И хлещет дождь
Сквозь крышу,
В душу—
И насквозь...
Но ты живи,
Крепись,
Живи
С мечтою
О любви!

ПОСВЯЩЕНИЕ

Ненавистнику женской свободы
я желаю великих побед,
беспрепятственно-ясной погоды,
проливающей истинный свет

на обманный закон равноправья,
погубивший и боле того,
но туманный закон разнотравья
существует превыше всего:

умирая, Жена возникает,
животворное помня зерно,
ко всему на земле привыкает
и к свободе своей заодно,

собирая отчаянный опыт,
зажимает ладонями крик,

и похож на таинственный шепот
поэтический женский язык.

Леденящее, жаркое слово
в незначительных женских устах
чем старо, тем пронзительно ново,
словно ветер в полынных кустах.

Но зачем оно дерзко тревожит
омраченную совесть того,
кто значительным словом не может
на земле изменить ничего!

Хоть сгони нас в единое стадо,
хоть рассыпь, ненавистно любя,
но о нас даже думать не надо...
Бедный мальчик, мне жалко тебя.

Воспоминания Алексея Елисеевича Крученых — поэта, художника, издателя, архивиста и библиографа — представляют для нас двойной исторический интерес. Речь в них почти исключительно идет об очень короткой и бурной эпохе начала десятых годов, когда в искусстве зарождалось и утверждалось то эстетическое движение, одним из деятельнейших участников которого был и сам Крученых и из которого вышли такие художники и поэты, как Асеев, Бурлюк, Гончарова, Каменский, Ларионов, Малевич, Матюшин, Маяковский, Пастернак, Татлин, Филонов, Хлебников и многие другие, с чьими именами связано наше представление о русском художественном авангарде.

Воспоминания так и названы: «Наш выход». А писались они в тридцатые годы, когда движение это было уже исчерпано и завершено и стало достоянием истории, хотя и недавней. Поэтому воспоминания снабжены подзаголовком, немислимым в десятые годы: «К истории русского футуризма». В те же годы появлялись и такие, по-разному интересные, мемуарные книги, как «Охранная грамота» Пастернака, «Путь энтузиаста» Каменского, «Полутораглазый стрелец» Б. Лившица, «Маяковский начинается» Асеева, «Маяковский и его спутники» С. Спасского, в которых участники движения, возвращаясь к своей молодости, так или иначе пытались «с расходом свести приход». С ними многократно перекликается, опираясь на них или полемизируя с ними, и Крученых в своих записках, несущих, как и они, отпечаток переломной эпохи, достаточно уже от нас далекой.

Вот это надо прежде всего иметь в виду современному

читателю, так как очень многое мы видим и оцениваем сейчас совсем иначе, чем это выдвинулось в десятые годы, но и иначе, чем в тридцатых. Возьмем лишь один пример: рассказывая, как составлялся знаменитый манифест к сборнику «Пощечина общественному вкусу» с его эпатажным призывом «Бросить Пушкина, Достоевского, Толстого и проч., и проч. с парохода современности» (а это одна из самых любопытных страниц воспоминаний), Крученых ничего не говорит о том, что самим своим названием сборник обязан не кому иному, как Пушкину. Ведь «Пощечина общественному вкусу» метафорически повторяла ту пощечину, которую дает герой первой пушкинской поэмы мертвой голове, добывая волшебный меч для битвы с Черномором. И именно на это мы сейчас обращаем внимание. (Правда, когда в 1966 году я спросил об этом у Алексея Елисеевича, он охотно подтвердил мою догадку.)

«Наш выход» имеет и еще один подзаголовок: «Воспоминания. Материалы». Что касается разнообразных документов по истории движения, собранных Крученых, то почти все они с тех пор изданы и изучены, да и вообще с фактической стороны его эпоху мы сейчас знаем гораздо точнее и шире. Этим, главным образом, и объясняются те курьезы, обозначенные <...>, которые пришлось сделать при подготовке публикуемых здесь отрывков. Тем интереснее и ценнее для нас собственно воспоминания, то есть впечатления, мнения, переживания с их неизбежной односторонностью и даже ошибками, но и с их неповторимой «личностью», ибо всем «фактам истории» возвращает жизнь только живой голос непосредственного участника событий.

Р. Дуганов

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

<...>Я постоянно видел Маяковского в Школе живописи и ваяния, в столовке в подвале<...>

Маяковский того времени — еще не знаменитый поэт, а просто необычайно остроумный, здоровенный парень лет 18—19, учившийся живописи, — носил длинные до плеч черные космы, грозно улыбался <...> знакомые уже тогда звали его в шутку «стариком». Ходил он постоянно в одной и той же бархатной черной рубашке, имел вид анархиста-нигилиста.

Помню наше первое совместное выступление, «первый бой», в начале 1912 г. на диспуте «Бубнового валета»¹, где Маяковский прочел целую лекцию о том, что искусство соответствует духу времени, что, сравнивая искусство различных эпох, можно заметить: искусства вечного нет — оно многообразно, диалектично. Он выступал серьезно, почти академически.

Я в тот вечер был оппонентом по назначению, «для задирки», и ругал и высмеивал футуристов и кубистов.

Мысль, которой я держался в своем возражении, была очень проста, и мне было легко не сбиться и не запутаться. Я указывал, что раз искусство многообразно, то, значит, оно движется вперед вместе с прогрессом, и следовательно, современные нам формы должны быть совершеннее форм предыдущих веков. Куда я гнул, было понятно самому недалекому уму.

Дело в том, что Маяковский и другие докладчики на этом диспуте делали экскурсии в отдаленные эпохи и сравнивали современное искусство с примитивами, а в особенности с наивными произведениями

ями дикарей. При этом само собой подразумевалось, что примитивы и дикари давали самые совершенные формы. И вот я объявлял ретроградством — сравнивать себя с дикарями и восторгаться их искусством. Я бранил и бубнововалетчиков и кубистов, от живописи перешел к поэзии и здесь разделал под орех всех новаторов. В аудитории царил восторг и недоумение. А я поддавал жару.

О чудачествах новаторов я спросил:

— Не правда ли, они до чертиков дописались? Например, как вам понравится такой образ: «разочарованный лорнет»?

Публика в смех.

Тогда я разоблачил:

— Это эпитет из «Евгения Онегина» Пушкина!

Публика в аплодисменты.

Показав таким образом, что наши ругатели сами не знали толком, о чем идет речь, я покрыл их засадно с «поверженными» мною кубистами.

Выступал с громким эффектом, держался свободно, волновался только внутренне. Это был первый диспут «Бубнового валета».

Бурлюк, Маяковский и я после этого предложили «Бубновому валету» (Кончаловскому, Лентулову, Машкову и др.) издать книгу с произведениями «будетлян». Название книги было «Пощечина общественному вкусу». Те долго канителили с ответом и, наконец, отказались. У «Бубнового валета» тогда уже был уклон: в «мирискостиности». А если прибавить эту последнюю обиду, станет понятно, почему на следующем диспуте «валетов» мы с Маяковским жестоко стомостили им².



Группа футуристов. Слева направо: А. Е. Крученых, Д. Д. Бурлюк, В. В. Маяковский, Б. К. Лифшиц. Сзади — Н. Д. Бурлюк.

Во время скучного вступительного доклада, кажется Рождественского, при гробовом, унылом молчании всего зала, я стал совершенно по-звериному зевать. Затем в прениях Маяковский, указав, что бубнововалетчики пригласили докладчиком аполлонщика Макса Волошина, заявил, перефразируя Козьму Пруtkова:

Коль червь сомнения заполз тебе за шею,
Дави его сама, а не давай душить лакею.

В публике поднялся сарказм, я взбежал на эстраду и стал рвать прицепленные к кафедре афиши и программы.

Кончаловский, здоровый мужчина с бычьей шеей, кричал, звенел председательским звонком, призывал к порядку, но его не слушали. Зал бушевал, как море в осень.

Тогда заревел Маяковский — и сразу заглушил аудиторию. Он перекрыл своим голосом всех. Тут я впервые и «воочию» убедился в необычайной голосовой мощи разъяренного Маяковского. Он сам как-то сказал:

— Моим голосом хорошо бы гвозди в стенку вколачивать!

У него был трубный голос трибуна и агитатора.

В 1912—1913 гг. я много выступал с Бурлюками, Маяковским, особенно часто с последним.

С Маяковским мы частенько цапались, но Давид Давидович, организатор по призванию и «папаша» (он был гораздо старше нас), все хлопотал, чтоб мы сдружились.

Обстоятельства этому помогали: я снял летом

1912 г. вместе с Маяковским дачу в Соломенной сторожке, возле Петровско-Разумовского.

— Вдвоем будет дешевле,— заявил Маяковский, а в то время мы порядком бедствовали, каждая копейка на учете. Собственно, это была не дача, а мансарда: одна комната с балконом. Я жил в комнате, а Маяковский — на балконе.

— Так мне удобнее принимать своих гостей обо-его пола! — заметил он.

Тут же поблизости, через один-два дома, жил авиатор Г. Кузьмин и музыкант С. Долинский. Воспользовавшись тем, что оба они были искренне заинтересованы новым искусством и к нам относились очень хорошо, Маяковский стал уговаривать их издать наше «детище» — «Пощечину». Книга была уже готова, но бубнововалетчики нас предали. А Кузьмин, летчик, передовой человек, заявил:

— Рискну. Ставлю на вас в ординаре!

Все мы радовались.

— Ура! Авиация победила!

Действительно, издатель выиграл — «Пощечина» быстро разошлась и уже в 1913 г. продавалась как редкость.

Перед самым выходом книги мы решили написать к ней вступительный манифест, пользуясь издательским благоволением к нам.

Я помню только один случай, когда В. Хлебников, В. Маяковский, Д. Бурлюк и я писали вместе одну вещь — этот самый манифест к «Пощечине общественному вкусу».

Москва. Декабрь 1912 г. Собрались, кажется, у Бурлюка на квартире, писали долго, спорили из-за каждой фразы, слова, буквы.

Помню, я предложил: «Выбросить Толстого, Достоевского, Пушкина».

Маяковский добавил: «С парохода современности».

Кто-то: «Сбросить с парохода...»

Маяковский: «Сбросить — это как будто они там были, нет, надо *бросить* с парохода...»

Помню фразу: «Парфюмерный блуд Бальмонта».

Исправление Хлебникова «*Душистый* блуд Бальмонта» не прошло.

Еще мое: «Кто не забудет своей первой любви — не узнает последней».

Это вставлено в пику Тютчеву, который сказал о Пушкине: «Тебя ж, как первую любовь, России сердце не забудет!...»

Строчки Хлебникова: «Стоять на глыбе слова *мы...*»

«С высоты небоскребов мы взираем на их ничтожество!...» (Л. Андреева, Куприна, Кузмина и пр.)

Хлебников, по выработке манифеста, заявил:

— Я не подпишу это... Надо вычеркнуть Кузмина* — он нежный.

Сошлись на том, что Хлебников пока подпишет, а потом отправит письмо в редакцию о своем особом мнении. Такого письма мир, конечно, не увидит!

Закончив манифест, мы разошлись. Я поспешил обедать и съел два бифштекса сразу — так обессилен от совместной работы с великанами...

Не давая опомниться публике, мы, одновременно

с книгой «Пощечина общественному вкусу», выпустили листовку под тем же названием.

Хлебников особенно ее любил и, помню, расклеивал в вегетарианской столовой (в Газетном пер.) среди всяческих толстовских объявлений, хитро улыбаясь, раскладывал на пустых столах, как меню. <...>

На обороте листовки были помещены для наглядности и сравнения «в нашу пользу» произведения: против текста Пушкина — текст Хлебникова, против Лермонтова — Маяковского, против Надсона — Бурлюка, против Гоголя — мой⁴.

Меньше всего мы думали об озорстве. Но всякое новое слово рождается в корчах и под визги всеобщей травли. Нам, участникам, книги и декларации не казались дикими ни по содержанию, ни по оформлению. Думаю, что они не поразили бы и терпеливого читателя <...>

Тот же Бурлюк познакомил меня с Хлебниковым где-то на диспуте или на выставке. Хлебников быстро сунул мне руку. Бурлюка в это время отозвали, мы остались вдвоем. Я мельком оглядел Хлебникова.

В начале 1912 года ему было 27 лет. Поражали: высокий рост, манера сутулиться, большой лоб, взъерошенные волосы. Одет был просто — темно-серый пиджак.

Я еще не знал, как начать разговор, а Хлебников уже забросал меня мудреными фразами, пришиб широкой ученостью, говоря о влиянии монгольской, китайской, индийской и японской поэзии на русскую.

— Проходит японская линия, — распространялся он. — Поэзия ее не имеет созвучий, но певуча... Арабский корень имеет созвучия...⁵

Я не перебивал. Что тут отвечать? Так и не нашелся.

А он беспощадно швырялся народами.

«Вот академик!» — думал я, подавленный его эрудицией. Не помню уж, что я бормотал, как поддерживал разговор. <...>

Стычки с Виктором Хлебниковым (имя Велимир — позднейшего происхождения) бывали тогда и у Маяковского. Вспыхивали они и за работой. Помню, при создании «Пощечины» Маяковский упорно сопротивлялся попыткам Велимира отяготить манифест сложными и вычурными образами, вроде: «мы будем тащить Пушкина за обледененные усы». Маяковский боролся за краткость и ударность.

Но часто перепалки возникали между поэтами просто благодаря задорной и неисчерпаемой говорливости Владимира Владимировича. Хлебников забавно огрызался.

Помню, Маяковский как-то съязвил в его сторону:

— Каждый Виктор мечтает быть Гюго.

— А каждый Вальтер — Скоттом! — моментально нашелся Хлебников, парализуя атаку.

Такие столкновения не мешали их поэтической дружбе. Хлебникова, впрочем, любили все будетляне и высоко ценили.

В. Каменский и Д. Бурлюк в 1912—1914 гг. не раз печатно и устно заявляли, что Хлебников — гений, наш учитель, «слагождь» (см., например, листок «Пощечины», предисловие к I тому «Творений» Хлебникова изд. 1914 г. и др.).

Об этом нелишне вспомнить сейчас, когда некоторые «историки литературы» беззаботно пишут:

* Речь идет о поэте Михаиле Кузмине, авторе книг «Сети», «Глиняные голубки» и др.



С. Есенин, А. Мариенгоф и В. Хлебников (Редкий снимок).

— Вождем футуристов до 1914 г. был Давид Бурлюк.

Нельзя, конечно, отрицать больших организационных заслуг Давида Давидовича. Но сами будетляне своим ведущим считали Хлебникова. <...>

Наши книги шли нарасхват. Но общения только с читателями нам было мало. Оно казалось нам слишком далеким и осложненным. Боевому характеру наших выступлений нужна была непосредственная связь со всем молодым и свежим, что не было задушено чиновничьей затхлостью тогдашних столиц. <...>

В 1913 году, в Троицком театре (Петербург), общество художников «Союз Молодежи» устроило два диспута—«О современной живописи» (23 марта) и «О современной литературе» (24 марта).

Первый диспут состоялся под председательством Матюшина, выступали: я, Бурлюки, Малевич и др. Публика вела себя скандально.

В этот вечер я говорил о кризисе и гибели станковой живописи (предчувствуя появление плаката и фотомонтажа?).

Малевич, выступавший с докладом, был резок. Бросал такие фразы:

— Бездарный крикун Шаляпин...

— Вы, едущие в своих таратайках, вы не угонитесь за нашим футуристическим автомобилем!

Дальше, насколько помню, произошло следующее.

— Кубисты, футуристы непонятны?—сказал Малевич.—Но что же удивительного, если Серов показывает...—он повернулся к экрану, на котором в это время появилась картинка из модного журнала.

Поднялся невероятный рев, пристав требовал закрытия собрания, пришлось объявить перерыв.

На втором диспуте на эстраде и за кулисами был почти весь «Союз Молодежи». Около меня за столом сидела Е. Гуро. Она была уже больна, на диспут могла приехать только в закрытой карете и в тот вечер не выступала.

Диспут открыл Маяковский своим кратким докладом—обзором работы поэтов-футуристов. Цитировал стихи свои, Хлебникова, Бурлюка, Лившица и др. Особенно запомнилось мне, как читал Маяковский стихи Хлебникова. Бронебойно грохотали мятежные:

Веселош, грехош, святош
Хлябиматствует лютеж.
И тот, что стройно с стягом шел,
Вдруг стал нестройный бегущел.

Эти строчки из поэмы Хлебникова «Революция» были напечатаны в «Союзе Молодежи» по цензурным условиям под названием «Война—смерть»⁶.

Кажется, никогда, ни до, ни после этого, публика не слыхала от Маяковского таких громовых раскатов баса и таких необычных слов! <...>

Еще жарче было дело 13 октября того же года в большом зале «Общества любителей художеств» (Б. Дмитровка, Москва), где мы устроили «Первый в России вечер речетворцев».

Мы мобилизовали для этого почти все силы.

— Будут Давид и Николай Бурлюки, Алексей Крученых, Бенедикт Лившиц, Владимир Маяковский, Виктор Хлебников,—кричали огромные цветные афиши*. Мы стремились взбесить нашей «перчаткой» ненавистных «доителее изнуренных жаб».

<...>

Успех вечера был шумным. Мы нашли то, чего искали,—живой отклик молодежи и наиболее чуткой интеллигенции. Пусть с нами соглашались не во всем—на это было бы наивно и рассчитывать. <...> Здесь впервые прозвучали, именно прозвучали, те самые стихи Маяковского и Хлебникова, о невозможности даже прочесть которые жужжали тогда бестолковые рецензенты наших книжек и хранители всяческого парнасского благочиния. <...>

Одно дело писать книги, другое—читать доклады и доводить до ушей публики стихи, а совсем иное—создать театральное зрелище, мятеж красок и звуков, «будетлянский зерцог», где разгораются страсти и зритель сам готов лезть в драку!

Показать новое зрелище—об этом мечтали я и мои товарищи.

* Правда, Хлебников в этот день оказался в Астрахани, а Д. Бурлюк завертелся в своих бесчисленных делах и не явился.

<...>Общество «Союз Молодежи», видя засилье театральных старичков и учитывая необычайный эффект наших вечеров, решило поставить дело на широкую ногу, показать миру «первый футуристический театр». Летом 1913 г. мне и Маяковскому были заказаны пьесы. Надо было их сдать к осени.

Я жил в Усикирко (Финляндия) на даче у М. Матюшина, обдумывал и набрасывал свою вещь. Об этом записал тогда же (книга «Трое» — 1913 г.).

«Воздух густой как золото... Я все время брожу и глотаю... Незаметно написал «Победу над солнцем» (опера); выявлению ее помогали толчки необычайного голоса Малевича и «нежно певшая скрипка» дорогого Матюшина.

В Кунцеве Маяковский обхватывал буфера железнодорожного поезда—то рождалась футуристическая драма!»

Когда Маяковский привез в Питер написанную им пьесу, она оказалась убийственно коротенькой— всего одно действие,—на 15 минут читки! Этим никак нельзя было занять вечер. Тогда он срочно написал еще одно действие. И все же (забегая вперед) надо отметить, что вещь была так мала (четыре строки!), что спектакль окончился около 10 час. вечера (начавшись в 9). Публика была окончательно возмущена!..

Маяковский до того спешно писал пьесу, что даже не успел дать ей название, и в цензуру его рукопись пошла под заголовком: «Владимир Маяковский. Трагедия». Когда выпускалась афиша, то полицеймейстер никакого нового названия уже не разрешил, а Маяковский даже обрадовался:

— Ну, пусть трагедия так и называется: «Владимир Маяковский»!

У меня от спешки тоже получились некоторые недоразумения. В цензуру был послан только текст оперы (музыка тогда не подвергалась предварительной цензуре), и потому пришлось написать: «Победа над солнцем. Опера А. Крученых».

М. Матюшин, написавший к ней музыку, ходил и все недовольно фыркал:

— Ишь ты, подумаешь, композитор тоже — оперу написал!

Художник Малевич много работал над костюмами и декорациями к моей опере. Хотя в ней и значилась по афише одна женская роль, но в процессе режиссерской работы и она была выброшена. Это, кажется, единственная опера в мире, где нет ни одной женской роли!<...>

Первым вышел на растерзание публики В. Маяковский. Материалы об его спектакле собраны достаточно исчерпывающе, я же добавлю, что в этой пьесе Маяковский так же прекрасно читал, как и в следующие годы, когда публика рвалась и ломилась на его выступления и восторженно его приветствовала. Но на спектакле, вместо бурных восторгов, Маяковский вызвал недоумение и порой протесты.

А Маяковский читал не только поразительно, но и поражающе. И сейчас помню эти строки пролога:

Вам ли понять,
почему я,
спокойный,
насмешек грозою
душу на блюде несу
к обеду идущих лет.

С небритой щеки площадей
стекая ненужной слезою,
я,
быть может,
последний поэт.

...В его «Трагедии» изображены поэт-футурист, с одной стороны, и всяческие обыватели, «бедные крысы», напуганные бурными городскими темпами— «восстанием вещей», с другой.

Винные витрины,
как по пальцу сатаны,
сами плеснули в днища фляжек.
У обмершего портного
сбежали штаны
и пошли —
одни! —
без человеческих ляжек!

Все летит, опрокидывается.

Сегодня в целом мире
не найдете человека,
у которого
две
одинаковые
ноги!

Вместе с восстанием вещей близится и иной, более грозный, социальный мятеж — изменение всего лица земли, любви и быта. Испуганные людишки несут свои слезы, слезинки поэту, взывая о помощи. Тот собирает их и укладывает в мешок.

До этого момента публика, пораженная ярчайшими декорациями (по краскам — Гоген и Матисс), изображавшими город в смятении, необыкновенными костюмами и по-новому гремевшими словами, сидела сравнительно спокойно. Когда же Маяковский стал укладывать слезки и немного растянул здесь паузу (чтобы удлинить спектакль!) — в зрительном зале раздалась единичные протестующие возгласы. Вот и весь «страшный скандал» на спектакле Маяковского. Правда, когда уже был опущен занавес, раздавались среди аплодисментов и свистки, и всевозможные крики, как то обычно бывает на премьерах, новых, идущих вразрез с привычными постановками.

Публика спектакля в основном была та же, что и на наших вечерах и диспутах (интеллигенция и учащаяся молодежь), а диспуты проходили несколько не скандальнее, чем, скажем, позднейшие вечера Маяковского. <...>Я в 1914 году выпустил «выпыт» (исследование) о первых стихах Маяковского. Это было тем более необходимо, что разыскать еще немногочисленные его вещи, разбросанные по разным нашим сборникам,—читатель мог только с трудом.

Требовалось растолковать «бесценность слов» этого транжира и мота читателю <...> Я попытался это сделать, и, как теперь мне кажется, довольно неудачно.<...>

Словом, в недочетах «выпыта» я признаюсь так же охотно, как в дезертирстве с унылого поста учителя рисования, predeterminedного было мне школьным патентом. И не ради этих промахов моей работы я завел речь о ней.

На страницах этой книжки есть место, бросающее некоторый свет на процессы возникновения и развития образа у Маяковского. Говоря о мужественной крепости языка молодого поэта, я в судорожном лаконизме написал: «Не слова, а радий!»

А через 12 лет, в 1926 году прочел в изданном «Закннгой» известном «Разговоре с фининспектором о поэзии»:

Поэзия
та же добыча радия.
В грамм добыча— в год труды.
Изводишь единого слова ради
Тысячи тонн словесной руды.
Но как испепеляюще
слов этих жжение
Рядом с тлением
слова-сырца!
Эти слова приводят в движение
Тысячи лет миллионов сердца...

Не узнать своего юношеского лапидарного мазка в этой законченной картине зрелого мастера-собрата я не мог. Сомневаться в непосредственном родстве острой искры, выбитой когда-то мной, с озаряющим и широким пламенем, которое вздул из нее Маяковский, нельзя. При всем несоответствии своей практической цели моя брошюра понравилась автору стихов, за которые она ратовала. Поэт не раз говорил об этом, часто вспоминал о книжке, как—якобы—о лучшей из написанного о нем⁸.

Двенадцать лет разделяют мою строчку и восьми-стишие Маяковского. Двенадцать лет скрытой работы, более сложной, чем превращение радия, тайны перехода одного элемента в другой. Эти двенадцать лет—дистанция между удачей начинающего и развернутым образом высокого мастера.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Первый диспут общества художников «Бубновъ вает» состоялся 12 февраля 1912 г. С докладами выступали В. Кандинский, Н. Кульбин («Новое искусство как основа жизни») и Д. Бурлюк («О кубизме и других новых направлениях в живописи»); Маяковский, как и Крученых, выступал в качестве «назначенного оппонента».

² На втором диспуте «Бубнового ваета» 25 февраля 1912 г. с докладами выступали М. Волошин («Сезанн, Ван Гог, Гоген») и Д. Бурлюк («Эволюция понятия красоты в живописи (кубизм)»), но никаких сведений о выступлении Маяковского не сохранилось. Скандал, о котором вспоминает Крученых, произошел ровно через год, после окончательного разрыва «будетлян» с «Бубновым ваетом» и выхода «Пощечины общественному вкусу», на диспуте 24 февраля 1913 г. См. Н. Харджиев. Маяковский и живопись. В сб.: Маяковский. Материалы и исследования. М., 1940, с. 366—368.

³ В басне Козьмы Пруткова «Червяк и попадь» так:

Ах, если уж заполз тебе червяк за шею,
Сама его дави и не давай лакею.

⁴ В листовке «Пощечина Общественному Вкусу» были напечатаны отрывок из пятой главы «Евгения Онегина» Пушкина («Зима!.. Крестьянин, торжествуя...») и словотворческие опыты Хлебникова («Трепетва. Зарошь. Умнязь...»), стихотворения Надсона («Только утро любви хорошо: хороши...») и Д. Бурлюка («Незаконнорожденные»); Лермонтова «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана...») и Маяковского «Из улицы в улицу»; прозаические отрывки Гоголя из «Майской ночи» («Знаете ли вы украинскую ночь?..») и Крученых из «Путешествия по всему свету».

⁵ Ср. в письме Хлебникова Крученых (конец августа—сентябрь 1912 г.). В. В. Хлебников. Собрание произведений в 5 т., т. 5. Л., 1933, с. 298.

⁶ Сб. «Союз Молодежи». СПб., 1913, № 3.

⁷ А. Крученых. Стихи В. Маяковского. СПб., 1914, с. 9.

⁸ См.: Н. Г. Королева. «Сто альбомов (коллекция А. Е. Крученых)» в сб. материалов ЦГАЛИ «Встречи с прошлым». Выпуск 3. М., 1978, с. 294.

Мы нередко встречаем стихи по своему складу как бы пародийные, но в то же время претендующие на полноценную серьезность. Было бы странным вообще возражать против стихов «иронического» или даже чисто самопародийного типа: такие стихи всегда занимали свое место в поэзии. Среди великих образцов этого жанра: «Телега жизни» и «Румяный критик мой...» Пушкина, «Где твое личико смуглое» и «Слезы и нервы» Некрасова и отчасти даже... «Незнакомка» Блока, которую поэт, как известно, хотел опубликовать в сатирическом журнале «Адская почта».

Н. А. Некрасов умел создавать иронические оды и элегии, которые, не теряя своего одического или элегического смысла, в то же время излучают пародийную интонацию. Это ясно выразилось, например, в некрасовской любовной элегии «Где твое личико смуглое»:

Как выражала ты живо
Милые чувства свои!
Помнишь, тебе особливо
Нравились зубы мои.
Как любовалась ты ими,
Как целовала любя!
Но и зубами моими
Не удержал я тебя...

Дмитрий Минаев с восхищением писал об этой вещи: «Эта грациозная песня, законченная таким зубастым каламбуром,— решительно прелестна».

Итак, стихи с пародийным началом— вполне законное явление, и они могут быть по-своему превосходны. Однако перед создателем таких стихов всегда стоит дилемма: он должен либо в самом произведении достаточно отчетливо выразить свое отношение к нему, то есть «подать» его именно как ироническое или пародийное,— либо опубликовать произведение в особом разделе, в специальной «иронической» рубрике.

Мы получили от разных авторов значительное количество стихотворений, которые имеют несомненный пародийный элемент. Однако не все авторы выразили с достаточной ясностью в самих стихах свое отношение к ним, не сказали читателю прямо: перед тобой, мол, произведение ироническое, сознательно пародийного склада.

Мы решили выделить эти стихотворения в особый раздел:

Редколлегия

Вечеслав Казакевич

СТУДЕНТ

Я знаком уже с английским
и с латинским языками.
Но о чем цветы вздыхают
у меня под каблуками?

Из какого опасенья,
с рассужденьями какими
притворяются растенья
и немými и глухими?

Я домой к себе приеду.
Посмотрю на небо в галках.
Отвезу в подарок деду
газовую зажигалку.

— Слушай, дед, ведь ты в деревне
прожил семьдесят годов
в окружении деревьев
и оранжевых цветов.

Неужели ты ни разу
не услышал разговора
этих лип и этих вязов
и крапивы у забора?

Дед согнулся под часами,
пол царапает протезом.
И с цветами, и с лесами
он беседовал железом.

По лугам коса ходила,
по лесам пила пилила...
— Ах, была у нас кобыла!
Только что не говорила.

Открываю я тетрадку.
За окном бормочут дети.
По дороге едет трактор.
Как мне жить на белом свете?

ВОСПОМИНАНИЕ ОБ АРМИИ

Полгода я носил шинель
и лейтенанта звание...
Но залетел гражданский шмель
в казарму на прощанье.

Передо мной в последний раз,
гремя, столпилась рота.
И я уволился в запас
и вышел за ворота.

Махнул фуражкой облакам,
противогазам и штыкам,
каптерке и оркестру
и полковым невестам.

Молчат невесты... Поезд в пять.
Прощай, мои погоны!
Мне никогда уже не стать
министром обороны!

* * *

Я бы в Азию поехал голубиную,
где морозы не топчут чеботами.
Встань-ка, степь, по-над вагонной периною,
угощайся водой кипяченою.

С верхней лавки я на родину оглядываюсь,
снег летит, и топорщится наволочка...
Кто у русских русалок самая главная?
Персияночка, ребята, персияночка!

ЯРМАРКА

Ровно двадцать восемь лет
прожил я, того не зная,
что на ярмарке в Москве
есть хорошая пивная.

Там с метлой наперевес
бродят важно две старухи
и взволнованный навес
не дается ветру в руки.

Под надзором двух старух,
под взволнованным навесом
оглянулся я вокруг
с очень сильным интересом.

Вот трава. Цветок в траве.
Рядом с ним стоит цыганка.

Спит какой-то человек.
Рыба жмурится таранка.

Ничего, что над пивной
мощный ветер тучу гонит.
Ничего, что дом родной
обо мне уже не помнит.

Я и сам в чудной толпе
за столом шероховатым
забываю о себе
и плыву, плыву куда-то.

Расстегнул я воротник
мимоходом на рубашке...
Дорогие вы мои,
люди, рыбы и ромашки!

ЦЫГАНСКИЙ ПОСЕЛОК

Моет женщина ребенка,
нянчит пену на руках.
От заржавленной колонки
тащит воду впопыхах.
Где же роза в волосах?

Нет, конечно, мне не грустно,
что бродяг зашла звезда...
Как я спал на Белорусском,
не забуду никогда!

Просто
вдруг я детство вспомнил:

между наших голых стен
у отца на грубой полке
был одеколон «Кармен».

Рядом с мыльницей и банкой,
где ворочалась оса,
вечно думала цыганка
о каких-то чудесах...
С красной розой в волосах!

И не спрятали ни разу
ту цыганку от меня.
А всегда боялась сглазу
тетка глупая моя!

АРХИВ

В государственном архиве
тишина на этажах,
аккуратные решетки
и дела на стеллажах.

Персонал, конечно, женский.
Разговор о каблуках...
Иногда над занавеской
проплывают облака.

У Светланы туфли — чудо!
У Ларисы бабка — зверь.
В государственном архиве
я работаю теперь.

Все листаю я, листаю
пожелтевшие дела.
Все читаю я, читаю
жизнь, которая прошла.

Но, не ведая об этом,
сев в буденовке за стол,

председатель сельсовета
утверждает протокол.

Достает печать большую,
принимает важный вид...
И на горе всем буржуям
мировой пожар горит!

И читаю я, читаю,
сколько пало лошадей,
сколько русских и веселых
похоронено людей.

И когда спешит Светлана
свет тушить на этаже,
я встаю, как из тумана,
с горькой гордостью в душе.

Выхожу я в шум проспекта,
на суку скворец свистит...
И плывет моя планета,
и на ней пожар горит.

Вячеслав Киктенко

ПОЛЕТ

Летели два гуся, особенно крайний,
Который летел, как хотел.
Летели, летели, летели, и крайний—
Особенный—рядом летел.
— Куда вы, дери вас собаки, летите?
— Уж мы потихоньку летим...
— Да вы понимаете, что вы хотите?
— Да мы уж, вестимо, хотим.—
Летели, хотели,
Потом улетели,
Затем появились опять.
Особенно крайний,
Особенно левый,
Последний,
Летающий вспять.

Летели два гуся, а видели гуся,
Запомнили гуся того,
Который был крайний,
Который был очень
И весь из себя ничего.
Такой помрачительный!
Огненным клювом
По свету летел, как хотел.
Летели два гуся
И скрылись.
А крайний—
Потом еще долго летел.

Иван Овчинников

* * *

Намедни сон летел такой:
в саду играли звери.
И вдруг с пробитой головой
свалился лев у нашей двери.

Страдалец, все еще живет.
Шевелит лапами, губами.
И грустно так глядит: — Ну вот,
я умираю, Ваня.

* * *

Пели, пели за окошком
и ушли в лесок с гармошкой.

А за цветами аленькими,
маленькими — прячется медведь!

А у нас гармошка, мы басами как начнем реветь.

Если мы его переревем,
ой, сколько цветов тогда нарвем.

* * *

Я добрый, красивый, хороший
и мудрый, как будто змея.
Я женщину в небо подбросил —
и женщина стала моя.

Когда я с бутылкой «массандры»
иду через весь ресторан,
тверез, как воздушный десантник,
и ловок, как горный баран,

все пальцами тычут мне в спину,
и шепот вдогонку летит:
«Он женщину в небо подкинул —
и женщина в небе висит».

Мне в этом не стыдно признаться:
когда я вхожу — все встают
и лезут ко мне обниматься,
целуют и деньги дают.

* * *

Да здравствует старая дева,
когда победив свою грусть,
она теорему Виета
запомнила всю наизусть.

Всей русской душою проникла,
всем пламенем сердца вошла,
и снова, как пена, возникла
за скобками быта и зла.

Она презирает субботу,
не ест и не пьет ничего.
Она мозговую работу
поставила выше всего.

Ее не касается трепет
могучих инстинктов ее.

* * *

Ласточка с весною...

В глуши коленчатого вала,
в коленной чашечке кривой
густая ласточка летала
по возмутительной кривой

и вылетала из лекала
в том месте, где она хотела,
но ничего не извлекала
ни из чего там, где летела.

Ей, видно, дела было мало
до челнока или затвора.
Она летала как попало,
но не оставила зазора

ни между севером и югом,
ни между Дарвином и Брутом,

И дело до драки доходит,
когда через несколько лет
меня вспоминают в народе
и спорят, как я был одет.

В одном я виновен, но сразу
открыто о том говорю:
я в космосе не был ни разу,
и то потому, что курю.

Конечно, хотел бы я вечно
работать, трудиться и жить
во славу потомков беспечных
и назло детекторам лжи,

чтоб каждый, восстав из рутины,
сумел бы сказать, как и я:
«Я женщину в небо подкинул —
и женщина стала моя!»

Все вынесет, все перетерпит
суровое тело ее,

когда одиноко и прямо
она на кушетке сидит
и словно в помойную яму
в цветной телевизор глядит.

Она ничего не кончала,
но мысли ее торжество,
минуя мужское начало,
уходит в начало — всего!

Сидит она, как в назиданье,
и с кем-то выходит на связь,
как бы над домашним заданьем,
над всем мирозданьем склоняясь.

как и диаметром и кругом,
как и термометром и спрутом.

Ах, между гипер- и бореем,
ах, между кошкой и собакой.
Как между ютом или баком.
Как между ямбом и хореем.

Как между кровью и стамеской.
Как между богом или чертом.
Не наведенная на резкость,
не опрокинутая в плоскость,

в чулане вечности противном
над безобразною планетой
летала ласточка активно,
и я любил ее за это.

* * *

Игорь Александрович Антонов,
ваша смерть уже не за горами,
то есть через несколько ионов
ты, как светоч, пролетишь над нами.

Пролетишь, простой московский парень,
полностью, как будда, просветленный.
На тебя посмотрят изумленно
Рамакришна, Келдыш и Гагарин.

Я не знаю, что такое счастье,
но я твердо помню: там, где ты
сковырнулся на проезжей части,—
на асфальте выросли цветы.

Потому-то в толчее дурацкой,
там, где тень наводят на плетень,

* * *

Тушинским кочегарам

Кочегар, Афанасий Тюленин,
что напутал ты в древнем санскрите?
Ты вчера получил просветление,
а сегодня попал в вытрезвитель.

Ты в иное вошел измеренье,
только грязные ноги не вытер.

По котельным московские йоги,
как шпионы, сдвигают затылки,
а заметив тебя на пороге,
замолкают и прячут бутылки.

Владимир Салимон

* * *

Мне кажется, прав Ломоносов —
навряд ли в истории россов,
живя на французский манер,
иной разберется Вольтер.
Навряд ли сумеет безбожник
в траве разглядеть подорожник —
мне кажется так по дороге
в Бараньи Рога или Роги,
когда впереди вырастает
из мрака сарай дровяной
и страшно глазами сверкает
сидящий в пруду водяной.

на подвижной лестнице Блаватской
я займу последнюю ступень.

Кали-Юга — это центрифуга.
Потому, чтоб с круга не сойти,
мы стоим, цепляясь друг за друга,
на отшибе Млечного Пути.

И когда неслышный план астральный
с грохотом смешается земным,
в расклепанных джинсах иностранных
как Христос пойдешь ты по пивным.

А когда в последнем воплощении
соберешь всего себя в кулак,
пусть твое сверхслабое свечение
поразит невежество и мрак...

Ты за это на них не в обиде.
Ты сейчас прочитал на обеде
в неизменном своем Майи Риде
все, что сказано в ихней Риг Веде.

Все равны перед богом, но бог
не решается, как уравниенье,
и все это с большим напряжением
объяснил ты сержанту, как мог.

Он тебе предложил раздеваться,
а когда ты курил в темноте,
то не стал тебе в душу соваться,
а ведь мог — по своей доброте...

* * *

Еще со школы к гимнастерке,
к зеленой пензенской махорке,
к соленой рыбе красноперке
привык Данилов Михаил,
и потому он счастлив был,
и потому, когда он пел,
наш дом качался и скрипел,
в столице колокол гудел
и ворон к ворону летел.

АЛЯ-УЛЛЮ!

Аля-уллю! — свищу в два пальца!
Звенит в ответ твое окно.
Скорей по лестнице спускайся!
Пойдем, пожалуйста, в кино!

Прокопьевск высвистан апрелем.
И с крыш, когда, куда хотят,
От ветерочка озверели,
Аля-уллючки летят!

Театр, витрины, магазины,
Копры, балконы, терриконы...
И ты со мной, и я с тобой
Просвистан трелью голубой!

Звени-играй, сквозная скрипка!
Хватай всю душу в оборот!
Пускай цветет моя улыбка
У самых заводских ворот.

Аля-уллю! — ручки стремятся.
Аля-уллю! — скучай, тоска.
Давайте, люди, обниматься.
Покрутит пальцем у виска...

Ну да! Ну да! Совсем с приветом!
С хорошей девочкой при этом!
Идем вперед! На красный свет!
Апрель! Капель! Семнадцать лет!

ВОСПОМИНАНИЕ
О КЛАУДИИ КАРДИНАЛЕ

Когда я был сентиментальный,
А в армию меня не звали,
Приколотил я к стенке спальни
Портретик Клавы Кардинале.

Она изящно улыбалась,
А я был юн и независим.
И сердце дрожью отзывалось.
Но был поступок мой бессмыслен.

Она меня совсем не знала,
И я ее почти не знал.
Она другого обнимала.
И я другую обнимал.

Была такая чувств облава
И попустительство погоды.
Хотя, возможно, я и Клава
Друг друга стоили в те годы.

Николай Тряпкин

А КУДА ЖЕ ТЫ, ДЕВКА?

А куда же ты, девка, идешь-бредешь?

— На ярмарку.

А зачем же ты, дура, козла за рога ведешь?

— Продавать буду.

А и зачем же ты хочешь, дуреха, козла-то сбыть?

— Деньги нужны.

А и что же ты, дура, будешь с деньгами творить?

— Жениха покупать.

А и где же ты, дура, теперь жениха-то найдешь?

— В казарму пойду.

А и зачем же ты, дура, жениха-то возьмешь?

— Огород копать.

А зачем эту сладсть, на какую часть?

— Репу сажать.

А и что тебе репа, на кой сдалась?

— Деток кормить.

Да и что же ты, девка, на луне живешь?

— Городецкая.

Да ведь репа-то в лавке, уноси в полтавке...

— Заткнись, трепач.

* * *

Мне снился сон, что вы моя жена
И я вам так позорно изменяю,
И будто вы — такая сатана,
Что я всегда куда-нибудь сигаю.

И так боюсь я ваших тумачков!
А ваши когти — и того страшнее.
И, словно от медузиных зрачков,
От ваших глаз я на ходу немею...

И вот однажды, совершивши грех,
Я вижу вас идущей — там, навстречу,
И, позабыв про свой ночной успех,
Вскочил тотчас прохожему на плечи.

И закричал, прищипорив каблучком:
«Неси меня хоть к Гоголю в Диканьку!»
И взвился я — и только дым столбом!
А там, внизу, заплакала маманька.

И вот — несусь в какой-то жуткой мгле
И вдруг — ах, черт! — внезапно оглянулся:
А вы за мной — верхом на помеле!
И вскрикнул я — и в ужасе проснулся.

Владимир Вишневский

* * *

Вновь смешался с белым днем
Треск люминесцентный.
Три девицы под окном.
Бельмондо на стенке.

Счеты — знай все об одном!
Сейфы. Папки. Скрепки.
Три девицы под окном.
А герой на стенке.

(Сам главбух сидит под ним,
Спутаешь едва ли:
Он — с лицом от-вет-ствен-ным
И материальным.)

Время — чайник, выручай,
Спой мотив любимый.
Сахарок — не как печаль —
Быстрорастворимый...

Дни за днями, день за днем
Плыли, да проплыли.
Три девицы под окном —
Девицами были.

Да не слезы они льют,
Просто чай постылый пьют...
Жаром чайник пышет.
А контора пишет.

Лев Щеглов

* * *

И вновь, как все провинциалы,
Свое болото я хвалю.
Мне мировых просторов мало —
Подайте лицу мою!

Чтоб старый банщик дядя Павел
Молокососам говорил:

«А я его под пиво парил,
И он меня благодарил».

Но банщик поглядел исследующе
На узелок мой небольшой
И прохрипел: «Пройдите, следующий». —
И отвернулся, как чужой.

БЕЗ НАЗВАНИЯ

Вышел из дому с безделья
Твой ли, мой ближайший брат,
Поломал в саду деревья...
«А чего они шумят?»

Думал, с кем затеять драку,
Вспомнил множество обид.
Кирпичом пригрел собаку...
«А чего она сидит?»

Дальше думал веселее,
Гой еси, народный суд!
Дал прохожему по шее...
«А чего он бродит тут?»

Но друзья его любили,
И, пожалуй, горячо.
Схоронили — и забыли...
«А чего ему еще?!»

НЕДОУМЕНИЕ

Спотыкался, падал, вновь шагал,
молодой, нахальный и беспечный!
И никто, увы, не помогал.
Кроме Ал. Михайлова, конечно.

Свои фóртели, бывало, сам кляня,
на скандальную планиду свою грешную
никому не жаловался я...
Кроме Ал. Михайлова, конечно.

Доводил я критиков до слез
песнями фрондерскими, потешными.
Но никто не отругал за них всерьез.
Кроме Ал. Михайлова, конечно.

А когда та-а-акое им загнул,
что и сам качнулся как помешанный,
то никто руки не протянул.
Кроме Ал. Михайлова, конечно.

А теперь, когда мне тридцать с лишним лет,
развожу в недоумении руками —
никому до меня, в общем, дела нет...
Даже Ал. Михайлов не ругает.

По-русски палиндром, он же перевертень, можно еще перевести словом «возвращающийся». Если прочитать вслух строку, мы услышим возвращающийся звук и увидим это глазами.

Отдельные строчки такого рода, целые предложения и стихи существуют с незапамятных времен на многих языках. В России это, слава богу, редкость. Общеизвестны фразы:

Г. Державин— «Я иду с мечем судия», А. Фета— «А роза упала на лапу Азора».

Предание относит один из перевертней к временам античного Рима и приписывает авторство самому дьяволу:

Signa te signa, temere me tangis et angis

Roma tibi subito motibus ibit amor.

Что означает: «Крестись, Рим, крестись, того не зная, ты затрагиваешь меня и давишь и своими жестами вдруг призываешь к себе любовь».

На наш взгляд, перевертень находится за пределами поэзии, он—дитя лингвистического мышления, а не собственно поэтического. Но опыты Николая Ивановича Ладыгина, бывшего старейшим художником и поэтом Тамбовщины, привлекли нас своей оригинальностью и реализмом. Его перевертни, наполненные возвратным эхом, не теряют смысла, даже если их читать только «по-божески», т. е. слева направо.

Н. И. Ладыгин написал целую книгу—160 страниц палиндромов. Первый экземпляр остался в семье покойного, второй он подарил в свое время Алене Аршаруни, дочери известного московского литератора, которая любезно предоставила нам возможность выбрать из нее несколько образцов столь необычного словотворчества.

Редколлегия

Николай Ладыгин 1903—1975

ЗИМНЕЕ

Мело полем.
Но синел клен—и сон.
А ну, летите, луна!
Были миги милы б.
Али сон. А зима, гуляя лугами, заносила
Дороги и город...
И на сцене: бубенец, сани,
Кони, сон осинок.
А луна канула,
Села за лес
И отсияла. Валяй! Стой!
Но сани... дороги... миг. О родина—сон.
Молод я, долом
Иду, буревая. А веру буди.

ОСЕННИЙ СОН

Не сова ли была в осень
Лапой? И опал
Лист от сил
Ее?

Не дремуч умер день,
Нет, сам он—заря, разномастен
Колер елок.
Теша манила калина, машет:
Я алая!
И ладили да кадили дали,
И нет еще тени,
Но сыро. Голубое обуло горы. Сон.

* * *

Еще
Весна мутила дали. Туман, сев,
И гул поля, радуя, ударял о плуги.
И хорошело поле, шорохи
Нежили жен.

РАЗИН

Я Разин и заря!
Утро человеку! Муке, воле, чорту —
Не дети — молитесь. Сети ломите. День
Иго вертит, и тревоги
Туда падут.

Роди, рок, коридор
Ужасов. Осажу!
Не лёт ив — иду я удивителен,
Казак,
Великан равнин, варнак и лев.

Не воду гудовень
Лил
А летела-
залетела.
Молва в лом
И леса. Засели
И ребята. — Батя, бери
Дубинку, аукни. Будь
Тать.
Барина дани раб
Лишил.
У гула на лугу
Ударили раду.
Еще
Ни зари. Разин —
Нам атаман!
От низа Разин-то.
Ого-го!
Сила наша на лис
И волка. Так лови
Чад удач,
Ищи
Луг заране на разгул
И разноси сон зари.
Али сломана, мол, сила?..

Гуляйте, дети! Я луг,
Я Разин и заря!

ВЛАДИМИР МАЯКОВСКИЙ

Окал бог. «Облако»
Летело. Полетел
Ты, быт.
О горе серого.
Тут
Не дебри мук, а кумир беден.
Вот сила типа, кишит в тиши капиталистов.
То пошлеца цел шопот
Еще...
А лира, ты мытарил.
И лиру дурили,
И лиру мхом охмурили.
И, лунища, ты вытащи нули,
Они в цене. Бубенец, вино...
И этот... Эй!
Циники, ниц!
Вот, о идиот. Сто идиотов!
Но взлети, тел звон.
Я им рад, — армия,
Ты бичуй, учи быт
И мещанина щемь,
И удали сила, дуй!
Горна дан рог.
Ударим! И дал Владимир аду
Ту ноту. И утонут
И чурки, и кручи,
И рахит, и хари...
И он — иной,
Ареной пионера,
Как
Лед у гор прогудел.
И размером, и морем зари
Новеллы, был лев он.

* * *

Один, души пишу дни до
Отказа. Кто
Ты? Пойми опыт
И жар и миражи.

Владимир Пальчиков (Элистинский)

СОНЕТ-ПЕРЕВЕРТЫШ

Зеленой одой — о, не лезь! —
нам боли бурь убил обман.
Нам утро — звон, юю взор — туман,
Селена — миф им, а не лес.

Себе не раз в заре небес
нагар увидь и в ураган.
На вес вон сини снов Севан,
сегодня иссиян до ГЭС.

Хилее дух — худее лих,
хитер (особо ссоре тих).
Те — в сваре Вии. Вера в свет.

Иду... Скорее, рок, суди!..
И дико рана-рок: «Иди,
девиз ума, да муз и «Вед»!

В сборнике
„День поэзии 1983”
участвуют:

Авсарагов Б.—136
Алиханов С.—131
Артемов В.—22
Артюхов Е.—65
Афанасьев В.—18

Баева А.—151
Балашов Э.—15
Бахтин М.—80
Беличенко Ю.—51
Беляев М.—59
Белянчикова М.—149
Битов А.—94
Бобров А.—99
Богданович А.—133
Бояринов В.—129
Брагин А.—132
Бялосинская Н.—153

Валиков Г.—118
Васильев А.—6
Васильев Я.—26
Васильева Л.—156
Ведякин В.—61
Викулов С.—36
Винонен Р.—98
Вишневский В.—169
Владимов М.—33
Волобуева И.—152

Гаврилин В.—27
Гершанова С.—154
Гиленко В.—119

Глушкова Т.—148
Гордейчев В.—5
Горский В.—137
Грибачев Н.—31
Грозовский М.—49

Даньков И.—134
Дементьев А.—98
Демидов В.—113
Денисов Ю.—134
Державин В.—121
Дмитриев Н.—63
Дмитриев О.—106
Дуганов Р.—157

Евпатов В.—42
Евтушенко Е.—94
Еремеев Г.—138
Еременко А.—166

Жаров А.—28
Жеглов И.—66
Железнов П.—120
Жилин В.—97
Жирмунская Т.—154
Жуковский В.—68

Заболоцкий Н. А.—87
Заболоцкий Н. Н.—86
Завальнюк Л.—43
Заяц А.—59
Зиновьев Н.—112

Злотников Н.—111
Зорин А.—112

Ивнев Р.—89
Ильин Д.—139
Исаев Е.—9

Кабанков Ю.—21
Казакевич В.—163
Казанцев В.—13
Каныкин А.—118
Каплин В.—60
Капралов В.—56
Каратов С.—138
Кардозо А.—47
Карпеко В.—110
Карпец В.—101
Катин П.—117
Кафанов А.—109
Кашежева И.—147
Киктенко В.—165
Кириллова А.—154
Клюев Н.—81
Кобзев И.—119
Ковальджи К.—111
Ковда В.—113
Козловский Я.—108
Константинова Н.—151
Копылова Л.—153
Корин Г.—110
Коркия В.—119
Костров В.—4
Котенко Н.—53
Котюков Л.—58, 170
Кочетков В.—7, 37
Кочетков О.—60
Кошель П.—19
Красиков С.—136
Красников Г.—64
Крученых А.—157
Кузнецов Вал.—99
Кузнецов Ю.—6
Кузнецова С.—143
Куняев С.—130
Куралов И.—168

Ладыгин Н.—171
Лазарев В.—67
Лапшин В.—6, 71
Латынин Л.—92
Лисянский М.—35
Логинов А.—76
Львов М.—33
Ляпин И.—115

Мадалиев С.—118
Максимцов В.—135
Марков А.—36
Марков С.—91
Марков Ю.—53
Маркова Г.—91
Матвеева Н.—144
Матеу Х.—100
Матусовский М.—32
Медведев А.—52
Межелайтис Э.—44
Мезенко Ю.—8
Мельников Ю.—32
Митасов Е.—61
Михалков С.—103
Мориц Ю.—145
Морозов П.—116
Мунен Ж.—45

Наговицын В.—55
Надеев С.—134
Нежданов В.—58
Нешкова Л.—151
Новиков Н.—132

Овчинников И.—165
Олейник Б.—44
Орлова Н.—155
Оспищева Л.—155

Павлинов В.—107
Пальчиков (Элистин-
ский) В.—172
Панкратов Ю.—40
Паттерсон Д.—116
Панченко Н.—48
Пешехонов В.—114
Платонов А.—85
Поликарпов С.—111
Поперечный А.—114
Попов В.—57
Попов М.—74
Попельшева Н.—147
Потехина И.—155
Преображенский С.—27
Придворов Д.—103
Прийма А.—170

Реброва Т.—155
Рождественский Р.—95
Романов Б.—120
Романова Р.—156
Ростовцева И.—85
Русаков Г.—16

Савельев И.—132
Салимон В.—167
Самченко Е.—41
Северянин И.—90
Селезнев И.—65
Семакин В.—115
Синельников М.—114
Скуратов М.—136
Слуцкий Б.—92
Смирнов Д.—120
Смирнов Л.—5, 11
Соколов В.—14
Софронов А.—31
Спаль А.—152
Стабников В.—46, 47
Старшинов Н.—63
Сырыцева Т.—141
Суворов Н.—133
Сурков А.—102

Танк М.—45
Тапешко О.—137
Творогова В.—153
Ткаченко А.—108
Третьяков А.—7, 20
Тряпкин Н.—4, 128, 168

Устинов В.—62

Фаиз А.—46
Фаик М.—117
Фирсов В.—31
Фролов В.—137
Фролов Г.—54

Хатюшин В.—135

Цетлин М.—100

Чеканов Е.—79
Чернов А.—23
Чуев Ф.—7, 39
Чухно О.—25
Чухонцев О.—96

Шавырин Ю.—113
Шаталов А.—117
Шевелева Е.—150
Шелехов М.—78
Шестинский О.—8

Щеглов Л.—169
Щуплов А.—65

Составители
ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВИЧ БОЯРИНОВ
ПЕТР АГЕЕВИЧ КОШЕЛЬ
ИННА ИВАНОВНА РОСТОВЦЕВА

ДЕНЬ ПОЭЗИИ 1983

М., «Советский писатель», 1983, 176 стр.
План выпуска 1983 г. № 175

Редактор
В. С. ФОГЕЛЬСОН
Художественный редактор
Н. С. ЛАВРЕНТЬЕВ
Технический редактор
Т. С. КАЗОВСКАЯ
Корректор
Т. Н. ГУЛЯЕВА

ИБ № 3570

Сдано в набор 17.05.83. Подписано к печати 03.10.83. А 04137.
Формат 60×84 $\frac{1}{8}$. Бумага офсетная. Гарнитура «Таймс» и
«Гельветика». Офсетная печать. Усл. печ. л. 20,46. Уч.-изд. л.
18,94. Тираж 100 000 экз. Заказ № 1684. Цена 2 р. 10 к.
Издательство «Советский писатель», 121069, Москва,
ул. Воровского, 11. Ордена Октябрьской Революции и ордена
Трудового Красного Знамени Первая Образцовая типография
имени А. А. Жданова Союзполиграфпрома при Государствен-
ном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и
книжной торговли. Москва, М-54, Валовая, 28

• Советский писатель.